

Владимир Дудинцев

НА СВОЕМ МЕСТЕ

СП

ВЛАДИМИР ДУДИНЦЕВ

НА СВОЕМ МЕСТЕ

ПОВЕСТИ
и
РАССКАЗЫ

Советский писатель
МОСКВА
1954

Д-81



НА СВОЕМ МЕСТЕ

Повесть



В ту позднюю осень, когда с Фосфоритного комбината через тайгу отправился украшенный полосами кумача поезд, увозя в вагонах первые тонны тончайшего желтого порошка, поселок Рудничный состоял всего лишь из двадцати длинных бараков, построенных наскоро на дне пологой впадины из тех сосен, что были спилены здесь же, на месте. На две стороны от поселка плавно восходили к небу пустынные склоны, сплошь утыканные пнями. Каждое утро по одному из склонов поднимались рабочие, топча щедро наброcанную сырую щепу, уходили цепочкой, словно на край света. За этим краем была еще одна такая же впадина, за нею — еще одна, и в каждой, как войско в засаде, темнели угрожающе неподвижные острия пихтовника.

Хвойное море окружало поселок. На рассвете, в тихие минуты, было слышно его вкрадчивое дыхание. Но вместе с ясным осенним днем все лесные окрестности, все синеющие дали открывались для новых звуков, которые, казалось, находили отклик в самой душе леса. Пробегая сквозь чащу, свистел паровоз, и десятки свистков весело отвечали ему из далеких лесных тайников. За горой, около разгрузочного бункера, буксовал самосвал, груженный желтым камнем, а каза-

лось, что там ревут десятки машин. Падали мерные, звонкие удары деревянной балки, и в ответ из-за леса в золотом холодном воздухе доносился мерный отзыв.

Рабочие шли на эти звуки, и за бугром, в лесной просеке, перед ними открывалась длинная, белая от щепок улица будущего городка, обозначенная двумя рядами свежих срубов, и каждый день на этих срубах прибавлялись новые венцы. На некоторых постройках уже стояли стропила, и было видно, что родился дом — четырехквартирный, с затейливо очерченной крышей и с балкончиками на втором этаже.

С утра до ночи на строительном дворе выла дисковая пила. Издалека докатывались тяжелые удары — это за четыре километра от поселка, на карьере, рвали желтый камень. Больше всех, конечно, эти звуки радовали Алексея Петровича Алябьева — московского инженера, который открыл здесь фосфорит. Говорили, будто инженер этот так и не добурился до конца, пробурил двести метров и бросил, — все время шел мягкий желтый камень. Как стена, врытая глубоко в землю, пласт этого камня будто бы тянулся на сотню километров, и каждый месяц разведчики, которыми руководил Алябьев, теперь — главный геолог рудника, нащупывали под тайгой продолжение пласта. По расчетам знающих людей выходило, что этой стены хватит нашим заводам и полям на сотни лет.

По поселку бродили слухи: пришел эшелон белого кирпича, сгрузили прямо в лесу, километров за двадцать от поселка, — в урочище Суртаиха, где второй карьер. Для чего? Конечно, будут строить химический завод. Плотник Самобаев однажды в столовой поднял над стопкой водки свой отточенный топор с ручкой, изогнутой, как лебединая шея, и сказал так, чтобы слышали соседи: «Того никто не знает, сколько мы с тобой нарубим здесь домов». А это уже все видели: пришла платформа с ящиками, и в них оказались новенькие станки для ремонтно-механического завода. Его корпус стоял на пустыре, неподалеку от автобазы. Завод до половины был еще в лесах, и рабочие еще стеклили продолговатые башенки на его

крыше, а внутри, под башенками, уже работало целое токарное отделение.

Ясно было, что механический завод построили здесь неспроста — смотрели в будущее. Но начальнику механической мастерской при автобазе, Петру Филипповичу Цареву, этот завод был «вот где» (говоря это, он обычно показывал гаечным ключом назад, между лопаток). Дело в том, что маленькая механическая мастерская автобазы до последнего времени не сходила с Доски почета, а теперь рядом с мастерской появился опасный конкурент.

У Петра Филипповича были лучшие токари и слесари-ремонтники. Он ревниво воспитывал их, приближая к себе способных, тех, у кого душа прилипла к металлу, а с неудачниками обращался с подчеркнутой холодностью. Начальник любил говорить о культуре производства, причесывался на пробор, сгоняя на одну сторону мелкие черные кудряшки, всегда был чисто выбрит, подбривал даже толстые угольные брови, часы носил на цепочке, а работал не иначе, как в черном жилете, из-под которого были выпущены рукава чистой сорочки с запонками. Особенно хорош он был, когда его звали во двор к больному грузовику прослушать работу мотора. Маленький и нахмуренный, он проходил между одобрительно улыбающимися слесарями и, достав из кармашка медицинский прибор для выслушивания, вставив в уши концы резиновых трубок, наклонялся над мотором.

Теперь мастерская отходила на второй план, это видели все. Когда на ремонтно-механическом заводе установили первые станки, Царев получил приказ передать заводу двух токарей «для обрастания» учениками. Петр Филиппович поник, но тотчас нашелся и сбыл заводу Ваську Газукина, который у него тоже был «вот где». Начальник мастерской считал профессию токаря интеллигентной, возвышенной, а Васька продавал свой талант только за деньги. Если Газукину давали точить сложную деталь, но расценка ему не нравилась, он прикидывался дурачком: «Не сумею, дядя Петр!» В ответ ему из конторки неслось на весь цех: «Врешь, все можешь, ломаешь дурака здесь, как

спекулянт какой!» Но настаивать Петр Филиппович не смел: упрямый Васька мог наделать браку, ославить всю мастерскую. Если же плата была хороша, Васька первым бросался на работу и делал ее лучше всех, выполняя норму на двести процентов.

Петр Филиппович избавился от Васьки, а через две недели, как раз когда установилась снежная зима, пришел новый приказ: дать заводу трех слесарей. Начальник надел пиджак и пошел в управление комбината, но там ему сказали, что у него местнические предрассудки, что он за сосной не видит леса и что сосна — его маленькая мастерская, а лес — завод, который будет обслуживать всю гигантскую новостройку.

Петр Филиппович потемнел, но подчинился. И трех слесарей на завод он передал — правда, далеко не самых лучших. С этого дня в мастерской наступила горькая тишина.

Однажды, когда окончилась смена, Царев созвал своих стахановцев на маленькое совещание. Они собрались в его тесной фанерной конторке, оклеенной газетами, стали у стен, притихли. Те, кто остался в узком коридоре, поднялись на носки, чтобы выяснить причину, узнать, почему это ребята не ведут громкой мужской беседы. И увидели: за столиком начальника, рассматривая алюминиевый поршень, который служил Цареву пепельницей и прессом для чертежей, сидела девушка в стеганой телогрейке. Трудно обнаружить красоту, если она скрыта кирзовыми сапогами, широкой мужской телогрейкой и слоем желтой фосфоритной пыли. Но ребята обнаружили и впились в нее лукавыми молодыми глазами со всех сторон.

Скорее всего, девушка была из инженеров и притом новичок. От нее словно исходило сияние: должно быть, она привезла сюда из Москвы или Ленинграда мечту о сильном волей и бесстрашном строителе, о таком, с которого она могла бы взять пример. И вот теперь ее, без сомнения, восхищал и страшил Петр Филиппович, со спокойным сердцем превративший автомобильный поршень в пепельницу.

Начальник сидел под телефоном, с корректным видом отставив ногу. Иногда он бросал на гостью осто-

рожные взгляды, полные позднего огня, но тут же опускал негнущиеся угли бровей, потому что в коридоре между рабочими заметил жену. Она всегда приходила в эти часы звать его на обед и сейчас стояла в сером вязаном платке, подпирая щеку темной, крестьянской рукой. Она смотрела на своего мужа, как мать смотрит на великовозрастного сына, обнаружившего опасные таланты.

Не глядя на жену, Петр Филиппович свернул цыгарку и с особенной небрежностью бросил кисет на стол, что означало: «Закуривай кто хочет!» Кисет пошел по рукам. Конторка наполнилась дымом. Петр Филиппович перегнулся через столик к соседке, девушка просияла, он кивнул несколько раз, и совещание началось.

— Как вам известно, — сказал начальник, — у нас теперь имеется мехзавод, который будет обеспечивать всю потребность строительства. А мы теперь, словом, как подсобное предприятие. Но мы не должны замыкаться в кругу узких, местнических интересов. Поскольку завод переживает пусковой период, мы обязаны ему помочь.

Тут Петр Филиппович отодвинул поршень и развернул на столе синьку с чертежом; развернул и приумолк на минуту, что означало: «Можно подойти и ознакомиться». Круг рабочих придвинулся, послышались удивленные голоса:

— Три метра!

— Три метра, — подтвердила девушка-инженер и насторожилась, стала посматривать на рабочих исподлобья — с надеждой и беспокойством.

— Три метра, — удовлетворенно сказал Петр Филиппович и уточнил: — Три тысячи миллиметров. А в наших станках между центрами — самое большее полторы тысячи. Такая же картина и на заводе. А если учесть, что Фаворов директор молодой и притом специалист по землеройным машинам, но не по обработке металла, становится ясно: валы эти надо точить нам. Хоть мы и подсобное предприятие, — он сказал это, угрожающе глядя в сторону. — Словом, я от вашего имени пообещал Антонине Сергеевне, — он

посмотрел на девушку, — пообещал ей обмозговать это дело. Это для нее нужно: шнек они делают — подавать будет к бункеру готовый продукт. Давай, братва, смекай. Ничего вам не скажу заранее, но дело верное. Удлинить станок можно. Имеется такая реальная возможность.

Тут Петр Филиппович, внезапно повеселев, уперся спиной в фанерную стенку, и вся конторка задвигалась и заскрипела.

— Сосна! — Он засмеялся. — Вот мы и посмотрим, где сосна и где лес!

В это время над его головой затрезвонил телефон. Начальник снял трубку и солидно сказал: «Слушаю. Царев». В тишине заливисто, как муха в банке, запела, задребезжала трубка. Петр Филиппович слушал, перебирая цепочку часов, поддакивал все отрывистее, потом перехватил трубку другой рукой и с холодным спокойствием стал стряхивать в поршень пепел с цыгарки, хотя пепла не было и уже сыпался табак.

— Не могу, — сказал он в трубку и в первый раз сухо кашлянул. — Товарищ... Товарищ Фаворов! — Он побледнел и закашлял чаще. — Товарищ Фаворов, именно государственные соображения не позволяют мне бросаться кадрами. Нет, нет! Нет, — сказал он еще раз и повесил трубку. — Опять токаря просит.

Наступила пауза. Было слышно только покашливание Петра Филипповича.

— Сейчас Медведев будет звонить, — шепнул он.

И телефон не заставил себя ждать, требовательно зазвонил. Петр Филиппович снял трубку: «Слушаю. Царев», — и все услышали отчетливый бас управляющего: «Ну что там у тебя? Опять колбасишь?»

— Максим Дормидонтыч, кого же отдавать? Может, мне самому?

— Погоди, и до тебя очередь дойдет, — трубка засмеялась. — Отдай, отдай токаря, это мое распоряжение.

Повесив трубку, Петр Филиппович стал наводить на столе порядок, передвинул с места на место чернильницу и поршень.

— Сейча-ас... Кого же мы ему подкинем? — Он

задумался и крякнул. — Нда-а... Клава! Неси сюда молитвенник!

Из рук в руки начальнику передали тонкий журнал в фанерной обложке. Петр Филиппович стал просматривать список.

— Балакин, ты как? Молчишь? Не бойся, не бойся, не отдам. Ну-ка, посмотрим середнячков... Бабенко, Горожанкин, Панфилов... Нет, это все не то. С этими мы еще поработаем... Нда-а... Может, есть добровольцы?

Никто не ответил.

— Погоди, ребята, — сказал вдруг начальник. — Нашел! — Он повеселел и снял трубку. — Механический мне... Товарищ Фаворов? Замучил ты меня. Да нет, аппетит, аппетит, говорю, у тебя... Бери, шут с тобой! Не вешай трубку, сейчас скажу... Что? Ну во-от, какие слова загибаешь! Лодырей мы не держим... Не-ет, это такой тебе будет, что всех стахановцев... Новатор!

Наступила тишина. Рабочие курили, боясь взглянуть друг на друга. Девушка-инженер с интересом оглядела всех и посмотрела на Царева. Она уже стояла около стола, собираясь уходить. А Петр Филиппович, качаясь на стуле, теряя равновесие и ловя угол стола, грозно кричал в трубку:

— Разряд? Не в разряде дело. Такой, понимаешь, парень — быстрый, на лету все схватывает. Благодарить будешь! И наладит, и приспособление сам придумает... Вот именно, и в чертежах разбирается. И потом — артист. Помнишь, в красном уголке стихи читал о советском паспорте? Он, честное слово! А фамилия — специально для Доски почета: Гусаров!

Конторка вздрогнула от дружного хохота. Петр Филиппович строго покосился на рабочих и угрожающе выставил кулак.

— Говоришь, не видел на доске? — продолжал он, ерзая на стуле. — Не видел, так увидишь. Этот тебе весь цех перевернет. Будет знатный человек механического завода!

Конторка опять дружно грохнула: начальник умел развеселить ребят.

— Ты записывай! — кричал он в трубку. — Записывай скорей, пока я не передумал. Григорий, Ульяна, Софья — Гусаров! Федор Иванович. Завтра он к тебе и придет...

Повесив трубку, Петр Филиппович долго смеялся вместе с рабочими. Девушка-инженер растерянно оглядывалась, как будто смеялись над нею: непонятен был ей этот общий приступ веселья.

— Думаете, стахановца отдаю? — шепнул ей Царев. — Нет, он у нас ни рыба ни мясо, пусть идет на завод. — Поднял руку, чтобы унять ребят, и привстал. — Кто там с краю — сходи-ка в цех: может, еще не ушел. Бегом! Пусть сюда идет.

И вдруг из тесного коридора сквозь табачный дым, от человека к человеку, в конторку вступила тишина. Петр Филиппович не сразу понял, в чем дело. Вышел из-за столика и замер, увидев жену. Вся его правда, вся честно прожитая жизнь с грустью и укоризной смотрела на него из усталых глаз Зинаиды Архиповны.

— Он был здесь... — негромко сказал кто-то.

— Пустите! — Покашливая, начальник заспешил, протиснулся в коридор, толпа рабочих молча раздалась перед ним. — Где он? Гусаров, ты здесь? Ушел?

И тут же через распахнутую дверь он увидел маленького широкоплечего человека, который быстро и твердо шел через цех к открытым во двор воротам.

— Гусаров! — страшно закричал Петр Филиппович. — Сейчас же воротись!

И, подстегнутый этим криком, человек ударился о столб и побежал за ворота по снегу, через синий, вечереющий двор.

Федор Гусаров поднимался на взгорье, шел редким, вырубленным лесом. Это был невысокий парень лет двадцати, плотный в плечах и тонконогий, в стеганой телогрейке нараспашку и в коротких кирзовых сапогах. Небритое курносое лицо его было непо-

движно, прямая темнокоричневая прядь рассыпалась, упала на брови, и сквозь нее сухо блестели черные глаза.

Если бы все, что Петр Филиппович сказал о Гусарове, было отнесено к другому токарю, никто и не подумал бы смеяться. О Балакине, например, говорят такие слова каждый день, и он сам уже привык к тому, что он знатный человек: как только собрание — садится впереди, чтобы ближе было идти в президиум. А вот о Феде сказали «знатный» — и все засмеялись. Рабочие смеялись не над Федором — он интересовал ребят меньше всего. Просто слово «знатный» вызывало смех в применении к этому незаметному человеку. И, кроме того, очень хорош был Петр Филиппович, ловко он сумел удовлетворить непомерно возросший аппетит молодого директора завода, обошел самого управляющего и не ослабил при всем этом мастерской.

Пустой, холодный лес отходил ко сну. Где-то далеко, за черными стволами, вместе с Федей бежало красное солнце, опускаясь все ниже, и наконец скрылось. Время от времени Федор наотмашь задевал себя кулаком по ноге и делал вперед несколько быстрых шагов. Или вдруг останавливался, разводя руками. В ушах его все еще звенел хохот рабочих, и Петр Филиппович красовался перед ним в своем жилете. Шум жизни словно впервые ворвался в его уши, и Федор подумал, что он уже взрослый человек и что он никому еще не нужен, кроме матери, которая раз в месяц присылала ему издалека большое письмо, полное ласкового зова и упреков.

«Ты у меня один — долго ли ездить будешь? — писала она, надеясь частотой своих призывов поколебать непонятное сердце сына. — Вернись, доучись, успокой...»

Легко и незаметно ноги вынесли Федю на голый горб. Сзади него в сумерках замерло хвойное море. Чистое небо угасало, бледнело. Там, где опустилось солнце, вытянулись в линию последние облачка, словно косяк красноватых птиц, улетающих за горизонт. А ниже, на дне большой снежной впадины, уже

затянутой первым дымом ночи, Федя увидел гнездо бледных, мерцающих огней. За этими огнями угадывалось множество человеческих судеб, окруженных ярким светом, непрерывная деятельность, неизвестные радости и заботы.

Петр Филиппович Царев плохо знал человеческую натуру: в пределах, нужных лишь для того, чтобы «болты с шестигранной уменьшенной головкой» сходили со станков без задержки и с перевыполнением нормы. Если бы дело обстояло иначе, он поостерегся бы раньше времени делать выводы о Феде, может быть даже сумел бы сделать из него выдающегося мастера токарного дела. Во всяком случае, он задумался бы над тем, почему Гусаров словно засыпает за станком, пристально глядя на блестящую заготовку.

А дело было простое. Через два или три месяца после приезда Федора на рудник, вскоре после вечера самодеятельности, когда Федя читал стихи о советском паспорте, его вызвали в управление, в комнатку, где помещался комитет комсомола и постройком. Молоденький секретарь с желтоватым лицом и горящими темными глазами молча осмотрел Федю из-за своего столика, помолчал, потом задал ему несколько вопросов для индивидуального подхода. Он спросил:

— Ну как вам на нашем руднике?

— Ничего, — ответил Федя, переминаясь.

— Да вы садитесь! — Секретарь откинулся на стуле, сунул руки в карманы и сощурился: он изучал нового комсомольца. — В каком бараке живете? В четвертом?

— Да.

— Ну как там, в бараке? Скоро будем в культурных домах жить.

Секретарь кашлянул и напыжился. Он, должно быть, недавно был избран секретарем и, овладевая новым делом, копировал инструктора, который ввел его в курс.

— Есть такое мнение... — Он испытующе посмотрел Федору в глаза и забарабанил пальцами по

столу. — Есть такое мнение — поручить вам красный уголок. Как вы?

Федя задумался. Он, по правде сказать, не считал серьезным делом все эти нетопленые красные уголки, где народ сидит в шубах, курит и играет в шашки. В шашки можно и дома поиграть. Если бы настоящий клуб — другое дело!

И в эту минуту секретарь, должно быть разгадав раздумье Федора, взял его за руку и сказал совсем другим, тяжелым голосом:

— Помоги.

Федор не отвечал, и секретарь заволновался, даже встал, не сводя с него глаз.

— Народу все больше становится, а кругом лес — ни театра, ни клуба, понимаешь? Может, когда-нибудь опера будет, а сейчас... Мы же не первого встречного берем! У тебя получится, имей в виду...

Ничего, может, и не было бы, если бы не эти слова секретаря, не эти горящие глаза. Федя взялся помочь и, как всегда, с головой отдался новому делу.

В углу небольшого барака, который когда-то был складом, а теперь стал залом для танцев и киносеансов, он наткнулся на запыленный, опечатанный сургучом ящик. Он сорвал печать, отпер гвоздем ржавый замок и нашел в ящике несколько новеньких коробок с шахматами и нераспечатанную посылку. В посылке оказалась стопка книжек — пьесы. Черные глаза Федора погасли и опять загорелись. Он увидел маленькую сцену на том конце барака, там, где до потолка были нагромождены длинные лавки, увидел яркие огни справа и слева и декорации в глубине. Именно в эти дни Петр Филиппович в первый раз назвал Федю мечтателем.

Сам того не замечая, Федор быстро сошел по пружинящей под снегом щепе вниз, к огням. Доски тротуара певуче застучали под сапогами, заскрипел снежок. Как всегда, Федор обошел свой длинный четвертый барак, рванул одну и вторую двери тамбура, обитые войлоком, и сквозь жару, сквозь сизые полосы махорочного дыма направился в свой угол, на тот конец барака. Он миновал две огромные печи, обстав-

ленные со всех сторон валенками, от которых тянуло горячим кислым духом шерсти, пробрался к своему топчану, не глядя ни на кого, сбросил сапоги, кинул на топчан телогрейку и лег прямо на нее, вытянулся и замер, глядя вверх, на прогнутые доски потолка.

Он был мечтателем и понял это не сегодня. Много лет назад, еще в школе, учитель не раз говорил ему во время диктанта: «О чем ты задумался, Гусаров?» В восьмом классе, как это иногда случается в таком возрасте с молодежью, Федя стал все острее чувствовать непонятное беспокойство — желание полетать. Его тянуло на работу, к большим самостоятельным делам. В девятом классе он похудел, стал хуже учиться. Его все же перевели в десятый, но после экзаменов, несмотря на просьбы матери, он порвал туго натянутые постромки, бросил школу и отправился с бригадой маляров из жилищного управления красить крыши. Первое время ему нравилось ходить по гремящим железным крышам, под быстрыми летними облаками. Но через полгода он заскучал, потому что маляры в его бригаде, молодые прямодушные ребята, хоть и работали споро, но разговаривали главным образом о денежной стороне дела. По воскресеньям они рыскали по городу в поисках «халтурки», ночами красили купола и стены в церквах или отделывали «под шелк» частные квартиры. Федя без сожаления распростился с этими ясноглазыми ребятами и вскоре уже запаивал примусы и чинил швейные машины в мастерской «Металлоремонт». Нет, и здесь ему не понравилось. Работа в мастерской делилась, как и у маляров, на две части. Одна часть — явная — по квитанциям, а вторая — тайная — по соглашению с клиентами. Федя не смог найти товарища среди слесарей, острых на язык и прямых в денежном разговоре с хозяйками, и к новой весне поступил рассевным дневальным на мельницу.

Здесь он задержался дольше. Но вот пришла еще одна весна, и как-то внезапно, в одну неделю, молодые рабочие мельницы составили заговор и все завербовались, уехали — кто на Двину, кто в Казах-

стан — на большие дела. Откуда взялась эта повальная болезнь, никто не знал. Старший крупчатник говорил, что виноват во всем Федор: он перед этим целый месяц ходил с отсутствующими глазами, а один раз даже прозевал, и мука прорвала шелковые сита. Первым снялся с места, конечно, он — уехал дальше всех, на строительство фосфоритного комбината: там ждало его хоть и неясное, но настоящее, долгожданное большое дело.

И опять, и на этот раз видение растаяло, как только он подошел к нему вплотную. Большое дело исчезло. Теперь это была однообразная работа с серым названием «болт с шестигранной уменьшенной головкой», а после работы — топчан, где можно читать единственную на весь барак книгу о Галилее или искать ответа на вопрос: где оно, то дело, о котором так ярко говорят в школе учителя?

В этот вечер, лежа на топчане, Федя впервые подумал, что везде жизнь одинакова, как далеко ни были бы заброшены стройки. Везде одно и то же: осенние колеи дорог, прорытые колесами грузовиков и полные воды, звон железа, паровозные свистки, хлебные ларьки — ко всему одинаково привыкаешь, везде одинаково начинаешь задумываться о новых, далеких и заманчивых местах. Но, если везде одинаково, стоит ли вообще куда-нибудь уезжать? И где она, та счастливая купель, чтобы окунуться в нее и выйти гордым, нужным для всех человеком, таким, например, как инженер Алябьев, который открыл здесь фосфорит?

Федор лежал, угрюмо закусив кулак, глядя вверх. А вокруг него в это время текла, негромко шумела спокойная жизнь барака. В этом длинном и жарком помещении стояли в два ряда шестьдесят топчанов. Рабочие приходили усталые и, мирно побеседовав за чаем, сразу же укладывались спать. Одни спали днем, другие — ночью. Работали они на разных участках рудника. Одни бурили пласт желтого камня, другие взрывали его, третьи дробили, размалывали на шаровых мельницах. Жили в бараке машинисты электрических экскаваторов, строительные рабочие — плотники,

бетонщики, возчики с конного двора и шоферы. Для каждого барак был только уголком быта и сна.

У Феди был сосед — Герасим Минаевич, человек средних лет, худощавый, молчаливый, с утомленным лицом, с запавшей верхней губой, под которой поблескивали стальные зубы. Герасим Минаевич дежурил на электростанции около дизелей — иногда днем, иногда ночью. Придя с дежурства, он брал из-под подушки кусок мыла, завернутый в тряпку, и, никого не замечая, думая о своих делах, шел к умывальнику. Целый час не спеша смывал он со своих рук нефтяную гарь, и лопатки его мощно двигались при этом под черной сатиновой рубахой, достающей до колен. Отмыв руки, этот неинтересный человек вытягивался на своем топчане, полный тяжелых дум, и засыпал, иногда даже забыв раздеться. Заговаривать с ним Федя никогда не пробовал — он предвидел короткий, равнодушный ответ.

У дизелиста где-то училась дочь, и он посылал ей каждый месяц деньги. Сам он уже, видно, не рассчитывал прошуметь в жизни и умолк. Молчание это раздражало Федора: он не хотел быть таким, как его сосед, не хотел сдаваться! Но тем не менее угол, который они занимали, назывался в бараке «тихим углом».

В этот вечер, когда Федя, лежа на топчане, задавал себе вопросы и не находил ответов, Герасим Минаевич был дома. Он только что пришел с дежурства и не спеша позвякивал соском умывальника на том конце барака. На его пустом топчане сидел бочком повар Аркаша. Он тоже пришел с дежурства и, как всегда, хоть на час, да надел свои синие бостоновые брюки и шелковую трикотажную рубашку салатного цвета, которая нежно обрисовывала его округлые плечи, грудь и добродушный живот. Повар не раз объяснял соседям эту причуду: когда наденешь хорошую вещь, чувствуешь себя человеком с большой буквы. Обнажив до локтей мучнисто-белые руки и потряхивая веселыми кудряшками песочного цвета, Аркаша выжидающе тасовал колоду карт.

Подошел усталый, задумчивый Герасим Минаевич, с полотенцем на плече, неторопливо вытирая руки.

— Ты уже здесь? — сказал он повару и бросил полотенце к стене. — Сдавай уж, шут с тобой.

Он даже не поздоровался с Федором. Федя, вздохнув, поднялся. Он знал: если у обоих соседей совпали дежурства, значит и ему придется весь вечер «гонять дурака», заниматься делом, от которого получал удовольствие один лишь повар. Герасим Минаевич и во время игры думал о своих делах, должно быть о дочке, а карты бросал, не глядя.

Аркаша ожил, ударил пальцем по губе и проворно стал разбрасывать карты на одеяле.

— Да, забыл, — сказал Герасим Минаевич и полез под свой топчан. Он достал оттуда большую трубку серой бумаги и бросил ее Феде на постель. — Объявления, что ли, какие. Тебе, Федор, велели передать. Из технического отдела...

Федор знал, что это за объявления, — сам сочинял текст. Но все же развернул один лист и прочитал: «При красном уголке организуется драматический коллектив...»

И в эту минуту по всему бараку погас свет. Глухая мгла окружила Федю на миг, отпрянула, слабея, и рядом с ним выступил синий квадрат окна с серебристой морозной лилией. Минуту, пять минут стояла тишина. Потом донеслись осторожные голоса, вдали желто вспыхнула и догорела спичка.

— Замыкание, — удовлетворенно проговорил сонный бас.

— Сейчас сделаем освещение, — сказал Аркаша. Он ушел и засопел где-то около своего топчана. — Сейча-а-ас... Гори, божья душа!

В темноте возник и завилял, полнея, живой светлячок. Аркаша принес его, припаял огарок на лавку, сел, и огромная тень, как конвоир, уселась у него за спиной.

— Значит, ход мой... Герасим! Ты куда делся?

Герасима Минаевича не было на топчане. Он стоял у окна, приник к стеклу, закрываясь обеими руками.

— Сейчас загорится. Занимай место! — бодро сказал Аркаша.

— В дробилке тоже темно...

Герасим Минаевич снял с гвоздя шапку, надел ватник — сразу в оба рукава — и быстро прошел между топчанами к выходу. Мягко хлопнула обитая войлоком дверь. И почти сейчас же торопливо протопали под окном в сугробе скрипучие шаги.

— Побежал! — Аркаша собрал карты и бросил колоду на одеяло. — Как будто там дежурных нет!

— Привычка, — отозвался из-за его спины мечтательный голос, и кто-то заскреб волосатую грудь. — Никуда от ей не денешься. Герасим-то Минаич на руках, можно сказать, комбинат вынянчил. Ветеран.

— Да-а! — Аркаша лег и вытянулся на топчане дизелиста. — Мы с Герасимом когда пришли сюда, ровное место было. Тайга.

— «Мы с Герасимом»! — с улыбкой возразил тот же голос. — Герасим Минаич много раньше твоего пришел. Еще ветки не было. Еще хлеб на горбу таскали — вон когда.

— Я же и таскал.

— Что я и говорю. А он еще Алексею Петровичу нашему, Алябьеву, землянку рыл. Это когда было, знаешь?

Аркаша не ответил. Он с разочарованным видом уставился на огонек своей свечи и заиграл пальцами на животе. Стало слышно, как ветер с улицы давит в стекло — то нажмет, то отпустит.

— Повар! — с обидной простотой опять заговорил сосед Аркаши. — Повар! Слышь? А ведь у них авария. Смотри, уже минут сорок прошло. И Герасим Минаич как побежал — бегом. Он не ошибется.

— Глупости! — помолчав, авторитетно сказал Аркаша. — Что значит авария? Во-первых, значит, что на карьере или еще где прекратится энергия. А во-вторых, этого не может быть. Понятно? Это могло быть ну год, скажем, назад, когда нам график не был спущен. Вон! Смотри! — закричал он вдруг.

И Федя ясно различил вверху, во тьме, вишневое светящееся колечко — глаз лампочки. Этот глаз нагревался, желтел — и вдруг сразу разлился кругом яркий вздрагивающий свет.

— Авария... — угрожающе проговорил Аркаша, глядя на лампочку. — За аварию знаешь что...

Герасим Минаевич вернулся через час после того, как дали свет. Он открыл дверь, и сразу же у входа закричали: «Смирно!» Пока он шел, минуя печи, в свой угол, несколько человек окликнули его с топчанов:

— Добрый вечер, Герасим Минаич! Говоришь, наладил?.. Дело мастера боится! Качать, качать надо ветерана...

— Не за что, — сердито отозвался Герасим Минаевич. — Не моя заслуга.

Морщась, не слушая приветствий, он подошел к своему топчану. Аркаша вскочил, сел на уголок и стал тасовать карты.

— Нет, нет, нет! — быстро сказал Герасим Минаевич, как будто торопясь. Не снимая телогрейки, он как-то с ходу неловко сел, лег и прямыми пальцами стал гладить лоб.

— Быстро ты наладил, — осторожно проговорил повар. — Что у вас там приключилось?

— Собака хозяину кость свою подарила. А кость, видать, не нужна. — Герасим Минаевич, словно напрягая память, провел пальцами по лбу. — Я решил уехать, ребята... Да, так оно лучше будет.

И в это время вдали мягко хлопнула дверь, и радостные, но на этот раз негромкие голоса, как теплый ветер, пробежали по бараку: «Алексею Петровичу!», «Нашел дорожку!», «Как же, карьер вместе вскрывали!», «Петрович, землянку, землянку не забыл?»

— Сюда идет, — сказал Аркаша и положил карты в карман.

Алексей Петрович Алябьев быстро подошел и остановился около топчана. Высокий, в черном пальто и мокрой от тающих снежинок, плешивой в нескольких местах котиковой шапке. Лицо у него было без румянца, белое, худое, вытянутое вперед, с острым, тонким носом и почти незаметными, как у мальчишки, бровями. Маленькие глаза его затерялись в добрых морщинках — в горьких морщинках усталости. Он

смотрел только на Герасима Минаевича, и тонкие губы его то сжимались, то вытягивались веселой рюмочкой. А Герасим Минаевич, как увидел инженера, сразу же прикрыл глаза пальцами и затих.

— Вы это что же, вы что? Вы что же ушли? Что же не дождались? — шустрой скороговоркой начал Алексей Петрович. Осекся и сел на топчан. У него был надтреснутый голос подростка. Федя не сводил глаз с его лица, он не видел еще ни у кого такого выражения открытой честности. — Герасим Минаевич! — Алябьев улыбнулся Феде, и дневной свет на секунду мелькнул в добрых морщинках. — Герасим! Спит он, что ли?

— А что дожидаться? — Герасим Минаевич отвел руку, открыл невеселые глаза. — Что дожидаться-то? И так все ясно.

— Гера-асим Минаич! — протянул инженер. — Не та-ак вы со мной раньше говорили! — И опять засыпал привычной скороговоркой: — Открывайте, открывайте сердце. Здесь все свои. Давайте, давайте!

— Уезжаю я, Алексей Петрович. Уезжаю! Отошло мое время.

— Значит, вы меня... Значит, слушать меня не хотите? А вы послушайте. Вы думаете, я забыл, что вы у нас мастер? Все помню. Ну, что ж поделаешь, ну, верно: обстоятельства теперь другие. Вот Аркадий — повар, а меня поймет, — вещь простая.

Аркаша кивнул.

— Вишь, уже понял! — тихо сказал кто-то.

— Сами посудите! — Инженер положил шапку на колено, и тусклые светлые волосы его начали подыматься дыбом. Он обращался ко всем. — Посудите: старый дизель, весь в заплатах, еще с каких времен стоит! Сломался наконец. Трещины в головках. Приходит Герасим Минаевич к главному механику: «Давайте за ночь отремонтирую! Медью, говорит, зачеканю!» Герасим Минаевич, *тогда* это был бы блестящий выход из положения! Механик мне так и сказал: «Узнаю, говорит, нашего Минаича». Спасибо! Поняли? А чеканить не будем. Время не то. На завод отправим. У нас два дизеля новых стоят. По плану они

должны уже работать. Вот мы и пустили их. А этот— старичок!..

— Я тебе гарантию даю — он будет работать год! — Герасим Минаевич сидел уже на постели по-турецки, сдвинув подушку к стене. Худое лицо его подобралось, глаза обиженно горели, стальные зубы поблескивали под тонкой губой. Он вытянул руку к инженеру, затряс пальцами. — Год! Снаружи и снутри зачеканю!

— Знаю. Сделаете. Можно будет на выставку везти. В музей. А оставить у нас на станции нельзя. Будет работать, все как надо. А вдруг...

— Подведет?

— В том-то и дело! Нам нужна надежная машина. Мы входим в график. Мощности все по плану ввели. Благодаря вам, Герасим Минаич. Мы вашу работу в историю комбината запишем. Все, как вы бурильные станки воскрешали и как мельницу нам на речке выстроили... все! Только все это в историю ушло. И слава богу! Комбинат работает. Дело строителей сделано — заботы к эксплуатационникам скоро перейдут. Я понимаю вас: на новых дизелях не развернешься. Работают, черти! Не ломаются!

Алябьев так весело, по-мальчишески, выкрикнул это, так ласково посмотрел, что даже Герасим Минаевич улыбнулся, стал неловко разглаживать одеяло.

— Действительно! — сказал кто-то над Федей, и он словно проснулся.

Сзади него и вокруг стеной стояли рабочие, и все новые слушатели в белье, перелезали с топчана на топчан, протискивались вперед.

— Теперь у вас вся работа — по мелочам, — продолжал Алексей Петрович. — Это и хорошо! Этого и добивались! Скоро и мелочей не будет!

— Мне-то, мне там что делать? — Герасим Минаевич быстро провел пальцами по запавшей губе, глаза его сверкнули, веки задрожали. — Девчонки вон справляются! Песни поют! Норму отпела, восемь часов, — и в кино. Я-то там зачем?

— Герасим, — Аркаша спохватился и принял строгий вид, — не спорь. Алексей Петрович верно

говорит. Каждый человек должен выполнять свою норму.

— Повар, — раздался вдруг с соседнего топчана мечтательный голос, — ты помолчи. Что ты под нормой разумеешь?

Рабочие зашевелились, и в круг протиснулся невысокий лысоватый человек в нижней рубахе — плотник Самобаев. Под глазами его светился румянец круглыми пятнами, как два ожога.

— Для тебя смысл ясен, для чего ты здесь есть, — сказал Самобаев, радостно глядя на Аркашу. — Тебе контингент прибавляется. Была харчевня, стала фабрика-кухня. Вот и равняйся, не отставай. Повертывайся. Дешевле да посытнее делай, и блюдо чтоб вид имело. Суп твой этот, зеленый, я до сих пор забыть не могу.

— Суп мавританский, летний, — сказал Аркаша и посмотрел вдаль. — Это можно. Только давай материал.

— То-о-то! — пропел Самобаев. — Материалу-то в нем и не было.

Круг рабочих весело загудел. Самобаев протиснулся к себе на топчан и говорил уже оттуда, укладываясь:

— А Герасим что же? В инженеры нам с ним поздно. В фезеу тоже не примут. Это ему сейчас здесь, при автоматах, — как почетная пенсия. Только он ту пенсию примет ли?

— Ты сам меня таким сделал, твоя это наука, — спокойно сказал Герасим Минаевич. — Помнишь, что говорил? Действительно, без меня тогда трудно было обойтись. И теперь я нужен. Только не здесь...

Наступило молчание.

— Хорошо. Хорошо. Я вам помогу! — Алябьев резко встал. — Помогу вам, ребятам своим напишу. Жаль. Жаль, но это верно. Вы человек особенной квалификации. Землепроходец. Найдем вам место.

Его взгляд вдруг остановился на Феде, который полулежал, опираясь на локоть, и ловил каждое его слово. Федя почувствовал, что Алексей Петрович знает все и о нем и даже думает сейчас об этом.

— Спокойной ночи, товарищи! — сказал знаменитый инженер, протягивая руку Феде.

«Нет, чепуха, откуда ему знать!» — подумал Федор, краснея. Алексей Петрович сильно встряхнул его руку, словно попробовал, крепко ли у него в груди сидит сердце. И, не выпуская руки, повел глазами на трубку с объявлениями.

— Это что? Объявления? — Наклонился, развернул трубку. — Драмкружок? Это вы, значит, Гусаров?

Федя даже встал. Ну да, получалось, что Гусаров он. Алябьев пристально на него посмотрел, сказал: «Ну-ну, исполать!» — пожал руки нескольким рабочим — направо, налево, — надел шапку и быстро пошел через барак. Мягко хлопнула дверь.

— Хороший человек! — проговорил кто-то.

— Алексей Петрович-то? — отозвался со своего места Самобаев. — Все в нем есть. И небушко и земля.

— И характер у него настоящий, твердый, — пояснил Аркаша, вставая. Серьезные вещи он любил говорить стоя. — И характер и это в нем имеется, вот это... обхождение, что ли, приятность такая...

Все умолкли. Задымились цыгарки.

— Повар! — сказал Самобаев. — А ты молодец!

— А что?

— Русский язык понимаешь!

Утром Федя пришел на завод. Он долго стоял перед калиткой, прорезанной в воротах заводского корпуса, вспоминая свой вчерашний побег из мастерской. Потом толкнул калитку, шагнул внутрь и увидел просторный цех, уставленный станками всего лишь на одну четверть. Кое-где между станками, на мягком, только что уложенном бетоне, лежали доски. Пахло сырым цементом.

Инженер Фаворов, молодой человек в синей спортивной куртке со значком на груди и в сильно потертых лиловатых лыжных штанах, высокий, с красиво разведенными плечами и очень узкий в поясе, улыбнулся Феде в самую душу и стиснул его руку. Вся

мускулистая, обветренная физиономия его улыбалась, даже уши покраснели по-простецки. Он был на вид одного возраста с Федей или чуть-чуть постарше. «Ничего не знает, не догадывается! Простой!» — обрадовался Федор и легко вздохнул. Начальник ему понравился.

Но Фаворов, уходя от него, сам жестоко испортил это впечатление — вдруг запел навзрыд вибрирующим фальшивым баритоном, как поют молодые мужчины, чувствующие себя неотразимыми: «В парке старинном деревья — нанай, дай, дай... Белое платье мелькнуло — ляляй, най, най...» И Федор уловил в его походке ту же, чуть заметную, неприятную черту мужской уверенности в себе.

Токарной работы в этот день не было. До обеденного перерыва Федя помогал Газукину отбивать доски ящиков и снимать густую смазку с шестерен, шпинделей и червячных валов к новым станкам. Васька сам подозвал его движением коричневой, золотистой брови. Не глядя на начальника, он закричал на весь цех: «Николай Николаевич! Гусаров будет мне помогать!» — и Фаворов сразу же согласился.

Газукин работал без пиджака, в голубой дырявой майке, которая оттеняла белизну его тела. Он весь был оплетен треугольными, прямыми и закругленными мускулами. Все эти выпуклости оживали и начинали шевелиться то тут, то там даже тогда, когда он затягивался цыгаркой или смеялся. Хотелось любоваться его движениями. Было заметно, что Газукин парень из тех, кто хочет нравиться девчатам. Он не расставался с кепкой и если снимал, чтобы достать из нее газету для закурки, то подносил к голове и левую руку: боялся рассыпать свое богатство — волосы. Эта мера не помогала: темнорусые тяжелые завитки падали обычно в другую сторону, закрывая ухо и глаз. Он был бы красавцем, если бы не красная трехскладчатая верхняя губа, которую Газукин мог подобрать только в минуту гнева. На его толстой, играющей живыми мускулами руке Федя прочитал надпись, мелко наколотую тушью: «Век не забуду

школу шоферов», и сразу понял, что история у этой надписи сложная: Газукин никогда не был шофером, и, кроме того, над словом «век» синел девичий силуэт.

Васька прочно обосновался в цехе, отдавал громкие приказания направо и налево, а молоденьким токарям с буквами «РУ» на пряжках давал даже дружеские подзатыльники. Снимая ветошью зеленое сало с шестерен, он стал задавать Федору злые вопросы о «Петухе», иначе говоря — о Петре Филипповиче. Федя неохотно отвечал. С каждым вопросом глаза Газукина темнели все больше, он злил сам себя, уже не видел смазки и тер тряпкой по чистой шестерне.

— И что? Так и сказал «подкинем»? — Васька даже уронил на колени шестерню и задумался, порозовел. — Прокидаешься кадрами, Петр Филиппович! — сказал он вдруг, бросил тряпку и лег на досках, глядя в потолок, чтобы успокоиться.

Перед обедом к ним подошел Фаворов, присел около досок и развернул чертеж-синьку. На чертеже был изображен белыми линиями уже знакомый Федору вал длиной в три метра.

— Вал для шнека. Предложено на наших станках точить, — сказал Фаворов. — А у нас между центрами полтора...

— Это можно сделать, — помолчав, спокойно сказал Газукин.

— Как?

— Разрежем вал на два кусочка и будем точить.

Фаворов внимательно посмотрел на него. Он не привык еще к шуткам Газукина.

— Послушайте, ведь это же вал!

— Ах, ва-ал...

— В том-то и дело. Петр Филиппович в управлении говорил — невозможно у нас точить. Не выйдет, говорит, надо отдать на сторону.

— Пугал! Сам он все-таки взял чертеж, — сказал Федя.

При словах «Петр Филиппович» Газукин сразу же оставил свой шутливый тон. Бегло еще раз взглянул

на чертеж, подпер щеку пальцем и уставился на новенький, недавно зацементированный станок.

Когда за лесом зазвонил рельс на обед, Васька поднялся, надел пиджак, телогрейку, натянул кепку на уши и, спрятав руки в карманы, задевая сапогом за сапог, молча ушел из цеха.

Вышел из цеха и Федор. Он пробежал в столовую, занял там очередь к столу, получил в кассе чеки и отдал их официантке. После этого, захватив в своем бараке молоток и объявления, свернутые в трубку, отправился развешивать их по поселку. На попутном грузовике он проехал в карьер, где два экскаватора наваливали в грузовики глыбы желтого промороженного камня. Оттуда в кузове с желтым камнем прокатился до пекарни, забежал в хлебную палатку, прочитал продавщице Уляше вслух: «При красном уголке организуется драматический коллектив», — и после этого, через островок соснового леса, вышел к дробильно-размольному заводу, вокруг которого на полкилометра снег был припорошен желтым налетом.

Трехэтажное здание мельницы, бархатное от фосфоритной пыли, вздрагивало. Федя открыл дверь, зажмурился от грохота и окунулся в теплую мглу. Нащупав лесенку, он поднялся по железным ступенькам на площадку и увидел в пыльном пространстве столбы дневного света, словно опущенные с неба через далекие квадратные окна. Внизу в пятнах света медленно вращались громадные тела шаровых мельниц, опоясанные двойными рядами заклепок.

Федор никогда не видел таких мельниц. Он налег на перила, вытянул шею, стараясь сквозь пыльный туман рассмотреть, где же начало и конец железного цилиндра, который поворачивался под ним. За его спиной по площадке пробегали рабочие. Кто-то толкнул его. Федор увидел человека в плаще с капюшоном — не человека, а мглистую тень. Тень эта низко перевесилась через перила.

— Антонина Сергеевна! — сквозь грохот прорвался снизу девичий голос. — Опять не принимает!

— Вхолостую проверните! — женским знакомым

голосом крикнула тень в плаще. — Слышите, Сима! — при этом она передвигалась по перилам, теснила Федю, стараясь разглядеть эту Симу под мельницей. — Сима, где вы там? Я говорю — вхолостую, вхолостую!

И снизу, из грохочущей мглы, донеслось, как далекое эхо:

— Попробуем вхолостую!

Федор выпрямился, шагнул в сторону и сразу же чуть не ткнулся лицом в припудренное пылью знакомое лицо под капюшоном плаща, увидел совсем близко темные окошки глаз — они просияли, узнав Федю. И в уши его опять ударил смех рабочих и кашлянье Петра Филипповича. Федор снова почувствовал себя героем, который так неловко, сгоряча ударился вчера о столб. Никуда не денешься — самая опасная свидетельница стояла перед Федором, и он с ужасом чувствовал, что его сейчас начнут жалеть.

Девушка посмотрела на Федю, на бумажную трубку в его руках.

— Вы ко мне?

— Объявление повесить... — полушопотом ответил он.

— Ну-ка, что за объявление?

Она протянула руку во мглу, и открылся светлый проем двери. Они вошли в коридор, здесь пыли было меньше.

— Вы откуда? — Антонина Сергеевна повесила плащ на гвоздь.

Федор вздохнул: значит, ошибка, она не знает его! Да она ведь и не могла его видеть, она сидела около Царева!

— Я заведую здешним красным уголком, — ответил он уже свободнее.

Она открыла еще одну дверь — это был ее кабинет. Здесь сияло солнце на стекле графина, и пыль лежала лишь тонкой прозрачной пленкой на столе и на толстой тетрадке с надписью: «Студ. 5 курса А. Шубиной». Антонина Сергеевна села за стол, отодвинула эту тетрадку, сняла ушанку, и чисто вымытые

волосы ее закачались в воздухе, начали струиться, как струится весной воздух над нагретыми проталинами.

— Ну-ка, что тут у вас... — сказала она, развертывая трубку. — О-о! А мне можно записаться?

Она подняла сияющие глаза, и, попав в их луч, Федор почувствовал мгновенный толчок. Эта девушка все еще искала своего смелого строителя, и глаза ее спрашивали: «Не ты ли?»

— Я говорю: что вы будете ставить? — Она свела брови, желтые от фосфоритной пыльцы, не понимая, почему он молчит.

— Что будем ставить? — И Федор не узнал себя. Кто-то другой уверенным и звонким голосом заговорил в нем. — Будем ставить весь репертуар московских театров!

Она мягко засмеялась — поняла, что Федя шутит.

— Где же у вас сцена? Где клуб? Я что-то не видела.

— Клуба у нас нет. Но будет! Будет скоро!

— Я вижу. Раз такой заведующий, значит и клуб будет.

— Было бы кому посещать. Главное, чтобы артисты исправно на репетиции ходили, — сказал Федя со значением.

— Вы знаете... Я хотела сказать вам, что вряд ли... Я думала, что некогда в клуб будет ходить. У нас ведь беда... — Антонина Сергеевна умолкла, посмотрела на тусклое от пыли окно. — Беда у нас. Плохо разбивают шары материал...

Она встала из-за стола и прошла в угол комнаты. Там на железном листе лежали куски желтого камня и матовые стальные ядра. Антонина Сергеевна подняла обеими руками ядро, стала над камнем, прицелилась и разжала пальцы. Ядро упало на камень с глухим стуком и, гремя, покатилось по железу.

— Видите? Не разбивает. Твердый камень пошел. — Она развела руками и вернулась к столу. — И влажность поднялась. А у нас еще и знаний маловато. Господи, мы совсем ничего не знаем! — Она оттолкнула свою тетрадку и опять отвернулась к

окну. — Читать надо, консультироваться. А здесь и книжки самой нужной, технической не найдешь. — Антонина Сергеевна подняла глаза на Федю, и он почувствовал, что он первый человек, с кем эта девушка-новичок решила поделиться своими печалями.— Такому руднику, как наш, нужна техническая библиотека, — говорила она, лаская его взглядом и, должно быть, сама того не подозревая. — Нужна! Он ведь скоро вырастет в большой комбинат!

— Будет клуб, будет и библиотека, — сказал Федор так, словно поклялся.

— Может быть, у вас в кармане приказ министра об ассигнованиях?

— У меня в кармане волшебная лампа... — Федя запнулся, запамятовал: чья же лампа? Но Антонина Сергеевна уже качала головой, грустно улыбалась своим далеким мыслям.

— Если у вас эта лампа... достали бы вы мне книжку... К сожалению, это все глупости. Вот она, медная лампа, — она потерла кулаками лоб. — Трешь, трешь, и ничего не получается. И никаких других ламп нет... Так вы меня запишите. А объявление я повешу сама.

Федя взглянул на нее еще раз, вздохнул и осторожно вышел, а Антонина Сергеевна осталась за своим столом: руки — у лба, глаза — за окно.

Думая о ней, решительно отмахивая руками, Федор прошел весь поселок и прибежал в столовую как раз к тому времени, когда подали суп. Он сел, взялся за ложку и охнул — остро заныло ушибленное вчера плечо. Но охнул Федя не от боли, а от стыда.

Когда он вернулся под стеклянные своды своего цеха, Газукин уже сидел на старом месте, на досках, и с довольным видом рассматривал измятый газетный лист. Это была «Пионерская правда». Почесав пальцем затылок, разложив на колене кисет, Васька оторвал от газеты длинную полоску, целую фразу: «Быть честным — значит быть смелым», еще раз прочитал, подумал и свернул из нее «громобой» — цыгарку толщиной в палец.

— Федя, — сказал он, едко морщась, выпуская

через нос и рот струи дыма, — позови сюда Фаворова.

Потом пристально посмотрел на Федора и добавил небрежно:

— Не надо, сам придет... Николай Николаич! — заорал он вдруг на весь цех и принял боевой вид. — Эй, ребята, крикни там начальника!

Через несколько минут к ним быстро подошел Фаворов. Он немного порозовел, потому что его, начальника и инженера, вызвал к себе обыкновенный токарь и вот даже не встанет, сидит себе на досках и курит!

— Почему курите в цехе? — холодно спросил Фаворов.

— Беги в управление, — ответил ему Газукин, затягиваясь цыгаркой. — Доставай скорей письменное разрешение. Во дворе у Царева лежит железная дура, вроде станины. Литая. Ее надо по тревоге перекинуть сюда. К следующему воскресенью сдадим все три вала.

С Фаворова сразу же слетела вся официальность, и он стал парнем одних лет с Газукиным и Федей.

— Как же это, ребята? Расскажите!

— Заделаем в цемент. Бабку переставим. Она там хорошо встанет. И с люнетом будем точить!

— Кто придумал? Ты, Вася?

— Вот с ним вместе, с Гусаровым.

Федя сразу понял Газукина: двоих выгнали с автобазы, двое и придумали, выручили комбинат.

— А Царев? — спросил Фаворов. — Может, она ему нужна? Сам он не догадается?

— Скажешь ему, так догадается. А так — он же Петух! — Газукин просиял, его губы весело раскрылись, обнажив несколько складок. — Я эту штуку припрятал. Кузовом старым завалил!

Минут через двадцать Фаворов приехал из управления на самосвале, передал Газукину записку и потряс ему руку. Главный инженер приказал немедленно приступать к делу.

— Айда со мной! — Васька только лишь оглянулся, и сразу же десять человек бросили работу

в разных концах цеха. — А ты оставайся, Федя, — сказал Васька и похлопал Федора по плечу. — Я понимаю. Тебе незачем туда казаться. Еще подумает, что мы считаться с ним приехали. Очень они нам... петухи... — Говоря это, Газукин резко застегивал телогрейку, словно собирался на бой. — Пускай теперь... Он теперь покашляет в своей конторке!

Газукин вышел из цеха — и за ним весь отряд его помощников. Не удержался и Фаворов — побежал через цех вслед за ними. Шеститонный самосвал взревел за стеной и укатил. Наступила тишина. И как только Федор очутился наедине с самим собой, сразу же глаза его сухо заблестели и он замер, то вспыхивая, то угасая. Перед ним медленно вращались огромные цилиндры, бархатистые от пыли.

Опять заревел самосвал и остановился за стеной. Послышались натужные голоса, и рабочие стали втаскивать в цех на веревках продолговатое железное тело с круглыми окнами и торчащими ржавыми болтами. Запел мотор мостового крана, стальная ферма поплыла под потолком, упали, брякая, цепи, и тяжелая литая деталь, которую вслед за Васькой уже все называли станиной, закачалась, перенеслась через цех к токарным станкам.

У входа лежала на боку еще одна такая станина. Васька нашел на дворе автобазы одну лишнюю «дуру» и увез, чтобы Петр Филиппович не додумался, не перехватил у него выдумку.

Пробежав несколько раз по цеху, покричав вдоволь, Газукин наконец уселся рядом с Федей. Вытянув ногу, он разложил на колене кисет. Задымив цыгаркой, он сказал с торжеством:

— Никто не заметил — все на обеде или в цехе были. А Петуха встретили на обратном пути. Слышь? Идет, ничего не знает. Наш Фаворов велел затормозить и кричит ему из кабины: «Петр Филиппыч! Спасибо за работничков!». У Петуха даже коленки подогнулись. Даже поздравствоваться не обернулся, голову убрал поглубже, сволочь, и шагает помаленьку. Знает кошка, чье сало съела! Скоро он поймет, как

молодыми кадрами кидаться. Фаворов сказал: «Обоих вас на доску представлю».

За полкилометра от Федора в своем кабинете сидела Антонина Сергеевна. Федя думал о ней и поэтому переспросил:

— Что ты сказал? На какую доску?

— На красную! — с жаром проговорил Газукин и даже подался вперед, грозно блестя глазами. — Мы с тобой возьмем — ты станок и я...

Честность — это было единственное, что сейчас позволяло Федору подходить к Антонине Сергеевне, смотреть ей в лицо. Он не видел у себя никаких других достоинств. Федя знал: пока он говорит правду, он хоть в этом будет равен с Антониной Сергеевной, — и собирался даже как-нибудь при случае признаться, что это именно его Царев просватал на механический завод.

— А? — спросил Газукин.

— Ты сам бери оба, — сказал Федор. — А то получается, как будто я назло: он — меня, а я — его.

— Правильно! Имеешь право. Может, он как раз выставил тех, кто больше всего ему нужные. Будь здоров, теперь все поймут, кого следовало выставить из мастерской.

— Вася, Петух был прав.

— Поздравляю! Значит, мы — подкидыши?

— Подкидыш — это я. А тебя он, помнишь, как называл? Царев не любит, кто много о монете говорит.

— Здрасте! За каким же лешим мы паримся? Для какого, спрашивается, интересу?

— Вот он считает, что монета не главное, что есть интерес повыше, чем монета. Мне, например, было бы обидно, если бы меня на важное дело приманивали деньгами, зная, так сказать, мою слабость...

Федор сказал это и подумал: «А есть ли он, высокий интерес?»

— Глупости! — Газукин быстро почесался. Все-таки что-то новое было в Фединых словах. И он повторил, но уже тише: — Глупости! Никакого другого интересу нет.

— А вот есть. Ты для чего ездил за этими станинами? Для чего все это дело придумал? Сказать тебе? Вот видишь сам — иногда так зацепит, что даже про деньги забудешь. Значит, есть интересы повыше.

Васька направил в пол длинную белую струю дыма и, опустив голову между коленями, стал размышлять. Посмотрел из-под упавшей на лоб пряди на Федора и опять затянулся.

— А тебя Царев считает, знаешь, кем? — продолжал Федя. — Ну вот. Может, ты и не это самое, не такой... Так он же этого не знает. Словом, как хочешь, а я считаю, что это будет месть — и то, что мы будем валы точить, и то, что станины у них увезли. Может, они сами... Если хочешь все-таки точить, находи напарника. А я не буду.

— Напарника? Зачем? — тоненьким голосом спросил Васька. — Зачем? — И пожал плечами. — Заставлять тебя я не смею. Пожалуйста!

Он выпустил дым и выжидающе посмотрел на Федю. Что-то горело в нем, он все время помнил Петуха.

— Как хочешь, — сказал он, лениво поднимаясь, подавляя зевок. — Ты сам сказал, что есть повыше интересы. Как ты думаешь, могу я с ними бороться? Я сам отвечу Петуху, на чорта мне напарник! Отвечать буду делом, как положено, как в газетах вон пишут. Объявляю стахановскую вахту. Беру два станка!

Текли один за другим декабрьские дни. Начались морозы — легкие, с непрерывным визгом полозьев по утрам, с сизо-оранжевым солнцем в тумане. В лесу установилась белая снежная тишина. Где-нибудь далеко, километра за три, шел по лесу человек, а казалось, что снег хрустит рядом. В бараках жарко топили печи. Поселок теперь можно было найти из любого места в лесу — по размытым белесым дымам, протянутым высоко-высоко в глубину зимнего неба.

Инженер Антонина Сергеевна Шубина жила в поселке в бараке для инженерно-технических работ-

ников, или, как называли его сокращенно, в бараке ИТР. Федор встречал ее каждый день, иногда по нескольку раз, на желтой от фосфорита тропке, протоптанной в глубоком снегу. Снега было много, и Антонина Сергеевна неожиданно появлялась из-за сугробов, словно запряженная в свой мужской плащ защитного цвета. Этот твердый плащ — спецодежда инженеров и техников комбината — летел за нею, и его заносило в сторону, как сани.

При каждой такой встрече Федор заранее шагал в сторону и ждал ее по пояс в сугробе. Антонина Сергеевна, иногда с улыбкой, иногда озабоченная, быстренько проходила мимо, и его запоздалое «здравствуйте» обычно доставалось плащу. Утром и в обеденный перерыв Федя часто выходил на эту тропку или топтался в коридоре управления — специально для того, чтобы еще раз встретить ее. Он уже видел Антонину Сергеевну в плаще и телогрейке, по вечерам часто встречал ее и в синем пальто, а однажды в воскресенье она пробежала к продуктовой палатке, охваченная по горло зеленовато-голубым свитером с бледными мухами на груди. Став где-нибудь за углом, он любовался в ней всем: глазами и душой, живущей в них, и волосами такого теплого цвета, как светлый чай, и тем, как она бегает, прижав локти. Она появлялась перед ним то женственно полная, то вдруг необыкновенно тонкая, но с высокой грудью. Плечи ее в платье казались узкими, а в свитере — широкими, как у лыжницы.

Федя заболел. Днем ни на минуту не оставляло его незнакомое голодное чувство. Почти каждую ночь он целовал во сне Антонину Сергеевну, нес ее и кружил на руках, а по утрам долго сидел на топчане, проводя рукой по лбу.

Ему хотелось бы рассказать обо всем Газукину, но Ваське было не до того. Увлеченный своим делом, он каждый день после работы оставался в цехе — устанавливал станины, подгонял к бабкам. Однажды он даже геодезиста привел в цех — для точности, — и тот навел трубу на Васькины приспособления.

В десятых числах декабря Васька обточил первый

вал, а через день были готовы остальные два. Все три вала блестели на козлах около станка, за которым работал Федя, и Васька добрые полдня сидел то на одном, то на другом, протирая их своей кепкой, улыбался и курил — он не мог больше ничем заниматься.

После обеденного перерыва по цеху прошел Петр Филиппович. Мельком взглянул на валы и сразу же вышел. Красного, напыженного Газукина и Федю он будто и не заметил.

Затем появились Антонина Сергеевна и Фаворов. Антонина Сергеевна штангенциркулем измерила все выступы и уступы на каждом валу. Фаворов передвигался вслед за нею, бархатисто напевая, глядя ей в затылок. Покончив со всеми измерениями, Антонина Сергеевна выпрямилась и просияла: перед нею давно уже стоял Васька.

— Так это вы придумали?

— Вот, вместе с ним, — сказал Васька, обошел вокруг станка и оперся о плечо Федора.

— Ты что? — Федор хотел оттолкнуть его, но увидел, что Антонина Сергеевна любуется их нежным содружеством, подобрел лицом, покраснел и неловко кивнул ей. — Антонина Сергеевна, я совсем здесь ни при чем!

— Врет! Он больше всех думал! — Газукин еще крепче сжал плечо Федора. Это была его очередная шутка. Он наслаждался муками Федора, его протестующими, злыми судорогами. — Он у нас скромный! — Газукин осклабился. — Его понять надо. Царев вот не понял... Подкидыш, говорит...

Федор опустил глаза. Кровь прилила к его ушам. Он больше ничего не слышал и очнулся лишь после того, как увидел, будто во сне, совсем рядом удивленные глаза Антонины Сергеевны, переполненные ласкающей темнотой. Она что-то говорила ему.

— Я еще раз говорю, что никакого участия... — начал он, потупясь.

— Да, — сказал Фаворов. — Это они вдвоем, Газукин и Гусаров. — И, став к Феде спиной, закрыл Антонину Сергеевну, но девушка бесцеремонно отодвинула его в сторону.

— А я тоже как Царев. Не понимала вас. Представляла вас совсем другим!

— Это человек с характером, — сказал Фаворов и опять закрыл Антонину Сергеевну своей красиво очерченной физкультурной спиной.

На этот раз Антонина Сергеевна его не отстранила. Медленно удаляясь, они заговорили о валах и о подаче материала к «улиткам» шаровых мельниц.

Для всех, кроме Феди, этот разговор остался незаметной мелкой паузой. Но для Федора каждое слово здесь было полно значения. Опять он предстал перед Антониной Сергеевной не самим собой: его хвалили за чужие подвиги.

«Что же сделать? — подумал он. — Что?»

Он и здесь, на механическом заводе, уже несколько дней подряд точил болванки для болтов и до такой степени набил руку, что мог делать одновременно две вещи: точить болт и оборудовать сцену для драмкружка. Поворачивая рукоятку суппорта, Федя видел перед собой эту сцену. В его мечтах она была уже готова. Занавес открывался бесшумно, в глубине висели темные полотнища, а в зале стояли уже не лавки, а лакированные стулья, ряд за рядом, понижаясь к сцене. Зрители невольно ускоряли шаг, направляясь по покатому проходу к первым рядам. Мысль о таком зале часто приходила Феде в голову, когда, возвращаясь с работы, он спускался по склону к поселку. И Федя вместе со зрителями ускорял шаг.

Между прочим артистов на руднике оказалось много. На первый сбор драмкружка пришли начальник химической лаборатории Степчиков, ребята с электростанции, Антонина Сергеевна и три молодых инженера, в том числе Фаворов, который явился в синем бостоновом костюме, разложив на пиджаке по-летнему воротник голубой шелковой сорочки. Распахнув пальто, чтобы было видно этот воротник, Фаворов сел поодаль — он забежал сюда будто бы из любопытства. Пришли еще взрывники, машинист экскаватора, несколько продавщиц и вся бухгалтерия. Среди продавщиц была и полная красавица Уляша, похожая на украинку, и поэтому в самом темном углу зала мер-

цали сумрачные глаза Газукина, про которого Уляша, громко и счастливо хохоча, говорила: «Мой разводящий».

Федя показал пьесы, и почти без споров кружок решил ставить «Недоросля». Когда Федор в тишине стал читать эту пьесу, в первом же действии у него за спиной вырос начальник лаборатории Степчиков и стал странным образом двоить чтение, шевеля губами и изображая жестом и в лице то Митрофанушку, то Простакову.

— Может, вы хотите почитать? — спросил Федя.

Степчиков сразу согласился и дрожащей рукой потянул к себе книжку.

— У Фонвизина особенный язык. Эпоха! — сказал он смущенно. Начал усаживаться, пригладил виски.

Все вежливо улыбались. Но начальник лаборатории, к удивлению Феди, заговорил громко, отчетливо, с особенными театральными интонациями. Прервав чтение, он коснулся рукой Фединого плеча.

— Отобрал я у вас инициативу? Не обижайтесь. Если б было такое звание — народный артист самодеятельного театра, то мне бы первому присвоили. Я уже тридцать с лишним годов в артистах хожу. В Москве выступал.

Когда началось распределение ролей, слесари и экскаваторщики сели попрямее и гордо поставили головы — первые герои! А девушки потупили глаза и стали как одна похожими на Софью. Поглаживая небритую, мерцающую сединой щеку, внимательно посмотрев на каждого, Степчиков дал четырнадцати счастливцам новые имена. Антонина Сергеевна стала Софьей. Пятнадцатая роль — портного Тришки — досталась Феде. Но при этом сильно покраснел бурильщик Леонов, и Федя сразу же предложил свою роль ему.

И Степчиков — он к этому времени уже стал Андреем Романовичем — шепнул Феде:

— Правильно делаете. Я тоже себе роли не взял, удержался. Ветеранов и так от сцены не отгонишь. А молодежь надо закреплять. Видите, рвутся. Два года

варились в собственном соку — могут обидеться, если не дашь.

Начались репетиции. Каждую субботу, под вечер, Андрей Романович задергивал шторы на окнах красного уголка, запирал дверь барака стулом и, громко захлопав в ладоши, строго пресекая шутки и смешки, начинал работу. На помосте, там, где должна быть сцена, бушевала госпожа Простакова и стоял оглоблей Митрофан. Андрей Романович из глубины полутемного зала, захлопав в ладоши, то и дело каркающим голосом горько выговаривал:

— Уляша, голубчик! Голосу, голосу твоего не слышу! Ты здесь матушка помещица! Вежливость для покупателей оставь, поняла? Все сначала!

Вокруг барака толпились рабочие, подглядывали в окна. На репетициях разрешалось присутствовать только председателю профкома Середе и секретарю комитета комсомола Володе Цветкову. Оба они сидели обычно в глубине зала, одинаково закинув ногу на ногу. В другом углу зала, около натопленной печки, каждый раз собирался кружок молодых инженеров, которые хоть и не получили ролей, но приходили на занятия аккуратно, чтобы молча погрызть в тепле кедровые орешки, иногда поспорить и, конечно, посмотреть на Антонину Сергеевну. С того момента, как она стала Софьей, у нее почему-то появилось множество поклонников. Бросая на сцену короткие взгляды, они стучали, шуршали ватманом и приглушенно толковали о том, с какой стороны надо вскрывать пласт фосфорита, или о деревянных щитах, о том, что в мокрых забоях давно уже пора подкладывать под гусеницы деревянные щиты.

Однажды, в конце декабря, они собрались вот так же в дальнем углу около печи, грызя орешки, изредка обмениваясь тихим словом. Неподалеку от них Федя за своим столом составлял расписание киносеансов на три месяца.

— В Москве сейчас еще день, — задумчиво сказал кто-то у печи.

— В институте к сессии готовятся, — отозвался другой инженер, со звонким, студенческим голо-

сом. — Я всегда в Ленинской библиотеке занимался. А ты?

— Я тоже. Ты не у Писаревского был по петрографии? Вот гонял на зачетах!

— Золотое детство! — засмеялся низкий бас. — Я один раз биотит ему забыл назвать в диорите. Просто сказал — слюда. Прогнал! Второй раз брякнул ему, что габбро — кислая порода. Опять прогнал! Три раза зачет сдавал!

— Эй, друзья! Нельзя ли поближе к действительности? Фаворов, ты когда карты вернешь? Унес, а мы вчера пульку сыграть хотели. Весь вечер из-за тебя пропал.

— Книги, книги читать надо, молодой человек, — сказал Фаворов.

— Да, да, романы. Где их возьмешь?

— А ты напиши. А то азартные игры! Напитки!

— Вот он говорит, — сказала Антонина Сергеевна вполголоса, и все, как по команде, повернули головы, посмотрели на Федора, — он говорит, что скоро у нас клуб настоящий будет. Уверяет! И еще будет техническая библиотека...

— А простая библиотека будет? — спросил Фаворов. — Эй, завклуб, правда, что твой Середа все журналы домой конфискует? Слушай-ка, а ты бы у него забрал!

Федор покраснел и опустил голову ниже к столу. В голосе Фаворова он услышал легкую насмешку, но уйти от нее не мог — Фаворов был прав.

— Года через три все будет — и библиотека и клуб, — со вздохом сказал кто-то у печи. — Когда Медведев вторую очередь достроит.

— А раньше? — спросила Антонина Сергеевна. — Почему раньше нельзя?

— Медведев признает только объекты. Его пробовали уже подбить на это дело. По плану Дом культуры должен строиться одновременно с жилыми домами, так я слышал. Намекнули ему на это. Ни в какую!

— Стена...

— Удивительно, как это могут...

— Ничего удивительного, — возразил насмешливый бас. — Он хорошо и быстро строит объекты. Людей знает, как никто другой, это я вам поклянусь. Посмотрит на тебя и скажет, чего тебе захочется завтра. И рука тяжелая. Чего тебе еще? Многого хочешь...

— Да, конечно... Года три придется подождать. А там на новую стройку перебросят... Если бы Алябьев этим занялся — другое дело. Вот человек! Чем резче говорит правду, тем крепче стоит на ногах! Другому Медведев и половины бы не простил.

— Счастливый человек! — мечтательно сказал кто-то. — Махину какую открыл!

— Он сегодня опять схватился с Максимом. Пришел на карьер, а там как раз «Баррикадец» работал. Алябьев машину останавливает, на свой страх вызывает автогенщиков: сделать два выреза в ковше. Те, значит, за дело. Машинист сел покурить. А тут «газик» всем известный подъезжает, Максим высовывается. «Почему куришь? Кто распорядился? Где Алябьев?» Алябьева подзывает, а он не идет — занят. Народ собирается. Он орать. Конечно, «ты», «колбасишь», «суешься» и прочее. А Алябьев слушал, слушал, а потом отчетливо так: «Максим Дормидонтович! Будьте добры выйти из машины. И посмотрите вот на это место». Максим вылез, сунулся тучей к ковшу и молчит. «И еще сюда, будьте добры». Алябьев уже приказывает, рассердился. На самом деле, кто ему дал право так обращаться с народом? Медведев, значит, сунулся и туда, осмотрел ковш. А на ковше обе серьги треснули — литые, в руку толщиной! Конструктивный дефект — ударяется ковш о стрелу. Ну, Медведев ничего больше не сказал. Подождал две минуты, пока прорезали, испытали ковш. Убедился, что больше не ударяется, сел в машину и уехал. И ни звука больше!

Все одобрительно зашумели.

— Почему Алябьеву все сходит? Потому что Алябьев если не прав — признает сам, никогда до скандала не доведет. А если прав, да еще дело касается производства — ну, тогда его не стронешь. Сам скорее полетишь!

В эту минуту стул, висевший на двери вместо замка, заходил и запрыгал. Федя вытащил его из ручки, и в барак — легок на помине! — вошел обсыпанный инеем Алексей Петрович, а за ним молоденький техник с чертежной доской и трубкой бумаги.

— Скоро кончите? — шепнул Алябьев Феде. — Ну, ничего, мы подождем.

Став на цыпочки, он еще более удлинился и неслышно заковылял к печи. Кружок инженеров приветливо загудел, задвигался. Алябьев уселся там на лавке, в самом тесном месте, протянул руку, и Антонина Сергеевна, опередив всех, насыпала ему полную пригоршню орешков.

— Весьма тронут, — сказал Алябьев и шутливо поклонился ей.

— Что я вижу! Алябьев! — картинно удивился Фаворов. — Алексей Петрович, смотри — жена узнает!

— Алексей Петрович, — перебил его студенческий басок, — вам от наших ребят поручение.

— Бог с ним, с клубом! — вмешалась Антонина Сергеевна. — Мертвое дело. Давайте еще о чем-нибудь. Нам и этой печки хватит. Мне бы только книжечку еще — «Измельчение руд» Крапивницкого...

— «Измельчение руд»? — переспросил Фаворов. — Знаю. Не достанешь нигде.

— Конечно, это потруднее будет достать, чем черевички, — сказал насмешливый бас. — Но, может, среди нас найдется Вакула? Фаворов! Это по твоей части!

Все засмеялись, и Андрей Романович на сцене захлопал в ладоши и строго обернулся к ним.

— Что за Вакула? — спросил Алексей Петрович.— Какая книга?

— «Измельчение руд» Крапивницкого. Тонечке вот нужно. У нее дело на мельницах не очень ладится, а в книжке расчеты есть...

— А-а... понимаю. Ну что ж... Может, правда, найдется Вакула?

После репетиции, когда все уходили, Антонина Сергеевна, взяв под руки напряженного, молчаливого Федора и Фаворова, остановилась в дверях.

— Алексей Петрович! Вы что, остаетесь здесь ночевать?

— Завклуб натопил хорошо, — донеслось из барака. — С его разрешения мы поработаем здесь немного. Никак ветку не подведем к новому разрезу.

Все вышли на улицу — словно в белую лунную пустыню. Зазвенели под каблуками промороженные доски тротуара, и сзади вдруг раздался трубный бас. Это, сложив руки рупором, кричал в форточку Алексей Петрович:

— Фаворов! Коля! У тебя электрическая плитка была — принеси! И батончик, может, есть...

— У меня чайник есть! Электрический! — радостно крикнула вдруг Антонина Сергеевна. — Сейчас я вам все принесу! Мне ближе!

Она повернулась, толкнув Федю и Фаворова в разные стороны, спрыгнула с тротуара и повисла в лунно-белом морозном пространстве, быстро уменьшаясь, словно улетая. Вот она исчезла за глубокими сугробами, и все притихли, слушая удаляющийся легкий скрип шагов.

— Надо будет жене прописать! Ха-ха-ха! — бархатисто пропел Фаворов, и белые, зарытые в снег бараки стали бросать по спящему поселку это отчетливое «ха-ха-ха».

Дней за пять до Нового года Федор узнал, что в бараке ИТР молодежь собирается устроить вечер-складчину. Федя чувствовал, что его, как заведующего красным уголком, могут позвать на этот вечер, и представлял себе, как он будет танцевать вальс с Антониной Сергеевной. Для этого вечера он даже купил себе дорогой серый костюм и надевал его по вечерам, чтобы костюм немного обносился и на вечере не казался слишком новым.

Числа двадцать седьмого Фаворов подошел к его станку и сказал давно ожидаемые и все-таки неожиданные слова:

— Эй, завклуб! Я тебя в список внес. Танцевать

умеешь? Смотри. Только со своей водкой — это тоже учти.

В этот день Федор должен был развешивать афиши к воскресному киносеансу и решил воспользоваться этим, чтобы повидать Антонину Сергеевну и, может быть, даже поговорить с нею о предстоящем вечере. Он не видел ее уже дней пять.

После работы, свернув в трубку несколько серых листов, пересеченных крупными чернильными буквами: «Индийская гробница», Федор отправился в обход. Начал он с домика транспортной конторы, где сходились пять или шесть тропинок. Зорко оглядывая чуть розовые от вечереющего солнца снега поселка, Федя долго прилаживал лист к бревнам стены и стучал молотком. Обычно Антонина Сергеевна проходила вечером мимо транспортной конторы раза два или три. На этот раз ее что-то не было видно. Федор с сожалением оторвался от своей законченной работы и отправился дальше — к управлению. Не спеша он стал прилаживать афишу к стене. Заподозрить его никто не мог, — он спокойно вел наблюдение, видел восемь или десять троп, которые сходились здесь звездой. По ним с особенной вечерней живостью пробегали в одиночку и группами инженеры в плащах, плотники с топорами, рабочие карьера. Но Антонина Сергеевна не показывалась.

Прибив наконец афишу, Федя в последний раз огляделся, посмотрел на розоватое вырубленное взгорье, полукольцом охватившее поселок, затянутое вдали молочно-розовым морозным туманом. И — нечего делать — зашагал по желтой тропке к лесному островку, за которым был слышен глухой грохот дробильно-размольного завода.

У здания мельницы под деревянными бункерами грузились вагоны, обросшие фосфоритной пылью. Федя остановился перед знакомой дверью, за которой гремела белесая мгла, но не смог войти. Он приказал себе: «Иди в дверь!» — и не пошел. Взял в рот несколько гвоздей и стал медленно прибивать афишу к дощатой стене около бункера.

— Эй! Что делаешь? — закричали сверху

несколько голосов, и Федя увидел на эстакаде рабочих с лопатами. Они свешивались через перила, стараясь разглядеть афишу.

— Не здесь прибиваешь! Пылью занесет!

— Кому надо — прочтет, — ответил Федя, задорно ударяя молотком, следя за дверью. — Давайте грузите. К Маю чтоб план был!

Сверху ничего не ответили.

— Чтоб годовой план был с перевыполнением, — приговаривал Федор. — Антонина Сергеевна чтоб веселая ходила. На Доску почета чтоб...

Наверху сурово молчали.

— Вернется — сделаем план, — сказал рабочий, водя перчаткой по перилам. — Обязательно должны наладить.

— А что она, в отпуске? — спросил Федя, вбивая лишний гвоздь.

— Ага, — усмехнулась женщина. — Угадал.

И рабочие заговорили наперебой:

— Медведев ее в отпуск отправил. В Суртаиху. Отулыбалась наша Антонина Сергеевна.

— Будет там заместо начальника на карьере. Карьер виноват, а она держи ответ.

— Медведев спросить умеет...

— А может, и не карьер виноват...

— Карьер. Некачественную руду шлют. Кондиции нет, — научно пояснил старик. — А к тому же машины новые. Ей, начальнице нашей, в институте про них не говорили. И помочь некому. Один только спрос.

Федя торопливо зашагал к управлению. Вот — пришло время. Именно сейчас, в эти трудные для Антонины Сергеевны месяцы, должны были надолго определиться ее постоянные друзья. Кто они? Если будут, то не много. Чем же помочь?

Новая мысль медленно поднималась, росла в нем. В лесном островке он поглядел назад, на темный силуэт дробилки, обведенный розовой солнечной каймой, и вслух сказал:

— Я сделаю это!

И сразу переменился. Только что Федя широко шагал по тропе, почти бежал в расстегнутой телогрейке,

и вот вместо него идет другой человек — неторопливый, твердый, спокойный.

В эту минуту Федя отчетливо видел силу, против которой он с этого дня начинал борьбу, силу, которая уступала только инженеру Алябьеву. Он еще не видел Медведева, но характер его хорошо знал. Не раз, сняв в конторке Фаворова телефонную трубку, ожидая ответа телефонистки, Федор слушал хор отдаленных и близких голосов поселка. Потом вдруг врывался спокойный, неземной голосок: «Тише, сейчас будет говорить Максим Дормидонтович», — и поселок смущенно затихал, голоса прятались, уступая дорогу властному, нетерпеливому басу управляющего.

— Стена! — зло шепнул Федор, вспоминая усмешку Фаворова.

Никто не принимал всерьез его слов о клубе и библиотеке. Тайга! Инженеры и те примирились, устроили себе посиделки в бараке, в комнате холостяков.

«Будет, будет!» — подумал Федор и повторил это про себя еще и еще раз — для храбрости.

У входа в контору управления Федя стал с виду еще равнодушнее и медлительнее. Он не спеша поднялся по ступенькам и коридором прошел к Володе Цветкову. Секретарь сидел за своим столиком, а рядом с ним, за другим столиком, на фоне знамени, писал сводку Середа — в валенках и телогрейке, освещенный через окно горячим розовым светом зари. Все морщинки на его добром, усталом лице можно было пересчитать, очки горели. «Старый», — подумал Федя и с равнодушным видом молча сел посреди комнатки на новую табуретку.

— Ну, что пришел? — спросил Володя минут через десять.

— Раз поставил меня заведовать красным уголком, раз сказал «а» — говори и «б». Помогай.

— Правильные слова, — сказал Середа, не отрываясь от своей бумажки. — Золотые, золотые слова.

Федя выждал долгую паузу и заговорил еще равнодушнее:

— Как зав, я все время слышу одно и то же от народа: нужна библиотека, инженерам нужны книжки

по технике, ребята учиться хотят... И самому мне нужно десятый кончать...

Володя оглянулся на Середу. Тот и ухом не повел, только медленнее, любовнее стал выводить буквы.

— Кружки можно организовать, — продолжал Федя с равнодушным видом. При этом он зорко, с острой надеждой следил за обоими. — Организовать можно, а заниматься негде. Лекции нужны — опять зала нет. Вон по баракам уже стихийно диспуты ведутся. Стихийно... — повторил Федор — ему понравилось это слово.

— Где же это? — спросил Середа, выводя буквы.

— А у нас, в четвертом. О жизни, о браке, семье, о всяких таких делах. О коммунизме. Самобаев у нас заворачивает. Как скажет слово — весь барак спорить начинает. Хорошо это? Плохо?

— По-моему, хорошо, — Середа устало улыбнулся. — Об этом, родной, уже подумали. Сысой у нас агитатор.

— А не говорит вам этот факт, товарищ Середа, не говорит вам это, что нужен клуб? Что у нас есть большая аудитория и она требует клуба?

— А, вот о чем ты! Может, ты, товарищ Гусаров, Дворец культуры начнешь здесь строить?

— А что? Хотя бы и дворец!

— Слушай! — Середа снял очки и посмотрел на Федю добрыми старыми глазами. — Не возражай. Все на свете находится в развитии. Понял? Все развивается не только в пространстве, но и во времени. Забегать вперед, ломать исторический ход развития никто нам с тобой, товарищ Гусаров, не позволит. Знаешь, кто забегал? То-то! Учти. Что смотришь?

Федя смотрел на Середу так, словно у него прозрели глаза. Легкая улыбка трогала его губы.

— Придет время, — продолжал Середа, — и на повестке дня у руководства встанет вопрос о строительстве Дворца культуры. Чихнуть не успеешь, как дворец будет стоять. А сейчас работай. А эту маниловщину всякую выбрось из головы.

— А если все-таки сходить к Медведеву? — неожиданно спросил Федор, глядя на Цветкова.

Середа молча скрипел пером, как будто и не слышал. Володя встал, запер столик.

— Пойдем.

Они вышли в полутемный и длинный коридор. Неподалеку поперек коридора лежала яркая полоска розового света, брошенная из открытой двери. Там, за дверью, ярко розовела стена, искрилось полированное дерево шкафа, виднелся красный с зеленым уголок ковровой дорожки. Это была приемная управляющего. Чувство страха подступило к самому сердцу Феди, и он шагнул к полоске света.

— Не торопись, — сказал Цветков. — Не спеши. Я тебе просто сказать хотел, одному, чтоб ты знал: Середа уже ходил к Медведеву с этим вопросом полгода назад. Поэтому он и ответил тебе так... определенно. Уже ходил, понимаешь?

— Погоди, я сейчас...

Федор приказал себе войти и вошел в приемную, словно прыгнул с большой высоты. Как потом рассказывал Володя, внешне он был очень спокоен. Он двигался по мягкой дорожке быстро и спокойно, как преступник в чужой комнате. В приемной никого не было. Стоял пустой стол секретарши и звонил телефон. Федор взглянул на высокий полированный шкаф и сразу же понял — это вход к управляющему. Открыл дверь, толкнул вторую. Девушка в лиловом свитере побежала к нему навстречу — в глазах ужас, — направив на него все десять пальчиков. Стала толкать его назад.

— Кто там? — раздался негромкий бас из глубины огромного кабинета.

Федор отстранил девушку и увидел длинный стол для совещаний и широкий письменный стол вишневого цвета, приставленный к нему. Над столом висела узкая и длинная — от стены до стены — картина: вид на большой заводской район с высокой горы. Панорама была вся в трубах и дымах. То тут, то там виднелись огромные котлы, склепанные из железных листов, поставленные стоймя на фундамент и соединенные трубопроводами. Поодаль, в сосняке, расположились рядами веселые деревянные домики поселка — двухэтаж-

ные, с балкончиками и затейливо очерченными крышами. Среди кирпичных корпусов затерялась знакомая крыша механического завода со стеклянными башенками, а в стороне от нее Федор нашел и дробильно-размольный завод с эстакадой и рядом с ним второй такой же. Федор видел будущее комбината. Он в первый раз понял огромность дела, к которому прикасался.

— Подойди ближе. Что тебе надо? — услышал он спокойный бас.

Он увидел за столом обыкновенного человека с головой, остриженной наголо, низко опущенной над раскрытой папкой. Федор увидел шею — полную, коричнево-розовую, ноздреватую, охваченную голубым шелковым воротничком. От этой неподвижно склоненной головы веяло той властью, с какой Федя еще никогда не встречался. Перед управляющим на столе, как у железнодорожного диспетчера, стоял аппарат с телефонными трубками, рычажками для переключения, красными и зелеными глазками.

— А? — спросил он, переворачивая лист. — Чего тебе?

В это время распахнулась вдали дверь и вбежала девушка в лиловом свитере.

— Максим Дормидонтович! Москва!

Медведев снял трубку, откинулся в кресле и возвел на Федора глаза. Они оказались мутносиреневыми. Но глаза эти сейчас не видели — они слушали, а свободная рука управляющего странно бегала пальцами по столу — искала нужную бумагу.

— Да-да-да-а-а! — резко, нараспев вдруг закричал он. — Да-да-а! — И улыбнулся. — Николай Устиныч! Медведев, Медведев слушает! Что ж, ваше дело спрашивать, наше — отвечать! Выполняли и выполняем! Конечно, при вашем чутком руководстве... Но и при нашем — ха! — деловом подходе! Приезжайте, не боимся! Мы всегда готовы: вы — к спросу, мы — к ответу!

Пока он шутил так с начальством, косясь тревожно на секретаршу, она быстро, но спокойно перебирала бумаги в его папке. Нашла наконец нужную сводку,

подала ему, и он сразу прекратил шутки, которые теперь стали ненужными.

— Николай Устиныч! Так сводочка вам нужна? Передаю! Первое — пятнадцать, второе — сто тридцать семь...

— Максим Дормидонтович, сто двадцать, сто двадцать семь! — испуганно зашептала секретарша.

— Второе — сто тридцать семь... Тридцать семь. Да, — повторил управляющий и махнул на девушку листком. — Третье!.. — закричал он и поморщился в ее сторону. — Тише!

Окончив разговор с Москвой, Медведев сразу же снял трубку с другого телефона.

— Суртаиху мне... — Вот он, настоящий, знакомый бас Медведева. — Помолчите немного! Царев, помолчи. Суртаиха? Где Чинаров? Федчук? Пусть Чинаров доложит мне добычу и вскрышу. Буду ждать. Как Шубина, бегает? Напомни ей — завтра пусть доложит мне свои соображения.

Он положил трубку. При этом у него нервно стянулась кожа на шее под ухом, стянулась и разошлась.

— Ну, что скажешь? — спокойно спросил он, опять принимаясь за чтение бумаг.

— Я заведующий красным уголком, — сказал Федор.

— Продолжай.

— Ко мне приходят люди. Хотят учиться, в кружках хотят заниматься. Инженерам техническая литература нужна. Библиотека нужна, клуб... У нас ни одной лекции не было. Обмен опытом можно было бы, как в газете «Труд», организовать. Сцены настоящей нет для драмкружка.

— Все?

— Нет... Разве все скажешь так-то?..

— Вопрос ясен. Дом культуры будет через два года.

Наступило молчание. Управляющий перевернул страницу. Потом вдруг поднял на Федора сиреневые глаза, чуть-чуть нахмурился и еще раз взглянул на Федю. Он сразу заметил выражение затаенного покоя, зоркого равнодушия в лице Федора — то, чего не

увидели Володя Цветков и Середа. И еще раз быстро, сбоку Медведев взглянул на Федю, смерил взглядом от головы до ног.

— У нас должен уже стоять Дом культуры, — сказал он и забарабанил пальцами по бумаге. — А мы вместо дома механический завод досрочно пускаем. До-срочно! Главное звено тянем наперед. Вот видишь! — он кивнул на телефон. — Все государство на том сейчас. Дòбыча, дòбыча, каждый день дòбыча. Понял? А клуб — я понимаю тебя. Поплясать хочется. Ничего, успеешь поплясать. В твое время я с кнутом около коров плясал. Сколько тебе? Двадцать будет? Ну вот. Используй, что есть. У тебя много есть, больше, чем у меня.

Он опустил голову к бумагам и перевернул в пальцах красный карандаш — беседа окончена. И непонятная сила его отбросила Федю и вынесла из кабинета. В коридоре Цветков шагнул к нему, Федор махнул рукой и пошел к выходу, думая об одном и том же. Перед ним так и стояла картина: заводской район на десять километров в длину и вширь, и под картиной — человек, управляющий своими телефонами и диспетчерским аппаратом. Может, действительно не следует забегать вперед?

День быстро догорал. От управления во все стороны по улицам и тропкам торопливо расходились люди. Вдали, перед крыльцом красного уголка, четыре плотника во главе с Самобаевым устанавливали только что привезенную Доску почета, похожую на роскошный подъезд дворца — с колоннами и ступенями.

«Может быть, он прав — надо использовать то, что есть?» — думал Федор, шагая к своему бараку по деревянному обледенелому тротуару.

Позднее, в десятом часу вечера, Федя, разложив в красном уголке на полу около печи большие серые листы, писал на них слова: «Не забывай меня» — название фильма. Глухо стуча валенками, в барак вошел Середа. Молча постоял за спиной у Федора, сел

на лавку и бросил рядом с собой пакет, из которого от удара выехала пачка глянцевых фотографий.

— К самому, значит? — сказал Середа. — Все-таки не удержался? Не поверил мне?

— О чем вы?

— Так, ни о чем. Возьми вот. Наши ударники. Размести получше. Надписи девчата принесут. Из технического отдела.

Федор взял пачку, стал считать фотографии. Знакомые лица одно за другим ложились на лавку. Братья-бурильщики Леоновы. Строгий и словно завитой на висках Петр Филиппович Царев. Самобаев, раскрывший глаза, словно в ужасе. Алексей Петрович...

— Алябьева в центр помести — Максима Дормидонтыча распоряжение, — сказал Середа.

Федор спокойно отсчитал восемнадцать фотографий и остановился. Теплый, ласковый ветерок заполз ему в грудь. Улыбаясь своей далекой мысли, на него глядела с фотографии Антонина Сергеевна.

— Вот она! Слава богу, напомнил! — Середа взял эту фотографию и положил себе на колено. — Эту вот, Софью нашу... снять с доски придется. Карточку можешь подарить ей. Что ж ты, родная, подкузьмила нас?

— А что такое? Грехи есть?

— Весь грех — что молода. Еще не работала нигде после института. Вот и попалась. Как морозы стукнули, так план у нее и покатился вниз. Ниже проекта съехала. Конечно, и карьер здесь виноват, особенно Суртаиха. Да план, знаешь, ему все равно, кто виноват...

Они оба умолкли. Середа повертел карточку в руке и бросил на лавку. Потом встал и окинул взором барак.

— Пошел все-таки к Медведеву. А ничего ведь все равно не вышло, — сказал он.

Федя ждал, когда Середа уйдет, чтобы без него посмотреть на карточку и спрятать. А тот все осматривал стены барака.

— Хорошее помещение, — не без яда сказал Федя, глядя ему в ватную спину.

Середа с понимающей улыбкой оглянулся на него, сказал «н-да» и пошел к выходу, глухо стуча валенками. Наступила тишина, тени в углах сгустились, и где-то отчетливо заскреблась крыса. Она скреблась все настойчивее, и все дольше. Федор задерживал кисть в банке с чернилами, глядя на портрет Антонины Сергеевны. Она смотрела на него рассеянно, мысли ее были в другом месте.

Написав афиши, Федор запер красный уголок и побежал к своему бараку. Открыв обитую войлоком дверь, он вошел в заиндевелый тамбур, а потом, как в жаркую баню, в общежитие. Увидел сизые полосы махорочного дыма и подумал сначала, что в бараке идет митинг. Рабочие тесным кружком собрались в глубине, за печью. Все смотрели на Газукина, который сидел немного поодаль в позе ученика, решающего задачу, — весь изогнулся, обтянутый майкой, и писал что-то в тетрадке, двигал голыми локтями. Федя заметил, что одна рука его забинтована чуть ниже плеча. Приподняв голову, обрамленную с двух сторон почти женскими русыми прядями, Васька с тоской оглянулся на рабочих, шевельнул губами. Легкий смех вспыхнул в кружке и угас.

Федору заступил дорогу Самобаев, подал ему сухую, твердую руку с култышкой вместо указательного пальца.

— Ну-ка, сидай к нам, Федя, расскажи, как брал управляющего на «ура». Ну, что смотришь? Садись, говорю, попей чайку.

— Откуда узнали, дядя Сысой?

— Мы все знаем. Все видим. Без доклада, значит?

Федор рассказал о своем дневном визите к Медведеву. Помолчав некоторое время, прихлебнув чаю и почесав грудь, Самобаев сказал:

— Ты этого не бросай.

— Медведев несогласный, — заметил за печью беззубый старик истопник Кузя. — Он ежели скажет, обратно не повéрнет.

— Так и должно. Хорошее дело никогда так не родится. Это только начало. Поживешь, Федор, — не то увидишь. А что Медведев несогласный, так он сла-

бость свою показывает. Раз клуб потребовался, значит комбинат наш уже не стройка, а предприятие. Народ огляделся, обживается, жить здесь захотел, навечно остается. А он этого не видит. Народ раньше не требовал, не до того было, хоть клуб и в планах стоял. Все на чемоданах сидели. А раз начинают требовать, значит — время.

— Это верно, — подтвердил со своего топчана Аркаша. Он уже отдежурил и перед сном приобрел «человеческое обличье», то есть нарядился в свои бостоновые брюки и шелковую рубашку.

— Все меняется, — сказал Самобаев. — Даже Газукин вон изменился, заявления стал писать. Мне хочет вручить, как члену постройкома. Вот и сиди, жди ихнюю милость, сколько уже чашек выпил, а он все пишет и конца не видать. Написал, что ли? Ударник!

Васька оглянулся и, подбирая вздернутую губу, зачастил новым для него глухим полушопотом:

— Думаешь, я... Я для принципа хочу. Я вон — план... Завод вон... Стоим, станки монтируем. И то двести десять. Кто еще двести десять дал? Хорошо — Балакину за дело. А Горожанкину? Сто восемьдесят, — и его на Доску почета! А валы? Царев вон в лужу сел — и его на Доску почета! Так первее кто? Почему меня не поставили?

— А кто его в лужу садил, Царева? Кто? — ласково возразил Самобаев. — Доска у нас для передовиков социалистического соревнования отведена. А у тебя это не соревнование, а бес его знает что, не поймешь. Хоть ты и вахту объявил. У тебя стимул не тот. То принцип, то рублевку дай. В Америке, может, из тебя, Вася, Форд бы получился. А здесь, видишь, даже почести тебе отдавать не хотят.

Газукин молчал, молчал и вдруг спросил:

— Это почему же?

— Ну вот, начинай сначала. Валяй, пиши уж!..

Подошел Герасим Минаевич, огромный в плечах, задумчивый. Широким, отцовским движением руки Самобаев будто смахнул со своего топчана молодого парня. Дизелист сел, докуривая цыгарку.

— У нас почести красному знамени отдаются,— сказал он и посмотрел на Ваську.

За последние дни Герасим Минаевич заметно изменился. Он стал мягче — готовился в путь. Перед сном ему теперь нужно было послушать беседу. Еще не пришел ответ на письмо, которое отослал Алексей Петрович, а дизелист уже начал прощаться с комбинатом, и все понимали это.

— Как, Минаич, дела? — спросил истопник Кузя из-за печи.

— Понимаешь, до сих пор ответа нет. — Дизелист затянулся в последний раз и приклеил окурок под сапог.

— Герасим, тебе бы в Куйбышев или в Сталинград написать, — сказал Аркаша. — На великие стройки коммунизма.

— В Куйбышеве я был в тридцать девятом году. А сейчас там нужна квалифицированная рабсила. Там, брат, медью головки не чеканят.

— Повар! — с лаской в голосе позвал Самобаев. При этом плотник низко наклонился, наливая в кружку кипятку из чайника, установленного под топчаном. — Значит, коммунизм в Куйбышеве только будет? Без фосфорита, думаешь, будем обходиться? И, конечно, без щей? — добавил он еще ласковее и выпрямился. — А Алексей Петрович, он что — не коммунист? А я до сих пор, признаться, думал, что ученый, который в кресле всю жизнь сидит, что и он чего-то делает. Ты знаешь хоть, что такое высшая математика?

Аркаша не ответил, отвернулся, усмехаясь.

— Ты не усмехайся, потому что ты еще млад. Во-о, сынок! Я сорок лет топор в руках держу. Постучи-ка ты с эстоль кастрюлями — само дело тебе скажет, что и для тебя задача поставлена. Ась? — отозвался он вдруг на чей-то вопрос. — А как же! Вот поезжай в Смоленскую область, в Ново-Дугинский район, там Карасев Иван Демьяныч избы ставит, мой дружок. С мечтой работает! Как глянешь — самому захочется в таком терему пожить!

— Вот и видать, ты с мечтой работал. Полпальца-

то и нет! — сказал Аркаша и засмеялся. — Вот тебе и мечта! Когда работаешь, мечту долой! В выходной — другое дело: кружку пива — и мечтай.

— Ты прав... — начал Самобаев.

— Мечтать будешь — щи убегут, — перебил его поощренный повар. — Каша подгорит!

— Ты прав. У тебя-то она никогда не подгорала. И не подгорит.

— Это да, — Аркаша довольно ухмыльнулся. — Не-е! Жалоб на это еще не было. Я еще маленький дома уже умел ее варить.

Самобаев посмотрел на него с сожалением.

— Ты какой был в семье по счету?

— Восьмой. Меньшой.

— Так и есть. Я помню, когда мать у меня пекла пироги, у нее всегда под конец оставалось тесто. Что тогда делать?

— Булочку можно испечь. Сдобную.

— Вот-вот. Сдобная. Без начинки.

Все засмеялись, и повар за всеми.

— Шалишь, Сысой! У меня так не бывает!

Самобаев хотел еще что-то сказать и не сказал.

— Эй, грамота! — окликнул он Газукина и, поставив кружку на тумбочку, направился к нему. — Написал, что ли? Право, сочинитель! Да не «ева», а «его» — последнего. Ошибку, говорю, исправь, Ева!

Газукин побагровел и закрыл листок грудью.

— Учиться надо, Вася, — раздался голос Герасима Минаевича.

Дизелист зашевелился, хотел сказать что-то важное, подумал и не сказал. Самобаев взглянул на него и понял все.

— Это ты, Герасим, и не думай. Профессором ему не быть. На руке чего-нибудь рисовать иголкой — вот это да...

— Да где мне учиться-то? Где она, школа? — заорал Газукин, оскалясь, стараясь подобрать дрожащую губу.

— А ты вот к нему обратись, — Самобаев кивнул

на Федора. — Толкай его посильнее. Смотришь, и школа будет. Ну что? Давай заявление!

Он потянул бумажку из-под Васькиного локтя. Васька резко прихлопнул ее ладонью — не трожь! — и заявление Василия Ивановича Газукина, над которым он так долго трудился, разорвалось на две части. Васька смял его в комок, вскочил и пошел куда глаза глядят, в дальний конец барака. Он сел там, вдали, на топчан Федора и стал рассматривать свою руку, забинтованную выше локтя.

— Федь! — негромко позвал он.

Федор прошел к нему, сел рядом, и они оба замолчали. Чтобы не касаться больных вопросов, Федор спросил:

— Что это у тебя?

И сразу же пожалел об этом. Газукин заглянул ему в глаза с отчаянием, словно хотел дознаться: есть ли у него хоть один друг на свете? Должно быть, он решил все-таки, что есть, — молча приблизил к Федору локоть и отвернул край повязки. Федя увидел багровый ожог там, где раньше были слова «Век не забуду», где синел когда-то девичий силуэт.

— Выжег?!

Васька кивнул.

— Паяльником.

— С ума спятил! Кто это тебя надоумил? Уляша?

Васька покраснел и еле заметно моргнул: «Да».

— Ого! — Федор знал Уляшин характер.

— Мы не гуляем, — признался Васька. — Неделю уже. И на кино сама ходит. Она как увидела это дело, вот это: «Век не забуду» — сразу отрезала. Знаешь, что сказала? «Когда век пройдет, когда забудешь, тогда являйся, подумаем». Врет ведь! Фасонит! А? А мне что — паяльник есть, можно и вывести!

Он опять испытующе посмотрел на Федора.

— Слушай-ка! В самом деле! Или, может, разыгрывает нас Сысой? Чего это он про школу говорил?

— А ты бы пошел?

— Пойду. А что ты думаешь — не смогу? Шесть

классов у меня... Врешь ты все! — Он посмотрел на Федора злыми глазами.

— Я ничего еще не говорил!

Федя задумался. Он вспомнил о письмах матери. «Доучись, успокой...» — просила она. Может, и не было бы у него такой неопределенной судьбы, если бы он окончил спокойно свои десять классов? Ведь кончают же некоторые! Даже с медалью... Молодые, а все видят впереди, весь свой путь. Не рвут постромок. Интересно все-таки, как устроены эти всевидящие глаза и это разумное сердце?

— Я ничего еще не сказал, — повторил Федя. — Когда будет ясно, тебе первому скажу.

Они посидели молча, потом Васька ушел стелить свою постель.

Весь барак уже мерно дышал, с перебоями и всхрапываниями, горели только две лампочки, а Федя все еще сидел, раздумывая о своих делах. В первом часу ночи он выдвинул из-под топчана чемодан, достал оттуда тетрадку и пузырек с чернилами и, подсев к тумбочке, изогнулся, как изгибался час назад Васька, стал быстро писать. Он писал заметку в редакцию областной газеты.

Если бы Федора спросить в ту минуту, что заставило его так решительно взяться за перо, он не смог бы дать ответа. И все же он сказал в заметке много верных вещей: о том, например, что, кроме киносеансов (которые в поселке бывают редко), рабочим надо бы показать иногда и спектакль. Рабочие хотят общаться, спорить, получать ответы на интересующие их вопросы по внутренней и международной политике. Они хотят слушать лекции, учиться и повышать свой культурный уровень. Молодой способный токарь Василий Газукин не раз уже обращался с вопросом, будут ли в поселке книги, будет ли школа для рабочей молодежи, — что ему ответить?

Федор написал и о драмкружке и о том, что есть среди рабочих комбината немало талантов. Они сумели бы разогнать скуку зимних комбинатских вечеров — было бы где развернуться! «Руководители комбината не могут, видимо, понять той простой истины,

что комбинат из стройки постепенно становится предприятием, что в связи с этим на комбинате растут кадры постоянных рабочих, решивших связать свою судьбу с судьбой комбината навсегда. Для этих людей надо создать нормальные условия жизни». Федя даже потер руки от радости, когда перечитал этот абзац.

Затем он сказал об интеллигенции комбината. «Перед группой молодых инженеров, — писал он, — недавно встал технический вопрос, от решения которого зависела судьба плана. Решить этот вопрос было бы значительно легче, если бы инженеры имели необходимую техническую литературу. В частности, очень нужна для работы книга «Измельчение руд» Крапивницкого».

Федя подчеркнул название книги и этим до некоторой степени выдал себя. К этой последней фразе он обязательно должен был прийти, потому что из-под его тетрадки все время выглядывал уголок фотокарточки и там были видны чьи-то волосы, прозрачные и легкие, как струи тепла.

Перечитав заметку, Федор спохватился: что, если ее увидит Антонина Сергеевна? Или Фаворов?.. Больше равнодушия! Он закрыл глаза, сжал кулаки коленями. Какие название книг можно было бы поставить рядом с «Измельчением руд»? Чтобы получился деловой перечень, чтобы видно было ясную мысль техника и только техника? «Надо будет спросить у инженеров», — сказал он себе, ложась спать. Топчан долго и мучительно скрипел под ним в эту ночь.

Два конверта были опущены в почтовый ящик, из них один — с заметкой Федора, а во втором было письмо. Начиналось оно словами: «Товарищ председатель!», а дальше шла та же заметка. Конверты легли в ящик без звука, словно улетели в пустоту. И с этого момента потекли дни и недели, похожие одна на другую. По утрам Федор затемно убегал на работу. Вечером возвращался в барак, вытягивался на своем топчане, перебирал в памяти все, что произошло с ним

за прошедшие месяцы. Больше нечего было делать — ответы на письма не шли; только одно и оставалось: лежи да раздумывай.

Чаще всего Федор ломал голову над своей последней встречей с инженером Алябьевым. Произошла она еще до того, как Федя отправил заметку.

Он сидел в красном уголке и рисовал на листке бумаги симметрично расположенные квадратики. Так должны были разместиться портреты ударников на Доске почета. Пакет с фотографиями лежал здесь же, на столе, но думал Федя в ту минуту совсем о другом: у кого бы из инженеров спросить о нужных для них книгах? Заскрипел под окном снег, хлопнули двери тамбура, и в барак вошел, громко дыша с мороза, Алексей Петрович. Федя встал, сел, засмотрелся на матовую белизну его лица, на усталые морщинки и только через минуту заметил, что Алябьев ничего не говорит, только дышит с мороза.

— Доска почета? А? — спросил он наконец, увидел плакат и, достав фотографии ударников, стал их рассеянно просматривать, перекладывая из стопки в стопку. Свою фотографию он переложил, не глядя, как листок белой бумаги.

Дойдя до последнего фото, он растерялся — словно не нашел того или, может быть, т о й, кого искал. Он снял шапку и начал снова перекладывать фотографии. Светлые, тусклые волосы его, примятые шапкой, не спеша поднимались — прядь за прядью. Когда Алексей Петрович стал перебирать фотографии в третий раз, он косо взглянул на Федю: не находят ли некоторые товарищи странной эту бесцельную игру в карточки? Федя сделал вид, будто ему все безразлично, и стал рисовать на своем листе вопросительный знак.

— Из дробилки никого не занесли на доску? — услышал он и, не поднимая головы, ответил:

— Дробилка провалила весь план.

Через минуту Федор поднял глаза и вздрогнул: инженер внимательно читал его заметку. Перебрав все фотографии, он, должно быть, заглянул в пакет — не осталось ли там еще карточки? — и вот наткнулся.

Заметка была переписана начисто и заканчивалась

словами: «в частности, очень нужны...» — здесь Федя оставил полстраницы для перечня книг. Он собирался дописать заметку после разговора с инженерами.

— Надо конкретнее разговаривать о таких вещах, — сказал Алексей Петрович. Голос у него был надтреснутый, подчеркнуто безразличный. — Если о книгах говорить, то надо писать прямо: «Измельчение руд»...

Вспоминая об этом, Федор чувствовал легкое удушье, глаза его загорались, он никак не мог отделаться от подозрений. В тот день Федя тоже помертвел на секунду. Но тут же улыбнулся: «Ведь он женатый!»

— Эта книга у меня уже записана, — сказал он как мог равнодушнее.

— Интересно, кто...

— Фаворов, — сразу же нашелся Федя.

Пристально, как следователь, взглянул Алябьеву в глаза, и тот вспыхнул и отвел взгляд, хоть и был старше Феди лет на восемнадцать. Потом Алексей Петрович спохватился:

— Но ведь, кроме этой, еще книжки есть! — воскликнул он, собираясь с мыслями. — Какие же книги мы возьмем?..

Ни одно название не приходило в голову Алексею Петровичу. Наконец он успокоился и ясным голосом техника, только техника, продиктовал: «Дробление и грохочение», «Механическое обогащение руд», «Буровзрывные работы», «Бурение шпуров» и еще десятка полтора таких же малопонятных для Феди названий.

О своих газетных делах Федя сказал только Володе Цветкову, Самобаеву и Герасиму Минаевичу. Дизелист и Федя сдружились, они вместе теперь ходили к полочке, куда почтальон бросал письма для четвертого барака. Оба они ждали от почты чудес. Когда они вытягивались рядом на своих топчанах и начинали глядеть в потолок, часами не произнося ни слова, Самобаев говорил:

— Гляди, ребята, беседа опять пошла.

Иногда Федор нарушал молчание:

— Герасим Минаевич!.. Ответят?

— Обязательно.

— Не отвечают что-то. Уже вон сколько прошло...

— Москва не сразу строилась. Месяца два, а то и три подождем. Там так. Зерно вон сколько лежит в земле, пока набухнет...

Федя не мог точно сказать, о каком письме говорит дизелист, — о своем или о Фединой заметке. Но после таких утешений он чувствовал себя лучше и улетал в будущее, на полгода, на год вперед. Он уже заведовал клубом, а в клубе работали кружки: драматический, хоровой, любителей рисования и литературный кружок. Каждую среду собирались в библиотеке инженеры и стахановцы решать какой-нибудь острый технический вопрос. Приходила Антонина Сергеевна в своем зеленовато-голубом свитере, нарядный Фаворов, инженеры из технического отдела, — никто уже не смеялся над Федей. А сам он, одетый просто — все в том же сером костюме, — он, чтобы не мешать занятиям, неслышно проходил через эту комнату по своим делам. Он не собирался никого колоть своим присутствием, говорить о своих заслугах, осторожно закрывал за собой дверь и, случайно оглянувшись с болью замечал сквозь щель взгляд Антонины Сергеевны, брошенный ему вслед, — взгляд, полный благодарности и грусти: она одна обо всем догадывалась...

Он резко обрывал эти мечты: таким способом он уже с давних пор боролся со своим героем, который упорно лез на видное место и даже скромностью готов был похвастать. Федя наказывал его — начинал читать газету или книгу про Галилея, общественную книгу, которую читал и перечитывал весь барак.

Но, должно быть, такова была его судьба: воображение тотчас подсовывало ему другую картину. Вот в газете напечатана его заметка. Когда Федя писал ее, он долго подбирал себе псевдоним: «Жало», «Оса», «Глаз», потом решил, что это трусость и подписал заметку своей фамилией. И вот заметка появляется, все называют имя Феди, и вдруг — трррр! — телефонный звонок: «Гусарова в управление!». Федя идет, спокойный, готовый ко всему...

Очнувшись, Федор спрашивал у Герасима Минаевича:

— Что он может мне сделать?

— Что? — Герасим Минаевич, опустив брови, сурово размышлял. — Что сделает? Шут его знает, не могу придумать. Он хитрее меня.

Так и текли Федины дни в попытках понять прошлое и угадать будущее. А в самом течении этих дней ничего интересного не происходило. И чем дольше затягивалось ожидание, тем живее предчувствовал Федя скорый приход неизвестных перемен в своей жизни.

По его требованию в красный уголок провели телефон, и теперь Федя, ожидая ответа телефонистки, мог подолгу слушать, о чем говорит поселок. Каждый день — и утром и вечером — высокий приглушенный голос кричал издалека о бочкотаре под капусту, о жирах, об организации второго пищеблока в Суртаихе. «У меня люди здесь по два часа ждут обеда!» — кричал этот голос, и Федя, закрыв глаза, видел Антонину Сергеевну, похудевшую, запыленную, за столом в этом пищеблоке. По вечерам секретарша начальника пожарной охраны знакомилась с кем-то по телефону. Федя слышал только ее голос, прерываемый долгими остановками: «Не может быть... Вы очень самонадеянны... Зачем вам это знать?.. Ха-ха-ха! Ваши усилия будут напрасны!..» Иногда Федя слышал переговоры между начальником транспортной конторы и начальником жилищно-коммунального управления: «Иван Кондратьевич, у меня к тебе деловой разговор, ты подскочи ко мне...» — «Борис Емельяныч, рад бы, душа, да занят. Служба...» — «Слушай, не ломайся, у тебя лошадей до биса, весь транспорт...» — «А у тебя? Серого рысака запряги — и айда. Нужда ведь твоя?..» — «Нужда государственная...» — «Тем более, об чем речь!..» — «Да-а, ты я вижу, такой же...» — «Пока еще все такой, самостоятельный. Передадут вот в твое ведомство — будешь тогда меня вызывать...» — «Придется нам у Медведева назначить свидание...» — «Это дело! На нейтральной почве...»

Все эти разговоры отдавали скукой и однообразием таежной жизни, но Федя и в этой скуке чувствовал

напряженное ожидание, словно весь поселок вместе с ним ждал письма.

Один раз, сняв трубку, Федор прикоснулся ухом к гробовой тишине — весь комбинат молчал. Он сразу понял, в чем дело: в этом молчании раздался знакомый Феде бас:

— Ты все-таки ответь: ты чего там опять колбасишь?

— Максим Дормидонтыч, я сделал, как надо было, — отвечал далекий голос, будто с луны. Феде показалась знакомой эта скороговорка. — Забои, забои здесь все мокрые! Поскольку у нас еще нет сушки, мы решили перейти на четвертый карьер...

— Там же твердый камень! Немедленно прекратить! Ты что, хочешь мне производство остановить? Ты для этого просился на Суртаиху? Алябьев! Громче говори! Что люди? Ты мне людьми не тычь, я сам тоже человек, а с меня все равно спрашивают. Слушай сюда: немедленно прекращай все эксперименты!

— Максим Дормидонтыч, не прекращу. Нам надо ориентироваться на твердые пласты, потому что в них больше процент пе-два-о-пять. И потом они составляют основу... Рано или поздно, а придется...

— Мне сегодня нужен мягкий камень! Ты забыл, какое сегодня число? Дай трубку Чинарову!

— Чинаров на карьере... Я понимаю, вам надо поскорее доложить о перевыполнении плана. Вы это сделаете...

— Я не собираюсь с тобой здесь шутки шутить! — загремел Медведев. — «Составляют основу»! Я тебе еще раз говорю... приказываю — давай мне верхний пласт, мягкий. Тот, что сейчас мелем! Мы сейчас очень хорошо идем!

— Максим Дормидонтыч! Мы уже целую неделю шлем вам твердый камень, а вы и не догадываетесь...

Управляющий ничего не ответил на это.

— Мы даем ему полежать. Полежит на поверхности месяца три и становится мягким — трескается весь. Это товарищ Шубина открыла...

Медведев ничего не сказал. Наступило долгое молчание. Потом управляющий спросил:

— Суртаиха, слушай-ка... Там Шубина не подошла?

— Вот она, около меня...

Федя почувствовал острый укол в груди и припал ниже к столу.

— Шубина слушает... — Он узнал голос Антонины Сергеевны, едва уловимый, как далекий огонек во мгле.

— Рапортую вам, товарищ Шубина! Слышите? Рапортую, рапортую! Ваш завод вчера выполнил дневную программу. Хорошая руда! А? Смена будет в апреле! В апреле, в апреле сменю!

Разговор Медведева с Суртаихой закончился. Один за другим стали вступать в трубку осторожные голоса поселка, и опять закипел, забродил разноцветный хор. А Федя сидел около своего нового телефона и, полузакрыв глаза, смотрел в одну точку. Медленно проходила колющая боль в груди. Он вдруг живо вспомнил, как Алябьев искал ее фотографию в пачке портретов— три раза перекладывал! «Ничего, — тут же утешил его бодрый и сильный голос. — Ни на кого она так не смотрела, как на тебя. Вспомни, как ласково темнели ее глаза, — это ведь только для тебя!» Федя стал вспоминать и ахнул: как побежала она тогда за чайником для Алябьева! Повисла в воздухе и стала таять, словно улетела к белым от лунного света баракам!.. «Ничего, — вмешался сильный и уверенный голос. — И ты побежал бы. И потом — он женат. А под руку она держала в тот вечер тебя! И когда придет твое время...» И Федя опять полетел в знакомые ему края, в будущее, — на этот раз он не смог совладать со своим воображением.

В конце марта начали приходить новости. Герасиму Минаевичу почтальон передал в руки толстый пакет. В нем было письмо и розовое, отпечатанное в типографии объявление. По этому случаю вечером дизелист принес в барак бутыль водки и устроил выпивку, во время которой письмо и объявление ходили по рукам. «Строительству требуются, — прочитал Федя мельком, — маркшейдеры, обогатители, минералоги, топографы, геофизики...»

Рабочие одобрительно молчали, курили, улыбаясь смотрели на Герасима Минаевича и с уважением передавали по цепи стопку с водкой; она, ни на минуту не останавливаясь, ходила среди них.

«Химики-аналитики, энергетики, теплотехники, механики, дизелисты...» — прочитал Федя, когда объявление, пройдя по кругу, попало к повару, сидевшему рядом с ним.

— Поезжай, поезжай, Минаич, — сказал Самобаев. — Нас, конечно, не забывай. Забыть нас ты не должен.

Герасим Минаевич сидел на топчане, подобрав босые ноги, и слушал.

— Масштаб, видали, какой? — Самобаев потянул объявление из рук повара и стал читать, подняв палец, выговаривая каждое слово с особенной значительностью: — «Инженеры и техники всех специальностей! Монтажники, бетонщики, такелажники...» Вона — плотники! Библиотекари — гляди-ка! Мужчины с неполным и полным образованием!

— Комбинат строить будут, — сказал Аркаша.

— Хватай повыше. На наш комбинат столько силы не набирали. Город — вот это скорее.

— Город само собой. Город при чем-то должен быть. Руду, должно, нашли.

— Я тоже так думаю, — сказал Герасим Минаевич. — Руда. А то и нефть. А сейчас там, видишь, пишет мне начальник, — тундра голая. Да лес. Да камни. Меня, видишь, в самую первую партию пошлет.

— По какой специальности берут? — спросил Аркаша.

— За Герасима не бойся, — громогласно сказал захмелевший Самобаев и положил руку механику на плечо. — Минаич найдет себе место, где он боле всего будет нужен. Он тебе и дом срубит, не хуже моего, и машину, какую хошь, на ноги поставит. Верно, Минаич? Им такие вездеходы в самый раз нужны. Как это назвал его Алексей Петрович? Землепроходец он!

С этого дня Герасим Минаевич начал не спеша собираться в дорогу. А Самобаев по вечерам стал

задерживаться на строительном дворе — он решил сделать Герасиму на память сундучок.

Однажды утром Федя вышел из барака и остановился, словно пораженный радостным известием. Непривычный свет, тысячи снежных улыбок ослепили его в первую минуту, и, придя в себя, он понял: ночью выпал снег, и вместе с ним пришла весна. В природе началась торопливая предпраздничная уборка. Грязное зимнее окно неба было уже выставлено, и спокойная, ласковая синь залила весь поселок. Федя посмотрел на солнце и целую минуту после этого стоял, улыбаясь, прикрыв глаза рукой. А когда отнял руку, опять засияли ему навстречу солнечные улыбки — на белых крышах, на сосульках, на отполированной полозьями дороге и на лицах девчат-бетонщиц, одетых в стеганые ватные штаны и телогрейки, бегущих на работу и по дороге играющих в снежки.

Феде захотелось, чтобы и в него бросили снежком, и тут же девчата на бегу расстреляли его четырьмя крепкими ядрами из снега.

— Моя симпатия! — крикнула одна из них, пробегая. — Теперь он про нас в газету напишет!

Около управления Феде попался навстречу Середа. Он улыбнулся, открыл было рот — сказать что-то, но в этот момент подкатил к крыльцу «газик» управляющего. Из машины вылез Медведев — в синем пальто с воротником из серого мраморного каракуля и в такой же мраморной каракулевой ушанке. Он не спеша поднялся на крыльцо, чуть слышно скрипя новыми фетровыми бурками, окантованными коричневой кожей. Пока шел от машины и поднимался по ступенькам, он все время смотрел на Федю, словно припоминал его лицо.

— Погодка, погодка, Максим Дормидонтыч! — Середа выступил вперед.

Управляющий ничего не сказал на это, даже не посмотрел в его сторону.

— Бурочки-то скоро снять придется, — сказал Середа с улыбкой.

Медведев опять посмотрел на Федю, повернулся и вошел в дверь.

И только теперь Федя увидел свежую газету на щите, прибитом к стене по ту сторону крыльца. Перед газетой толпились работники управления. Все читали одну заметку, водили по ней пальцами.

Сдержанными, широкими шагами Федор подошел, протолкался вперед и увидел заголовок: «В стороне от нужд рабочих», а под заметкой — свою фамилию: Ф. Гусаров. Заметка была длиннее той, которую писал он, длиннее за счет последних абзацев. Их приписали в редакции, должно быть для крепости. «Как могло случиться, — прочитал Федя,— что рабочие лучшего нашего предприятия, крупнейшей новостройки области, будущего промышленного гиганта, до сих пор не имеют библиотеки и клуба, вынуждены коротать долгие зимние вечера в общежитиях — без газеты, без книги? Из всего сказанного явствует, что руководители комбината проявляют редкостное равнодушие к насущным нуждам рабочих и ИТР».

Уши Федора начали краснеть. Никогда еще не разговаривал он таким тоном с начальством.

— Крепко! Смело! — громко сказал впереди Федора молодой человек, должно быть инженер, и, улыбаясь, отошел, уступив Федору свое место.

Федю прижали к газете, к его заметке. Он перевел дыхание и начал читать ее сначала.

Газукин прочитал в Фединой заметке свою фамилию, и это убедило его раз навсегда: он должен учиться. А если Газукин принимал какое-нибудь решение, то он сразу же с угрюмым видом начинал действовать. Днем, когда Федор стоял у своего станка, Васька потянул его за рубаху. У него был смиренный вид, он отвел глаза и упорно наклонил голову.

— Чего теперь будем делать?

Федор взглянул на Ваську и первый раз в жизни испытал чувство ответственности. На миг ему показалось, что несмелыми глазами Васьки взглянул на него весь поселок.

— Слышь, что говорю-то? — Газукин возвысил голос, опять взглянул на Федора и отвел глаза.

— Подождать надо...

— Чего нам ждать? Писал? Вот и давай. Зря, что ли, писал? Чего надо, говори?

Газукину нужно было дать дело. И Федя поручил ему составить список рабочих — всех, кто хочет учиться.

На следующий вечер Васька принес Федору чисто переписанный в тетрадку список. Перелистывая тетрадку, Федя сначала полюбовался женским почерком Васьки. Газукин ухитрялся завязывать бантик почти на каждой букве. Но старание Газукина сказалось не только в этом. Против каждой фамилии можно было найти полную анкету, включая даже семейное положение будущего ученика. А когда Федя перелистал весь список, он задумался над последней страницей: в списке значилось сто двадцать человек.

— А тут я записал, что говорят ребята, — сказал Газукин, передавая Феде записку.

И Федор прочитал: «Игнатов хочет в драмкружок. Леонов — баян. Кликуев и Барулин — у них есть ружья. Кружок охотников». Федор показал список Володе Цветкову. Как только Федор вошел в его комнату, Володя стал перекладывать листок бумаги на пустом столе, он словно стыдился Феди. А когда Цветков просмотрел список, он даже покраснел и несколько секунд сидел молча, опустив глаза. Впрочем, Федор не задумывался над этим.

— Вот видишь — список, — сказал он. — И, знаешь, я думаю, скоро можно будет организовать кружки...

— Ты не слышал ничего? — спросил Володя, глядя на стол.

— А что?

— Заметку твою обсуждали. У Медведева совещание было. — Он выжидающе посмотрел на Федора и поднял бровь. — Да-а...

Наступило молчание.

— Правильная заметка! — громко и неожиданно сказал Володя, выпрямился и посмотрел на Федора в упор. — Надо тебя, товарищ Гусаров, в комитет

избрать. Чтобы ты не лодырничал. — Он засмеялся. — Чтоб работал.

— Я и говорю: кружки вот...

— Не торопись. Послушай. Ты мне добейся сперва, чтоб к Маю постановку приготовили. Тогда уже принимайся за хор или еще за что-нибудь одно. А вообще, не торопись. Подожди немного — будут кое-какие решения, — сказал он таинственно.

Он действительно что-то знал: в первых числах апреля Федора вызвали в управление, и там Середа объявил ему, что он отныне будет « и. о. директора» комбинатского Дома культуры.

— На завод можешь не возвращаться, есть приказ, — сказал он.

«Легко, просто, — удивился Федя. — Откуда такая легкость?»

— Да-а, — сказал он, весело глядя в глаза Середе, и сел на новую табуретку посреди комнатки.

Середу это не смутило.

— Да-а, — сказал Федя, все шире улыбаясь. — «Все находится в развитии! Забегать нам никто не позволит!»

— Ну и что? — Середа посмотрел на него через очки усталыми, добрыми глазами. — Ну и что? Ну и ошибся. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ясно? Ничего страшного в том нету. Нужно только иметь смелость и признать...

— Да-а, — сказал Федя еще веселее. — Газеты-то, журналы придется в Дом культуры переадресовать?

— Глупости, чепуха какая! О чем говоришь! — сказал Середа сухо и нахмурился. — Конечно! А куда же? Они на то и выписаны.

Когда Федя уходил от него, Середа удивленно и недружелюбно блестел очками ему вслед. И сам Федя удивлялся: вот и нет с т е н ы! И Фаворов уже не смеется, а пристально оглядывает Федю, встречаясь с ним на улице.

«Что же я сделал? Что тут сложного?» — думал Федя и однажды задал этот вопрос Герасиму Минаевичу.

— Смелость — простая вещь, — сказал механик,

едко затягиваясь цыгаркой, задумчиво опуская голову в клубы дыма. — Простая вещь, но доступна не всем. Смелому это пустяки, то, что ты сделал. А трус удивляется. Побольше бы смелых людей. Да поменьше тех, кто только шопотом говорит. Вот бы некому было и удивляться на тебя. А то, что ты сказал «легко и просто», — это, милок, ты еще пересмотришь.

— Он прав, — сказал Самобаев, кивнув на механика. — Мы с тобой, Федя еще будем на этом топчане совет держать, как и что, голову твою обдумывать.

— Во-во-во! — запел Аркаша. — Это я и хотел сказать! Не пойму — это же все-таки орган, газета! Все время хвалили Медведева. Как это так вдруг: «редкостный равнодушный»? Смотри теперь вот... И чего тебе не хватало?

Чего не хватало Федору? Когда-то он завидовал инженеру Алябьеву, мечтал о том, чтобы получить хотя бы сотую долю той платы, которую получает Алексей Петрович от всех людей поселка за свою смелость и любовь к людям. Теперь Федя получил эту сотую долю — с него словно слезла серая шкура маленького, не нужного никому человека. Его радовало чувство ответственности, которое все чаще приходило к нему.

Но ему все время не хватало чего-то. Шла весна, все ниже садились и рушились темные караваи снега, длинные сосульки от крыш до земли сверкали по углам бараков. Вот их срубили, сбросили с крыш снег, и от черного толя пошел пар, над бараками заструился волнами теплый воздух, напоминая о чьих-то легких волосах. Однажды, поздно вечером, сквозь весенний близкий шум леса Федор услышал незнакомые звуки, словно ветер играл в горлышке бутылки. Нет, это дужки ведер слабо позванивали — кто-то вдали прошел к колодцу. И вдруг Федя понял — это гуси летели в темноте на север, несли на крыльях тепло и радость северянам. Вся темь, отовсюду, слала земле эти звуки. Федя чувствовал над собой в вышине огромные массы весеннего ветра. Ветер быстро гнал невидимые в тем-

ноте тучи, то открывая, то закрывая тревожно мигающую, отставшую от подруг звезду.

Все двигалось вперед, и с каждым днем росло в груди Федора голодное чувство — он ждал встречи с Антониной Сергеевной. Он был готов к этой встрече. Теперь ему незачем было прятаться, скрывать от нее что-нибудь. Он сам был готов вместе с нею посмеяться над тем неудачником с колючими глазами, который в ноябре ударился о столб, хотел своротить с места мастерскую!

Числа двенадцатого апреля к нему в красный уголок забежал Володя Цветков и передал сложенную вчетверо бумажку.

— Записка от девушки, — сказал он.

У Федора даже дыхание перехватило, когда он начал разворачивать эту бумажку. Вот что было в записке: «Завтра, 14 апреля, в 8 часов вечера, в красном уголке состоится общее собрание рабочих и ИТР карьера, дробильно-размольного завода и транспортной конторы, посвященное подведению итогов социалистического соревнования за I квартал».

— Это текст. Напиши, — сказал Володя, смеясь. Он видел, что шутка его попала в цель. — Напишешь и повесь.

Утром четырнадцатого апреля Федор надел свой как раз в меру поношенный костюм и неторопливо побрел по липким от грязи доскам в столовую. Он дал небольшой крюк и прошел мимо окна Антонины Сергеевны в бараке ИТР. Окно это было завешено изнутри белой занавеской. Он чувствовал, что Антонина Сергеевна приехала, но что делать?

Полдня Федор занимался Доской почета, которую Самобаев заново покрасил. Старые портреты Федя снял. Вместо них Середа принес новые. И на этот раз он взял из пачки фотографию Антонины Сергеевны, ту же самую. Но уже не отложил в сторону, нет. Он посмотрел в лицо ей, вздохнул: «Волевая девушка...» — и положил в пачку.

— Ее и Алябьева вверху сделай, рядышком. Это самые у нас передовики.

Днем Федя опять прошелся мимо барака ИТР,

Занавеска в окне Антонины Сергеевны была на месте. Федя замедлил шаг у этого окна, остановился. И вдруг занавеска решительно улетела в сторону, окно с треском распахнулось, и показался в нем, в майке и подтяжках, Фаворов. Посмотрел направо, налево и запел: «Три дня прошло, как Нина, как Нина, как Нина...»

— Привет! — он взглянул на Федора и равнодушно приложил руку к груди.

— Что я вижу! — игривым тоном сказал Федя и побледнел.

— Ага. Получил наконец площадь.

— А где хозяйка?

— Хозяйке Медведев комнату в новых домах дал.

У столовой Федор встретил длинноногого охотника в резиновых сапогах — старика Кликуева. Он только что пришел из леса и стоял на перекрестке, показывая всем убитого глухаря.

— Вот тебя-то мне и надо было! — обрадовался Кликуев и заговорил об организации охотничьего кружка.

У него было все готово — и список и план работы на год. Федя кивал, глядел то на глухаря, то вдаль, на леса, подернутые кое-где лиловым, а местами и зеленоватым туманом, и каждую секунду был готов к неожиданной встрече. Но опять встреча не произошла.

В половине восьмого он вместе с Середой и Цветковым расставил лавки в красном уголке. Барак стал быстро заполняться, появились рабочие карьера и дробилки, сзади, в углу, собрались в кружок инженеры. Федя чувствовал себя так, будто опаздывал на поезд. Но он никуда не опоздывал, был на месте. И все-таки торопился.

— Я сейчас, — сказал он Середе и выбежал на крыльцо.

Красное солнце садилось за взгорье, лежало в лужах, горело в окнах. Вечерний воздух был ясен, и Федя увидел: по тротуару очень далеко кто-то шел — знакомое зеленое пятнышко. Федя сразу принял спокойный, строгий вид. Антонина Сергеевна, быстро и

четко стуча каблучками, приближалась к нему. Она шла без пальто, в своем зеленовато-голубом свитере с бледными мухами на груди. Она спешила, волновалась. Вот достала из рукава платочек и снова спрятала подальше в рукав. Вот посмотрела на грудь, провела растопыренными пальцами по свитеру, смахнула пылинку, еще быстрее и четче застучала каблучками. Федя смотрел на нее и видел, что вместе с нею к нему приближается что-то чужое, пугающее. Он пристальнее всмотрелся и еще отчетливее почувствовал: чужое, чужое, непонятное!

Когда Антонина Сергеевна была от него шагах в тридцати, он все понял. Увидел ее увеличенные темные глаза, почувствовал их сухой жар, сразу же заметил заостренные выступы на чуть впалых меловых щеках. Она напудрилась, не щадя своей красоты. Для кого она так изуродовала себя?

— Здравствуйте, Федя, — сказала она, поднимаясь на крыльцо, окружая Федора сильным запахом фиалки.

Не пожалела и духов — ни в чем не знала меры, ей все было мало. Нет, не для себя она так долго трудилась перед зеркалом в своей новой комнате. Этот запах, как и белый слой пудры, как и сухой жар глаз, — все говорило Федору о чужом счастье, о той любви, что не боится ни дневного света, ни завистливого суда.

— Слышала про ваши подвиги, — сказала она, машинально доставая из кармана круглое зеркальце, бегло глядясь в него. — Вы умеете слово держать. — Спрятала зеркальце и взяла Федора под руку.

Они вошли в красный уголок, стали пробираться к лавкам. Антонина Сергеевна немного отставала, Федя все время чувствовал, что она, держа его под руку, оглядывается по сторонам, бросает острые взоры, ищет — он уже знал, кого.

— Пройдемте сюда, — предложил он. Ему выпала во всей этой истории самая трудная роль — роль преданного друга. И, собрав все свое мужество, Федор начал исполнять эту роль. — Вот сюда пройдемте. Здесь будет все видно. — И он предложил Антонине

Сергеевне край лавки. Отсюда она могла видеть и президиум и входную дверь.

— Вот хорошее место! — сказала она, усаживаясь, и оглянулась на дверь. — Что же вы молчите? Рассказывайте про себя. Никогда не думала, что у вас что-нибудь получится!

— А теперь верите? — любезно спросил Федя.

— Теперь — да, — она опять оглянулась.

— Я хочу... — начал он, безнадежно глядя ей в затылок, и перевел глаза на входную дверь. Там тесной толпой стояли рабочие. — Я хочу технической библиотекой заняться.

Антонина Сергеевна кивнула.

Впереди, на помосте за столом, уже сидел президиум, и Середа, стуча карандашом по графину, устало оглядывая собрание, возвышал голос:

— Товарищи, попрошу минутку спокойствия! Товарищ Алябьев! Еще раз прошу в президиум! Алябьев!

Услышав это слово, Антонина Сергеевна сжала платочек в руке и стала оглядываться.

— Алябьев! — закричали несколько человек.

— Алябьев у телефона сидит. Суртаиху ждет, — отозвались у дверей.

Доклада Федя не слышал. Не слышал он и ораторов. Он глядел по сторонам, разговор между ним и Антониной Сергеевной как-то сразу угас. Федор хотел было уйти, но тут же сказал себе: твердость! Надо вести себя так, как будто нет э т о г о.

Загремели лавки — собрание окончилось, и народ повалил к выходу. Взлетели радостные клики гармошки, в толпе раздался круг, и туда, на чистое место, вышел пьяный конюх-усач Леонов — специально для того, чтобы его при всех взяли под руки и увели два рослых сына, ударники.

— Я, пожалуй, пойду, — тихо сказала Антонина Сергеевна.

Час назад на ее маске из пудры сияла любовь. Сейчас так же отчетливо стала видна грусть. Федя даже не рискнул заговорить, и они долго в нерешительности стояли друг против друга.

И вот в одну секунду все переменилось. Антонина

Сергеевна сжала руку Федора — крепче, крепче! — и шагнула за его спину. Она увидела Алябьева. Алексей Петрович — высокий, худощавый — стоял в проходе с тетрадкой подмышкой, глубоко запустив руки в карманы, задумчиво собирал губы в рюмочку и остро-поглядывал по сторонам.

Антонина Сергеевна смотрела только на него. В глазах ее появился ласковый туман, как у близорукого человека, потерявшего очки. Вот он, настоящий взгляд любви! Федя ошибся тогда, в ее кабинете, думая, что на нем остановлен выбор. Просто у нее были глаза такие, как у десятиклассниц, — каждый, кто посмотрит в них, думает, что он любим. Федя взглянул на Антонину Сергеевну и отвернулся.

— Пойдемте, пойдемте скорей!

Она потащила его в сторонку, к стене, и там, весело вздрагивая, опять спряталась за его спиной. Алексей Петрович медленно прошел мимо них с суровым лицом, оглядывая весь зал.

А в зал уже вступило мерное шарканье вальса — начались танцы. Алексей Петрович остановился на том конце зала. Он искал ее.

— Антонина Сергеевна, — сказал Федор, стараясь не замечать этой игры в прятки, — как же с «Недорослем»?

— А? — переспросила она.

— С «Недорослем» что будем делать?

— Очень просто... — Она потянулась из-за Феди, следя за Алябьевым. — Я выучила роль. Я готова.

Федор отвернулся. «Надо уйти. Я не смогу здесь стоять, — подумал он. — Нет, не уйду. Буду твердо стоять до конца, как будто ничего нет».

— Что вы гримасничаете? — спросила весело Антонина Сергеевна и, не дожидаясь ответа, потащила его на новое место. — Вот здесь давайте постоим.

Они перешли поближе к Алябьеву.

— Знаете что, — сказала вдруг Антонина Сергеевна, — давайте потанцуем!

Она положила надушенную руку ему на плечо, Федя со страхом коснулся ее спины, и она с гибкостью стальной ленты подалась к нему.

— По кругу, по кругу! — шепнула Антонина Сергеевна.

И когда, сделав два круга, они вылетели к задумчивому Алябьеву, Антонина Сергеевна негромко окликнула его:

— Алексей Петрович! Здравствуйте!

Инженер вспыхнул, но сразу же взял себя в руки, коротко поклонился ей и стал пробираться к выходу— должно быть, вспомнил, что он должен разговаривать с Суртаихой.

— Ох, Алябьев, Алябьев! — закричал Фаворов. Он стоял тут же и грозил пальцем Алексею Петровичу.— Вижу, все вижу!

— Давайте быстрей кружиться! — Антонина Сергеевна задела Федора горящим от радости взглядом. Виски ее порозовели. Хитрость ей удалась — она заглянула в самую душу Алябьева и нашла в ней, что искала.

— Давайте я вас возьму! — И она стала кружить Федю все быстрее, быстрее...

— А я узнал, почему вы так кружитесь! — крикнул он весело, как старый друг и хранитель секретов.

— Как же не узнать!

— Вы счастливы?

— Я? Конечно!

— Смотрите! Он женат!

Она замедлила круги.

— Больше всего имеет право на существование правда.

«Ты с ума сошла!» — хотел крикнуть Федя, но не произнес ни слова, сделал вид, что думает над ее словами.

Они остановились.

— Приехали! — сказала Антонина Сергеевна. — Теперь вы танцуйте, а я пойду. До свидания!

Вот и все. Федя подождал немного, чтобы не помешать Антонине Сергеевне, чтобы она могла спокойно уйти со своей радостью. Потом протолкался к дверям и вышел на улицу. Сырая темная ночь, полная весеннего шума, встретила его и укрыла от постороннего веселья. Он пошел напрямик, ступая по

мокрой упругой щепе. Вокруг него сомкнулось кольцо далеких огней, а впереди и под ним была глухая темнота.

Вот и все. Федя развел в темноте руками. «Старался, летел, мечтал — для чего? Кто она? Ничего особенного!»

«Ах, замолчи, замолчи! — тут же сказала в Феде совесть. — Она лучше всех! Чудак, это же чепуха перед нею — все твои старания, как бы ты ни старался! Алябьев — тот даже и пальцем не шевельнул! И не так уж он молод...»

С ходу Федя больно ударился ногой о невидимую преграду, упал вперед на толстые бревна. «Так жизнь бьет мечтателей, — подумал он. — То плечом ударюсь, то ногой». И со злой улыбкой повторил слова повара: «Каша подгорит, если будешь мечтать!»

Он сел на бревно и стал тереть ногу выше колена: какой чорт навалил здесь бревен! Закрыл глаза и сразу услышал, как шумит, летит над ним весна. Сырой ветер ураганными рывками проносился над бараками, замирал на минутку, и потом опять в тишине начинали петь все щели и пазы, летели холодные брызги, и опять сотней бегущих ног наваливался на крыши ураган.

Утром сквозь сон Федя услышал негромкий и приятный хор женских голосов. Открыв глаза, он увидел бегающие солнечные зайчики на стенах и босых уборщиц, которые, стоя на подоконниках, протирали сверкающие открытые окна. Женщины пели о любви, не глядя друг на дружку, замедлив движения: «Не целуй ты мою душу, душу не губи, а другую, городскую, лучше полюби...»

Он вышел на улицу и тут же увидел Антонину Сергеевну: она спускалась по крутой тропе от новых домов. На перекрестке они должны были встретиться, а дальше ждал их один общий дощатый путь.

Федя остановился, чтобы не встретиться, пропустить ее. Но знакомый сильный голос сказал ему: «Слабость!» И он зашагал к перекрестку. Антонина Сергеевна уже увидела его и ускорила шаг. Ветер трепал ее мужской плащ. Взглянув ей в лицо, Федор

сразу понял: между ними установилось то, что называется «короткие отношения» — доверенность, на которую Федя, как преданный друг, имел неоспоримое право после вчерашнего вальса.

— Доброе утро, Антонина Сергеевна!

— Здравствуйте! — Рука ее заползла под его локоть. — Зовите меня просто Тоней. Долго вчера танцевали? Нам по пути?

— Нет, мне вот... — Он показал на груду бревен посреди пустыря, — мне туда.

Приветливо поднял руку и, легко соскочив с тротуара, зашагал прочь по темной сырой щепе к бревнам. Там стоял грузовик, и рабочие складывали около бревен новенькие кирпичи. А в стороне из-под земли вылетали пригоршни ржавого сырого песку и ложились все в одно место. Здесь землекопы начали рыть траншею, должно быть для фундамента.

— Товарищ завклубом! — издалека громко окликнул Федю Степчиков. Он шел по дальней тропе, сутулый, головой вперед. — Завтра прогоняем всю пьесу! Одним куском!

— Да, да! Хорошо! — отозвался Федя, ускоряя шаг.

— С Софьей будем! Софья приехала!

Утренний свет был ярок — никуда не скрыться! Федор огляделся: да, ему предстоял нелегкий день! Другое дело ночь — ночью человек один, даже себя не может увидеть. Но что же сделать? Если уехать? Уехать, уехать надо куда-нибудь совсем! На новом месте никто не будет знать. Он будет там среди дня скрыт лучше, чем здесь среди ночи, будет потихоньку отходить, отходить и, может быть, забудет всю эту историю...

Не успел Федя подойти к бревнам, как увидел Самобаева. Плотник легонько тюкал топором по бревнам, осматривал их со всех сторон. Заметив Федора, он подошел к нему, достал из-за уха цыгарку и уселся на свежий сосновый ствол, покрытый словно бы луковой шелухой.

— Садись рядом. Посиди. Что это с тобой? — Он лизнул было цыгарку и подозрительно посмотрел на Федю. — Сегодня ты ни о чем не должен думать.

Сегодня ты герой. Именинник! Нет здесь человека счастливее тебя!

«О чем это он?» — с досадой подумал Федя и поморщился.

— Хорошо! Весна! — Самобаев закурил и вытянул ноги, отдыхая в клубах едкого махорочного дыма. — Знаешь, на чем сидишь, чудо? Что это за лес? Что за кирпичи? Чего это тут роют? Знаешь? Нет? Твой Дом культуры будет!

Федор сразу же встал. Устремил на Самобаева черные глаза.

— Не веришь? Ей-богу! Осенью принимать будешь. Я и сам не верил. А тут вызывают, дают наряд... Да спроси вон у прораба, он в управлении сейчас. Он тебе и планы покажет.

Федя быстро, все быстрее зашагал к управлению. Самобаев что-то крикнул ему вдогонку — фамилию прораба, но Федор уже не слышал. Он побежал по брызгающей щепе, по островкам грязи, прыгая через овражки, промытые талой водой. Все мечты Федора соединились вместе и понесли его, он опять летел, но теперь полет был настоящим, и Федя знал, что этому чувству уже не будет конца.

«Не может быть! Не может быть!» — глубоко ударяло в нем сердце. Он вспрыгнул на тротуар, и доски загрохотали под ним. Чей-то мужской плащ мелькнул мимо него. «Куда?» — окликнул его голос Антонины Сергеевны.

Он взбежал по крыльцу, остановился на миг в коридоре, открыл дверь с надписью «Отдел капитального строительства». Пятнадцать или двадцать голов поднялись от чертежных досок, от белых, синих и розовых листов бумаги, поднялись и опять склонились.

— Прораб... — сказал он, переводя дыхание. — Товарищи, простите... забыл фамилию... Который будто бы строит...

— Что строит? — спросили несколько веселых молодых голосов. — Ах, Дом культуры? Давно бы так сказал! Прораб ушел. А вам что?

— Это тот самый товарищ. С механического... — осторожно сказал кто-то в глубине комнаты.

И опять поднялись все головы. Загремели стулья. Кто-то пробежал позади столов. «Вам проект? Идите сюда, молодой человек!» Федя сделал несколько шагов. Молодые и пожилые лица с любопытством смотрели на него из-за столов. «Вот», — услышал он, и перед ним, гулко стуча, развернулся лист ватмана. Федя увидел желтоватое бревенчатое здание в два этажа, с крыльями и подъездом, похожим на ту Доску почета, что сделал Самобаев. «Пора. В долгом ящике уже лежал», — услышал Федя. Он только шевельнул пальцами, и его сразу поняли. «Вот план», — и он увидел на новом листе зал со сценой и комнаты вокруг него. Федя тут же разместил в них библиотеку, кружок рисования, певцов, охотников, изобретателей...

Он очнулся, почувствовав любопытные взгляды, направленные на него со всех сторон. Все головы сейчас же опустились к чертежам. Он обернулся, на миг поймал несколько взглядов, но только на миг.

А когда он вышел и закрыл за собой дверь, отдел зашумел, как девятый класс «А», в котором когда-то учился Федя..

Герасим Минаевич собирался в путь. Самобаев уже склеил для него сундучок, выкрасил охрой и поставил сушиться на лавке около окна. К этому сундучку слесари из автобазы сделали замок с секретом, открывающийся без ключа: чтобы открыть его, Герасим Минаевич должен был вспомнить имена трех слесарей и набрать их на подвижных кольцах замка.

Один раз Федя встретил Герасима Минаевича в аккумуляторной. Минаич сидел на черном от окислов столе, свесив ноги, — прощался с электриками. Видел его Федя в карьере у экскаваторщиков и в гараже. А двадцать восьмого апреля, когда дизелист получил расчет, Федор встретил его в столовой. Раздвинув целую батарею пивных кружек, разводя руками, Герасим Минаевич зычным голосом рассказывал внимательным друзьям о своих планах.

— Праздник здесь проведу, — говорил он. Заме-

тил Федю и слегка поклонился ему. — Хочу спектакль посмотреть. Его работу хочу видеть! — Он показал на Федора и погрозил ему. — Федя! Ты не зазнавайся, смотри. Вышел на дорогу и иди. Так держать! Только, ради бога, не зазнавайся. Помни, что старик Герасим говорил: т о с а м о е еще впереди.

Все эти дни у Федора были заполнены самыми интересными делами: он строил планы. В красном уголке около него в любой час дня сидели два или три мечтателя. Советников у Федора было теперь очень много, и папка, где он копил все их предложения, за две недели истрепалась и распухла. В ней уже лежал список технической литературы, составленный тем инженером, у которого был голос студента. Кроме того, в папке были две тетради с надписями «Лекторы» и «Хор», тщательно разработанные планы физкультурных мероприятий и шахматных турниров, план конкурса художников, список охотников, имеющих ружья... Каждый день Федя добавлял к этим планам и спискам что нибудь новое.

На стене красного уголка около крыльца уже несколько дней висела огромная афиша, извещая всех о том, что тридцатого апреля в красном уголке состоится первомайский вечер с программой: 1. Торжественная часть. 2. Спектакль «Недоросль», поставленный силами драматического коллектива.

В день спектакля с утра Федя подстригся, надел свой костюм и до вечера ходил по красному уголку, помогая бледному Степчикову в его хлопотах. Всех, кто был занят в спектакле, Медведев освободил от работы. Артисты повторяли роли. Портнихи из мастерской орса отглаживали кафтаны и платья старинного покроя, сшитые специально для спектакля по распоряжению управляющего. Монтеры проводили свет к рампе. Плотники стучали молотками на новой сцене и за кулисами.

И вот все готово. Взглянув на часы, Степчиков вытаскивает стул из дверной ручки у входа. За дверями — давка. Вот уже зал переполнен, народ сидит на подоконниках, стоит в дверях... Вот и доклад уже окончен, и сцену задернули новым коричневым занавесом.

Народу стало еще больше — приехали гости из Суртаихи...

Феде очень хотелось выйти к рампе из складок занавеса и, сложив руки сзади, сказать краткую речь. Но Степчиков, еще больше побледнев, посмотрел на него — и Федя обнял старика: «Андрей Романович! Скажите несколько слов перед началом...» Он убежал со сцены, протиснулся к окну, чтобы не пропустить самую торжественную минуту. И там, сжатый зрителями, в тесноте, он понял, что отныне и навсегда его место будет не на виду, не там, где шумит слава, а в тени, в самой ее глубине, откуда все виднее. С мгновенной ясностью он увидел и оценил все выгоды этого положения. Уйдя в тень, он мог отдаваться своим радостям, не боясь того, что это кому-нибудь покажется нескромным. И сейчас, стоя у окна, он радовался: зал переполнен, дальше некуда! Все смотрят на сцену. Ну, Андрей Романыч, не подкачай!..

Шевельнулись складки занавеса. Вышел Андрей Романович в новом черном костюме, бритый и мертвенно-спокойный. «Молодец!» — подумал Федя. Спрятав дрожащие пальцы за спину, Степчиков заговорил о том, что искусство принадлежит народу, что народные массы всегда были неиссякаемым источником талантов.

— Примером чего, — сказал он, комкая за спиной занавес, — может служить наш молодой драматический коллектив, который будет расти вместе с комбинатом и, я уверен в этом, товарищи, когда-нибудь станет основой настоящего театра. Первую постановку этого коллектива мы и предлагаем сегодня вашему вниманию.

Он исчез в темных складках, занавес, визжа по проволоке, раскрылся, и по залу пошел одобрительный ропот — на сцене, опустив руки, стоял длинный Митрофан. Госпожа Простакова, в которой все сразу узнали Уляшу, рыскала, рассматривая на нем новый кафтан, подметая сцену подолом невиданного темнозеленого платья. Она всплескивала руками, постепенно приходя в ярость.

Раздался страшный шопот суфлера. Вошел

Тришка. Прибежал Простаков. Действие началось. Через минуту суфлера уже не было слышно — все смотрели только на Простакову, изумленно притихли. Плечистая, веселая Уляша, которая смаху рассекает буханку хлеба и так громко бросает гири на весы, — неужели это она?

И когда занавес соединился, могучая буря заходила в зале. В дальних рядах крикнули: «Уляша!» — и загудел, мерно заколебался пол, словно в красный уголок вошла дивизия и остановилась, шагая на месте. Рабочие, не жалея ног, топали, требовали ее — новую героиню рудника.

Степчиков объявил антракт. За занавесом застучали молотки. Народ повалил к выходу — покурить, и Федя неподалеку увидел Газукина, одиноко сидящего на подоконнике. Васька был в новом черном пиджаке и в бело-розовой рубашке с расстегнутым воротником, на которой было нашито по крайней мере два десятка пуговок. Перед ним текла толпа, а он не отрываясь смотрел на сцену, на занавес с колеблющимися складками.

Федя подошел к нему.

— Ну как?

Васька не ответил. В глазах у него горела тоска. Он пристально и горячо посмотрел на Федора, испытывая его: говорить или не говорить?

— Знаешь, что она мне сегодня сказала? — шепнул он вдруг. — Говорит: «Коротка же у тебя память! Сам наколол: «Век не забуду», а через годок сам же паяльником выжег! Этак ты, говорит, и меня забудешь...»

— Ну, а еще?

— Больше ничего. Повернулась и ушла. Федя, знаешь, что я решил?

— Не знаю. — Федя улыбнулся.

— Ты не смейся, я серьезно... — И, побагровев, Газукин зашептал ему через плечо: — У меня книжка есть... Скоростником стану. Посмотришь! Каких еще здесь не было... Больше всех — на пятьсот процентов! А?

— А сможешь?

— Смогу! Я что хошь смогу!

— Ничего не выйдет.

— Выйдет!

— Я не о том. У тебя, я знаю, выйдет. Только здесь все видно насквозь. Она поймет, что приманиваешь...

— А что видно?

— Помнишь, я тебе говорил про монету, а ты еще спорил?..

— Это мне ясно, — прервал его Васька с запальчивым видом. — Дальше, дальше! Ты говорил, другой интерес...

— Потом ты хотел отомстить Петуху...

— Это забудь.

— Забыть можно. А было видно насквозь. Ну, а теперь что? Чтоб говорили: мол, Газукин лучше всех? И ты сам чтоб говорил: все пешки, а я благородный конь, мне давай овес?..

— Замолчи! — Газукин даже задохнулся. — Вот двину сейчас!.. Я не для славы! Ты же знаешь! Зачем заставляешь говорить? Ты же знаешь, я как на нее посмотрю... Федька! Ты что, не понимаешь?

— Делай, что хочешь, Вася. Я все понимаю. — Федор вздохнул и взглянул на занавес. Он сам недавно не знал, что делать, готов был вот так же... И он продолжал, отвечая своим мыслям: — Я все понимаю, Вася. Только знай: станешь настоящим человеком — и она будет твоя. И пятисот процентов не надо будет! А сейчас у тебя это вроде как красивые перья у селезня: весна пройдет — снова станешь серой уточкой, как был.

— Ничего подобного! Я всегда...

— А почему ты полгода назад про пятьсот процентов не говорил, а больше все про рублевку? Думаешь, она этого не понимает?

Газукин ничего не ответил, напыжился и замолчал.

— Вася, — осторожно сказал Федор через минуту, — кого ты знаешь из знаменитых людей?

Газукин гордо поднял голову.

— Галилео Галилей!

И тут же больно толкнул Федора: неподалеку стоял бочком к ним Самобаев и прислушивался.

— Галилей, говоришь? Ну, ну!.. — Плотник подошел и стал усаживаться на подоконнике. — Давай, давай, врите. Люблю, когда интересно врут. Чего замолчали?

— Галилей... — Федор взглядом успокоил Газукина: не выдам. — Если ты помнишь, Вася, учение Галилея не нравилось попам. Читал, как попы сожгли Джордано Бруно? Вот как стоял тогда вопрос. Смертью грозили человеку, а он стоял на своем. Так что же, ты думаешь, пришла бы какая-нибудь красавица: «Отрекись — буду твоя» — что же, по-твоему, он отказался бы от своего учения? Отказался бы ради любви? — Федя с особенным удовольствием мстил сегодня любви. — Никогда! Потому что такой человек уже не принадлежит себе. Он принадлежит весь делу. А дело — народу.

— Ну, это Джордано... А ты мне пример, пример дай.

— Можно дать и пример, — негромко заговорил вдруг Самобаев, опуская голову к коленям. — Прежде всего должен сказать вам, ребята: оба вы молодые, и рано вам еще знать, что такое любовь. Любовь — это великое дело. Она больших людей с пути сворачивала. Это самая тонкая проба для молодого человека. Тоньше нет...

Чувствуя, что сейчас начнется интересный самобаевский разговор, Федя тоже полез на подоконник, заерзал, усаживаясь.

— Примеров у меня хватит, — сказал Самобаев. — Нужно только, чтоб вы поняли. Чтоб зря этим словом не кидались. Вот свадьбы наши — думаете, все они по любви? Сама любовь-то проходит иногда стороной. Или придет, а ты уже связан. Потому и поем все про разлуку. Одними глазами вся она пройдет — здравствуй, милый, и прощай! А помнишь до сей поры! Старик, а иной раз вспомянешь. Вон что... Она одна-то одна, да не всегда во-время приходит!

Наступило молчание.

— А когда придет — не всегда ей запретишь.

Можно поймать песок из воды. Микроб вон ученые ловят. Закон может запретить все, что ни есть, все, кроме чувства.

— Какой закон... — задумчиво сказал Васька.

— Какой ни на есть! Свяжет он меня по рукам и по ногам, а мы с нею глазами поцеловались — и рады. Да-а! Но все-таки Федя прав. Вот тебе, Вася, пример. Из жизни, из нашинской, здесь, рядом с нами.

И почему-то у Федора сразу закололо в груди, хотя Самобаев еще не сказал, медлил, вздыхал, наклонив голову к коленям.

— Передавать негоже сплетню, — издалека начал Самобаев. — Однако, коли она пущена, гуляет, надо передать ее — только с правильной оценкой... Да я и не боюсь... Потому что чистого человека не замараешь... Словом, болтал дурачок один, будто наш инженер, Алексей Петрович, симпатию имеет. Между прочим, к Антонине Сергеевне из дробилки — к Софье. «Ври больше, не верю в такие глупости!» — говорю ему. А потом примечать стал и вижу — правда. Давно это у них тянется, с год, и больше — с ее стороны. А может, с его стороны и поболе будет, да он виду не кажет. Человек он женатый, а у нас всегда найдется судья на чужую беду. Особенно на Алябьева. Кругом — глаза! Он это понимает. И потому, значит, здравствуй, товарищ Шубина, да до свиданья. И все. Правда, на Суртаихе это он ей помогал наладить дела.

Зрители постепенно заполняли зал — антракт кончился. Несколько человек стали около Самобаева, он придвинулся к Газукину и заговорил глуше.

— Вот она, история какая!.. Я думаю: чего бы ему, если так пошло? Очертя голову схватил ее в охапку, да и бросился бы чорт знает куда, на край света! Ведь о н а-то у нас одна! Нет, нельзя. Другой человек, полегче, тот, может, и бросился бы. А наш — нет. И не потому, заметь, что там где-то человек невинно будет страдать — жена. Это вопрос совести, мы не о том сейчас говорим. У Алябьева причина посильнее будет. У него здесь главное дело жизни. Он все здесь положил и отсюда не уйдет. Это ты верно, Федя, сказал:

он не принадлежит себе. Вот видишь, какое противоречие?.. А будь он не такой, тянулся бы он к белому хлебу с маслом — разве она на него посмотрела бы? Что он, красавец? Вон Фаворов — картина, а не человек!

— А чего ж он? — не удержался Газукин. — Что же он?

— Я понимаю тебя, — ласково сказал Самобаев.— Нет, Вася, у Алябьева задору поболе твоего будет. Нельзя. На большой задор большая узда. Это, брат, все высокая материя. Тебе нужно дойти еще до нее...

— Чего же мне-то делать? — спросил Васька, усмехнулся и с тревогой посмотрел на Федю. Он тут же спохватился: ведь Самобаев ничего не знал о его делах!

— Прими к руководству, — сказал плотник. — Я давно тебе говорю: хочешь что-нибудь сделать хорошее — о себе не думай ни в каком виде...

— О деле, значит, думать? Ладно, хорошо. Учителя собрались! А у самих вас, у тебя, дядя Сысой, есть такое дело?

— Что-то похожее имеется. Оно у многих есть. Вон наш Герасим — образования не имеет, а дело себе нашел!

— А у тебя? — Газукин крепко взял Федора за плечо.

Федя даже испугался. Вот он, прямой вопрос. Есть ли у него такое дело? Или он попрежнему человек без места?

И, словно для того, чтобы скрыть его раздумье, в зале погас свет. Завизжали кольца занавеса — началось второе действие. Федя так и не нашел ответа на вопрос Газукина. А между тем сама жизнь приготовила уже для него этот ответ.

Поздно ночью, когда отшумели аплодисменты и ушли все поздравители, около сцены собрался кружок: рослый, выше всех на голову, управляющий комбинатом Медведев, председатель постройкома Середа — в пиджаке и глухо застегнутой черной косоворотке, Володя Цветков и артисты в париках и гриме. Подошел и Федя, настороженно улыбаясь, зная, что сейчас начнутся похвалы.

— Маловато помещение, — сказал управляющий, широко расставив ноги, оглядывая зал. — Пора, пора вам перебираться. Дворец скоро построим тебе, Уляша. Не смейся — средств не пожалеем. Лекции будут, доклады, спортом заниматься будешь — всем, чем полагается в приличном клубе. Завклуба вот у нас нет...

Последние слова были сказаны артистам, но Федор при этом жалко улыбнулся — жалко и криво. Управляющий словно ждал этой улыбки.

— Ничего, подержись, токарь! — бодро сказал он и обнял Федю одной рукой, больно похлопал по боку. — Я понимаю тебя, родной! Мы с тобой рабочие, нам бы с машинами возиться, землю копать. Подержись еще маленько! Будет и зав. Обещали прислать. Гусаров у нас еще молодец, расшевелил нам народ, — забасил он бодро. — Ить ты, живец какой! — Он опять больно хлопнул Федю по боку. — Такое, брат, время — приходится иногда и не за свое дело браться. Это тебе не стружку снимать! — И, гулко хохоча, он отпустил Федора.

За его спиной Федя вопрошающе взглянул на Середу, и тот развел руками: ничего не поделаешь.

— Как же так? — спросил Федя шопотом.

— Он сам запросил, — шепнул Середа. — А потом у тебя ведь образование маловато. — И сразу отошел, пряча глаза.

Степчиков вдруг задвигал седыми бровями, задергал лицом, словно собираясь чихнуть.

— Позвольте... Ведь у нас есть... — глядя в пол, начал он, и Середа сейчас же взял его под руку и отвел в сторону, что-то ему шепча.

Когда все ушли, Федя запер красный уголок, сошел с крыльца на доски тротуара, и тут же из темноты вышел Газукин и молча остановился около него. Должно быть, он видел и слышал все, прячась в полумраке за дверью. Он все понял — стоял около Федора и мигал, и дальний одинокий огонек отражался в его мрачном глазу.

Они постояли молча, и Федя двинулся вперед, побрел по сырой пружинистой щепе через пустырь, охваченный кольцом далеких огней. И, как эхо, зашур-

шали сзади него шаги Газукина. Целую минуту или две шли они оба в молчании, пока не выросли перед ними в темноте еще более темные угловатые массивы. Это был фундамент Дома культуры, выведенный над землей уже больше чем на метр. Федя налег на пахнущую цементом сырую кирпичную кладку.

— Да-а, — сказал он, качая головой. — Вот и все. Теперь действительно все.

Опять наступило молчание. Ах, как горько было Федору опираться на этот сырой, быстро и верно растущий фундамент!

— Ха-ха-ха! — громко, на весь пустырь, засмеялся Федя. — Я, по существу, уже не нужен здесь! Мое дело сделано, новый завклуб получит все готовое! А я поеду на новое место и вот так же начну! Завтра же подаю заявление!

Газукин кашлянул.

— Газукин, родной, ты, конечно, не должен будешь пострадать. Я тебе все распишу, как и что делать. Все будет в порядке. Будешь учиться...

Газукин молчал, а Федя продолжал разглагольствовать. Конечно, он нужен был именно здесь, а говорил все это, неизвестно для чего.

«Не уйду! И не пущу никого! — вдруг подумал он с яростью и залился слезами. — Я не смогу! Разве он, новый, пусть пять раз образованный, разве будет он все знать, как я? Будет он так знать людей? Разве я не смогу получить образование?»

Достав платок, Федя громко высморкался, и Газукин совсем притих.

— Пойдем, Вася, — сказал Федор с дрожащим вздохом. — Да. Надо уезжать. С Герасимом поеду, на новое место.

В бараке Федора встретил Самобаев. Заглянув ему в лицо, плотник поймал за локоть Газукина, и Васька вырвался. Федор лег на свою постель, Газукин сел ему на ноги. Сюда же босиком перебежал Самобаев. Заскрипел топчан дизелиста, Герасим Минаевич поднялся, и они загудели вполголоса, все трое, поглядывая на Федора.

— Вот видишь, Федя, оказывается, можно проще

дела решать, — сказал ласково Самобаев и усмехнулся. — Не надо и на костер — зачем спички тратить, человека жизни лишать? Очень просто — отказать и все! И ходи, живи, размножайся! А то вон куда хватил — Галилео! Жордано!

— Сдаваться нельзя, Федя, — сказал Герасим Минаевич.

— А ему никто сдаваться и не предлагает! — возразил Самобаев. — Что же он, себя начнет хвалить? В газету напишет — мол, меня, Гусарова, не хотят в должности повышать? Променяли, мол, на образованного! Тут, братцы, тонкий расчет. И придумать ничего нельзя...

Солнечное утро оживило весь барак. С улицы доносилась музыка. Рабочие доставали из чемоданов чистые рубахи. Принарядившись, они вылезали наружу прямо через открытые настежь окна и расходились к двум толпам: к бараку ИТР, где Алексей Петрович выставил на окне свой радиоприемник, здесь слушали трансляцию первомайского парада из Москвы, или же ко второй толпе, к третьему бараку, откуда доносились переборы гармошки. Здесь, на утрамбованной площадке, уже второй час непрерывно шла пляска.

Федя тоже вылез из окна и увидел Герасима Минаевича, который сидел на завалинке, разложив рядом с собой шильце, щетинку, молоток, пучок дратвы, и прошивал подошву на сапоге. Он готовился к отъезду. Федя сел около него, вспомнил вчерашнюю историю и опять остро почувствовал всю безвыходность своего положения. Никто не бранил его и не стыдил вчера, никто не отнимал у него права быть тем, кем он был. Его даже похвалили — для рабочего с девятью классами образования он хорошо справился со своим временным делом, расшевелил народ. Но в этой временной обстановке у него, как на молодом дереве, неожиданно развернулся первый яркий лист. И этот лист вчера остригли — незачем ему расти.

«Кто поймет это? — подумал Федя. — Никто не поймет. Один-два человека! А для остальных останется законом слово Медведева. Он всегда прав. Прав и на

этот раз — для нового Дома культуры нужен квалифицированный директор! Не ставить же, в самом деле, директором человека, имеющего едва-едва девять классов!»

Да, Медведев хорошо знал людей, видел их насквозь, мог даже угадать, чего тебе захочется завтра. Он еще тогда, стоя на крыльце, увидел Федора всего насквозь. Только взглянул — и вот оно, самое живое место человека, оно на виду. Маленькая помеха — и он устранил ее с улыбкой, одним добродушным словом, чуть заметным движением руки.

— Герасим Минаевич, — сказал Федя, — когда едете?

— Еду? Послезавтра, должно...

— А куда?

— Чтоб не соврать тебе, скажу: не знаю. Это дело десятое — в области скажут.

— Герасим Минаевич...

Механик раздернул на две стороны дратву и остановился.

— Ты чего?

— Возьмите меня с собой.

— Надо было раньше говорить. Сундучок маловат. Поболе Сысою бы заказал. Что это ты собрался?

— Я все равно уеду. Вот, думаю, Герасим Минаевич едет...

— Герасим Минаевич тебе не попутчик. Герасим Минаевич ищет такие места, где еще нет электричества. Где еще горн ногой раздувать надо. Где нет телефона, чтоб вызвать инженеров со слесарями, скажем, на аварию. На век Герасима Минаевича работы хватит. Мне осталось всего немного — шестой десяток живу. А тебе повторять это нельзя. Останешься ни при чем, Федя. Твое самое место здесь, если хочешь знать. Больше нигде.

Федя и сам знал об этом и потому умолк. Поднялся и побрел в барак. Герасим Минаевич медленно повернул голову и долго смотрел ему вслед.

«Все равно куда. Уеду, — подумал Федор, проходя полупустым бараком к своему топчану. — Куда угодно. Не могу!»

Он выдвинул чемодан из-под топчана, достал тетрадку и пузырек с чернилами и, сев около тумбочки, начал писать:

«Управляющему Фосфоритным комбинатом тов. Медведеву М. Д. от и. о. директора Дома культуры...» Написав: «Прошу освободить...», он задумался, и в эту минуту к нему подошел Газукин.

— Дай листочек, — попросил он и потянулся через Федино плечо, читая его заявление. — Пишешь?

Получив два листа бумаги, он ушел к своей тумбочке, сбросил пиджак, криво уселся и томительно заскрипел пером.

Через несколько минут с улицы пришел запыхавшийся, веселый Самобаев. Он остановился посреди барака, оглядываясь то на Ваську, то на Федора.

— Мать моя! Грамотеев развелось в праздник! Ну-ка, Вася, дай, ошибки проверю. Если не секрет...

Он замычал, бегло читая Васькино писанье. Умолк. Опять замычал.

— Ошибку снова посадил, не можешь: «прибягаю»! Яга, право, Яга! — Он опять умолк. — Да-а, — протянул он через некоторое время. — На этот раз дельная бумага. Под этим и я мог бы подписаться. Только ты исправь, исправь...

— Когда отнесть? — спросил Васька. — После праздников?

— Хорошее дело никогда не откладывай — вот тебе закон. Неси сегодня.

Федор тоже решил поступить по этому закону. Склеил конверт, вложил туда заявление и днем по дороге в столовую занес конверт дежурному по управлению.

Весь следующий день и вечер он прощался с комбинатом. То и дело останавливаясь, ходил по поселку. В раздумье постоял около молчаливого дробильно-размольного завода и в лесном островке среди гудящих по-весеннему сосновых стволов. Затем Федя прошел к механическому заводу, позади которого за последние месяцы вырос новый корпус. Федя уже видел его на картине у Медведева. Рядом с новым корпусом

были установлены на фундаментах два огромных гулких железных котла — такие же, как на картине.

Оттуда Федор по лесной дороге прошел на карьер. Все экскаваторы стояли по случаю праздника, ковши их тяжело легли на груды желтого камня, выставив вверх начищенные железные зубья. Влажный майский ветер нес непонятную тревогу, он тормошил Федора: «Проснись, проснись!» — и Федя никак не мог очнуться от своего прощального сна.

Кратчайшим путем — через зеленый пихтовник — он пробрался к новому поселку, к улице из одинаковых двухэтажных домов с затейливыми крышами. Восемь или девять домов были уже готовы, около них играли дети. Федя очень быстро, с опаской прошел по этой улице, устланной щепками, но и здесь успел сказать свое «прощай». Опасался он встречи с Антониной Сергеевной — он не хотел больше встречаться с нею. Никого из знакомых он здесь не увидел. Вместо этого произошла другая встреча — человек пять совсем не известных ему ребят, должно быть шоферы, отсалютовали ему издалека кепками:

— Эй, Гусаров! С праздничком, завклубом! — Они собирались жить с ним, по крайней мере, до того времени, когда поселок станет городом и в нем появится настоящий театр.

Федор простился с комбинатом и утром третьего мая встал окаменелый — уже не токарь, не завклуб, а путник. Снаружи доносились мерные звонкие удары сосновой балки. Федя встал и медленно закрыл окно. Молча, холодными, медлительными движениями он заправил топчан, кивнул Герасиму Минаевичу и нисколько не удивился, когда тот сказал:

— Федя, поди поторопись. Там к тебе библиотекарша приехала. Я ее в столовую проводил.

Теперь Федора ничто не могло удивить.

— Пусть поест, — рассеянно сказал он, слушая настойчивый деревянный набат, и направился к умывальнику.

— Иди, иди! Ждет женщина! — сказал механик.

Федя умылся, причесался, постоял немного над

своим топчаном и лишь после того, как механик сказал «нехорошо», пошел в столовую.

Он сразу увидел библиотекаршу. Это была пожилая сухонькая женщина в расстегнутом пальто, в черной фетровой шляпке с фетровым цветочком, из-под которой выбились желто-серые кольца волос.

— Прочитала вашу заметку, — сказала она баском, не сводя с Федора веселых увядших глаз. — Прочитала и попросилась, чтоб послали. Знаете, что-то такое почувствовала. Меня давно уже тянет именно в такое место. Где ничего нет, где начинай сначала. Где тебя ждут! Ах, что мы с вами здесь сделаем, Федор Иванович, что сделаем!

Федор шевельнул бровями и стал смотреть под стол.

— Я не с пустыми руками, — шепнула она таинственно, нагибаясь к Феде. — Со мной багаж. Какой багаж! И еще будет идти — я, знаете, старуха боевая. Еще в области за дело принялась. Верно это, что уже строят новое помещение?

— Вот оно, — сказал Федя, поворачиваясь на стуле к открытому окну.

За окном, вдали, посреди пустыря, над кирпичным фундаментом звонко бухали бревна — первые венцы Дома культуры. Далеко за холмами такими же звонкими ударами отзывалась тайга. Эти звуки преследовали Федора. Он знал, что будет слышать их и тогда, когда с чемоданом в руке отойдет от поселка на десять километров.

— Хорошо! — сказала библиотекарша, расширив глаза, и приумолкла. — Приятная музыка, а? Очень приятная. Мы не просто книги выдавать будем. Я поставлю здесь работу с книгой...

— Девушка! — резким голосом крикнул Федя официантке. — Подойдите, пожалуйста!

Со вчерашнего дня он не мог уже слышать таких слов, как «Дом культуры» или «библиотека». Он уже простился с этими словами.

— Должен оставить вас, — сказал он, поднимаясь. — Пойду распоряжусь относительно вашего багажа.

— Там четыре ящика. Они там стоят в тамбуре, в красном уголке. Идите, идите. Я не задержусь.

И Федор ушел, ничего не видя больше, глухой ко всем звукам, чужой, равнодушный ко всему человек. Он отпер красный уголок, втащил тяжелые ящики, перевязанные веревкой, и при этом старался не смотреть на корешки книг, заметные сквозь щели. Он уже собрался уходить, но в это время задребезжал на стене телефон. Сняв трубку, Федя услышал незнакомый женский голос:

— Товарищ Гусаров? Вам нужно быть сегодня на партийном бюро. В восемь. В парткабинете. Приходите без опоздания.

— Хорошо, — рассеянно ответил Федя и только в дверях подумал: «Что там еще?»

Днем он ходил в управление знакомить библиотекаршу с Середой и Володей Цветковым. Попутно он заглянул в приемную управляющего — узнать о своем заявлении. «Ваше заявление на приказе», — сказала секретарша.

Покончив с визитами, Мария Фоминишна (так звали библиотекаршу) достала где-то молоток и занялась в красном уголке разборкой книг. Она надела серый халатик и с треском начала отрывать доски ящиков. Федора она к этой работе не допустила и чувствовала себя хозяйкой настолько, что он отдал ей ключ и ушел. Он не мог долго сидеть около этой разговорчивой старухи.

Под вечер Федя отправился в управление комбината на заседание партийного бюро. На дощатом тротуаре он встретил Антонину Сергеевну. Она медленно шла ему навстречу, опустив глаза, будто переходила по мосткам через пруд и гляделась в грустную вечернюю воду. Федю она не заметила,— так и пошла дальше берегом своего пруда. Федя с тревогой оглянулся, остановился, долго стоял, глядя ей вслед. Потом вздрогнул и побежал — он опаздывал.

На крыльце управления и на завалинке сидел народ — рабочие и инженеры, вызванные на партбюро. Отдельной кучкой сбились отъезжающие, ожидали на своих чемоданах рейсового грузовика, который повезет

их на станцию. На нижней ступеньке крыльца, облокотясь на свой новый сундучок, ждал машину Герасим Минаевич, одетый по-дорожному — в телогрейке и старом треухе. Тут же Федор увидел и провожатых, человек пять, и среди них, конечно, были Самобаев и Газукин. Вокруг дымились папиросы, щелкали кедровые орешки, текла негромкая речь, и медленно желтел, желтел день.

— Не торопись, — сказал Федору Самобаев. — Еще не начинали. Медведева ждем.

— А вы откуда знаете, зачем я?..

— Что тут особенного — знать? Вон и нас с Газукиным вызвали. Прощайся давай с Герасимом.

Федя сел на крыльцо, все умолкли, стали смотреть на дизелиста.

— Герасим Минаевич, так как же? — сказал Федя. — Встретите, если приеду к вам?

— Вон у Сысоя адрес возьмешь. Пришлю ему...

Вдали показалась маленькая фигурка Петра Филипповича Царева. Начальник мастерской был одет в свой вечно новый черный пиджак, шел, гордо склонив голову на бочок, с достоинством отмахивая руками, и пальцы его словно указывали ногам: «Ты ступи сюда, а ты, правая, сюда».

— Ах, красота наша идет! — сказал Самобаев с крыльца. — Петру Филиппычу наше почтение! Садись, Петр Филиппыч, покурим. Бюро начнется не ране как в девять. Главнокомандующего нет.

— Алексея Петровича?

— Алексей Петрович на месте. Медведев вот...

— Уезжаем, значит? — Царев пожал руку Герасиму Минаевичу. — А почему Аркашка не провожает ветерана? Непорядок!

— Нельзя ему. Дежурный, — отозвался Газукин. — Вона, в окне торчит. Сюда смотрит. Дядя Сысой, Аркашка чего-то машет! Айда, сходим?

Самобаев поднялся, за ним — Герасим Минаевич, Федя, Васька, еще несколько человек, и вся компания не спеша двинулась к столовой. Став перед окном, затянутым железной сеткой, Самобаев громогласно кашлянул. Белый передник мелькнул за сеткой. Аркаша

помахал рукой и вышел к ним, потный, розовый, в белой пилотке.

— Леонид! — позвал он, властно оборачиваясь к двери, и сейчас же на его зов выскочил второй повар, приседая и перехватывая в переднике противень с пирожками.

Вокруг распространился жаркий, пряный дух.

— Нагружайся, Минаич, — коротко приказал Аркаша.

— Сбегай, около сундучка мешок, — сказал дизелист Газукину.

Самобаев с видом контролера взял пирожок, разломил надвое и, откусив, удовлетворенно промычал:

— Да-а... Это не мавританский суп. Это вещь. Попробуй-ка, Герасим.

Герасим положил в рот половину пирожка.

— Это я, пожалуй, съем их до станции! — Он искренне удивился.

— Для того и пек. Давай развязывай! — И Аркаша, взяв мешок у подбежавшего Васьки, стал складывать туда пирожки.

— Герасим, — сказал Самобаев, — а ведь пирожок-то наш все-таки с начинкой оказался?

— Вроде есть немного...

Аркаша гордо шагнул назад, вытирая руки передником.

— Для такого изделия больше начинки не полагается.

Самобаев взглянул на дизелиста, дизелист — на Самобаева.

— Нет, мы пошутили, конечно. Начинки в самый раз. Спасибо, родной. Спасибо, милый. Корми наших ребят и не слушай их, если болтать чего будут. Они такие, смехачи. Ну, будь здоров!

Около крыльца уже стоял рейсовый грузовик. Все отъезжающие сидели в кузове на своих мешках и чемоданах. Эх!.. — сказал Герасим Минаевич и в два приема — одна нога на колесо, другая через борт — оказался в кузове. Ему подали сундучок и мешок.

— Ну, смотри, ежели писать не будешь... — сказал Самобаев, крутя цыгарку. — Читал приказ? — вполголоса спросил он у Царева. — Фаворова на экскаваторный парк перекинули. Ей-богу!

— Слышал что-то такое и я, — осторожно признался Петр Филиппович.

— А не знаешь, кого теперь начальником в механический? — с наивным видом спросил Самобаев. — Для чего тебя вызвали?

— Поищут — найдут. — Царев равнодушно закрыл глаза, но побледнел. — Специалисты у нас есть... — И он мелко застучал носком ботинка.

— Который час? — спросил кто-то.

Ответа не последовало.

— Петр Филиппыч, слышь, время спрашивают, — сказал Самобаев.

— А? — Царев очнулся и торопливо полез за часами. — Без десяти девять.

Наступило молчание. День погас. Нежнолиловые облачные полосы протянулись веером через все бледнозеленое небо. Слабо потянуло смолой от молоденьких тополей, посаженных перед окнами управления и уже обсыпанных мелкими листочками. Вдали залаяла собака.

— Чья это? — встрепенулись несколько человек.

— Кликуев привел, — ответил кто-то. — Охотник.

Из-за бараков выскочил «газик» управляющего, сделал круг и затормозил у крыльца. Из машины вылез Медведев, перепоясанный широким новым ремнем поверх коверкотовой гимнастерки. Все встали. Медведев коснулся рукой козырька коверкотовой фуражки. Сделав несколько шагов, увидел Царева и кивнул. Петр Филиппович поспешно подошел к нему. Медведев сказал несколько слов вполголоса и захохотал, закрякал:

— Они у тебя «вот здесь» были! — Он похлопал Царева меж лопаток — Ты все Фаворову их сбывал! Вот теперь сам поработаешь с ними. Из мастерской ни одного человека не дам!

И, крякая, стал подниматься на крыльцо. Он вошел в парткабинет, и сразу же началось заседа-

ние. Первым вызвали Царева. Он пробыл в парткабинете минут двадцать и вышел оттуда розовый, но гордый.

— Учиться заставляют? — спросил Самобаев.

— Напомнили...

— А на механический — не тебя?

— У нас имеются специалисты... — туманно, с достоинством ответил Петр Филиппович.

И в эту минуту за грузовиком вдали раздался звонкий женский голос:

— Генка! Гена! Толкните кто-нибудь шофера! Гена! Ты будешь на станции — там посмотри ботиночки мужские! Тридцать седьмой номер! Али тридцать восьмой! Начальнику моему... Может, детские какие али недомерочки! Спросишь?

Все заулыбались кругом, и мгновенно померкла, растаяла гордыня Петра Филипповича — это был голос Зинаиды Архиповны, его заботливой жены.

Начало быстро темнеть. Слабо засветились огоньки цыгарок. Все сильнее становился запах древесного клея от молодых тополей. Заседание шло уже целый час. Переборки в коридоре были слишком тонки, и поэтому от человека к человеку на крыльцо передалось известие:

— Алябьев с Медведевым схватился...

И все вызванные на бюро один за другим стали выходить из коридора, чтобы не слышать того, что говорят в парткабинете.

Самобаев бросил цыгарку, вошел в коридор и сейчас же вышел.

— Крепко сошлись. Твое имя, Федор, поминают...

Мотор грузовика взревел. Две полосы яркого света легли впереди от фар, и машина тронулась. «До свидания, Герасим!» — раздались голоса.

— На новое место поехал, — задумчиво сказал кто-то.

— Товарищ Газукин! Товарищи Самобаев и Степчиков! — позвали из коридора.

Самобаев, Васька и Андрей Романович проворно вскочили и скрылись за дверью. Наступила тишина. Федор уже понимал, что весь разговор в парткаби-

нете, который шел минут тридцать, а то и больше, что весь этот разговор был о нем, о его судьбе.

— А кто же секретарем? — спросил в темноте недоумевающий голос.

— Я ж тебе говорю, — ответили с завалинки. — Он временно исполняющий. А секретарь на учебу уехал. Алексей-то Петрович как член бюро и исполняет обязанность.

— Он уже давно исполняет. Месяц уже, — заметил низкий голос.

— Товарищ Царев! — позвали из коридора, и Петр Филиппович не спеша прошел за дверь.

— Теперь уже вроде спокойно разговаривают, — сказал кто-то.

— Товарищ Гусаров! — услышал Федор и вскочил.

И вот он в ярко освещенной комнате. Вокруг красного стола — знакомые лица. Алексей Петрович весело улыбается. Рядом с ним немного отодвинулся к стене Медведев, медленно поворачивает голову, морща лоб, озирает потолок и стены.

— Товарищ Гусаров, вот какая история, — сказал Алексей Петрович. — Вы подали на имя управляющего заявление об уходе. А народ не хочет вас отпускать. В партийное бюро пришло два письма... — Он положил руку на исписанный тетрадный листок, и Федя увидел знакомые Васькины бантики на буквах. — Товарищ Гусаров, подумайте: не сделали вы ошибки?

— Я почему... — заговорил Федя. — Мне сказали, что уже назначен новый... Ну вот, он приедет — тогда вообще мне здесь... Вот вы, Алексей Петрович, любите свой фосфорит? Вы-то меня должны понять.

— Андрей Романович, как наш завклуб? — спросил Алябьев.

Степчиков встал и, шагнув назад, положил руки на спинку стула.

— Будучи знаком с самодеятельной сценой свыше тридцати лет, — он сделал здесь паузу, подумал, — могу заявить уверенно, что Федор Иванович вполне сложившийся, способный, любящий дело, самоотверженный клубный работник.

— Теперь вы, Петр Филиппович. Дайте нам характеристику Гусарова.

Рядом со Степчиковым встал Царев.

— Сейчас я. Молитвенник достану... — И дружный смех заглушил его слова.

— Петр Филиппович! — Алябьев, смеясь, поднял руку, призывая к тишине. — Молитвенник вы должны оставить в мастерской. На новом заводе по-новому надо работать, товарищ начальник. Скажите-ка нам без молитвенника: какого вы мнения о Гусарове?

— Токарить может, я же говорил. Только мечтает много. Деталь вращается, а у него мысли там, знаете, с музами...

— Вот две характеристики... — начал было Алябьев, но остановился. — Что вы хотите сказать, товарищ Газукин?

— А вот что. Еще раз говорю: нам другого завклубом не нужно.

— Все ясно, — Алябьев кивнул. — Со своей стороны скажу: я давно уже присматриваюсь к Гусарову. Первый раз в жизни вижу завклубом по призванию. Мы чуть не сделали двойную ошибку — чуть было не отказались от способного работника и, кроме того, могли сбить человека с избранного пути. Товарищи написали нам, указали на эти ошибки, подсказали правильное решение. Вот и давайте решать. Председателю постройкома предоставляю слово первому, поскольку дело это главным образом касается профсоюза. Товарищ Середа, как вы смотрите, возьмем его?

— Что ж, я думаю, возьмем?.. — Середа посмотрел на Медведева.

— Это что — ответ или вопрос? — сказал Алябьев.

Все засмеялись.

— Хе-хе... Я думаю, ответ? — опять спросил Середа, и снова грохнул дружный смех.

— Как вы, Максим Дормидонтович? — Алябьев повернулся к Медведеву.

Тот медленно наклонил голову: согласен.

— Будем голосовать?

— Утвердить! — послышались голоса.

— Все! Можете идти! — весело сказал, почти крикнул Алексей Петрович. — И сейчас же учиться! Готовьтесь — будет у нас вечерняя школа. Кончите десятый — куда-нибудь еще пошлем, по специальности. И смотрите — чтоб было весело в клубе!

Так решилась наконец судьба Федора. Он выскочил из парткабинета, прыгнул с крыльца и в темноте побежал по доскам к красному уголку.

— Мария Фоминишна! — крикнул он, распахивая дверь. — Никуда не еду! Остаюсь!

Библиотекарша уже превратила один угол барака в книгохранилище. Она разложила книги высокими стопками на лавках и, сидя за столом в своей новой библиотеке, заполняла карточки.

— Я ни секунды не сомневалась, — сказала она, серьезно взглянув на Федора поверх очков. — Я была уверена, что буду работать с Гусаровым, автором заметки. Вот посмотрите — там слева технические книги. Вы о них писали. Что могла — достала.

Федор взял наудачу один том. И вдруг увидел под ним три одинаковые книжки в синих обложках из толстой бумаги. «Измельчение руд», — прочитал он. Перевернул несколько страниц, пестрых от формул, таблиц и графических сеток. И вспомнил Алексея Петровича — не и. о. секретаря партийной организации, а того, робкого, без шапки, с медленно поднимающимися волосами, перебирающего фотографии. «Она одна-то одна — любовь, да не всегда во-время приходит», — подумал он, глядя на мелькающие формулы, цепенея. И, если Самобаев прав, Алексею Петровичу не выжечь никогда из души этот свет, он останется на всю жизнь, как память о самой великой и тонкой пробе для человека. Федор вдруг увидел неизмеримую высоту и силу этого простодушного улыбающегося инженера с мальчишеским, надтреснутым голосом.

— Мария Фоминишна, разрешите, я подарю одну такую книжку знакомому инженеру. Он очень просил меня... Можно сказать, надоумил...

— Подарите. Книга — хороший подарок.

И Федя, улыбаясь, говоря что-то себе под нос, за-

шагал к управлению. Он дождался конца заседания и встретил Алексея Петровича на крыльце.

— Алексей Петрович! Можно на минутку? Вот книга пришла... Вы говорили тогда... Это не для вас?

— Книга? Ну-ка, что за книга? А-а-а...

Он стал смотреть в сторону, вниз, словно гляделся в тот же пруд, куда смотрела днем Антонина Сергеевна.

— Спасибо! — Он очнулся, обнял Федю и легонько, тепло встряхнул его. Потом вложил книгу Федору в руки, насильно согнул его пальцы, чтобы книга не вывалилась. — Нет, Федя. Не мне. Другому. Спасибо, дружок, еще раз.

В это время в темноте около крыльца прошел с гитарой Фаворов между двумя девушками-лаборантками.

— Ему только не отдавай, — сказал негромко Алексей Петрович, глядя Фаворову вслед. — А еще лучше — зарегистрируй. Пусть библиотекарь выдает. Так будет лучше. Ну, будь здоров. Успокоился? Ну и хорошо. Давай. А я сейчас еду.

— Куда?

— Далеко. На Суртаиху. Месяца на полтора. Там, кажется, большое дело нашли. Ребята мои звонили. А оттуда — на самолет и в Москву. В отпуск. К семье. К семье, — повторил он с особенным нажимом. И простодушно улыбнулся. — Ну, завклуб, надеюсь на твои успехи! Будь здоров!

И сбежал с крыльца в темноту. Там, в темноте, зашумел мотор «газика», машина стрельнула красной искрой и укатила.

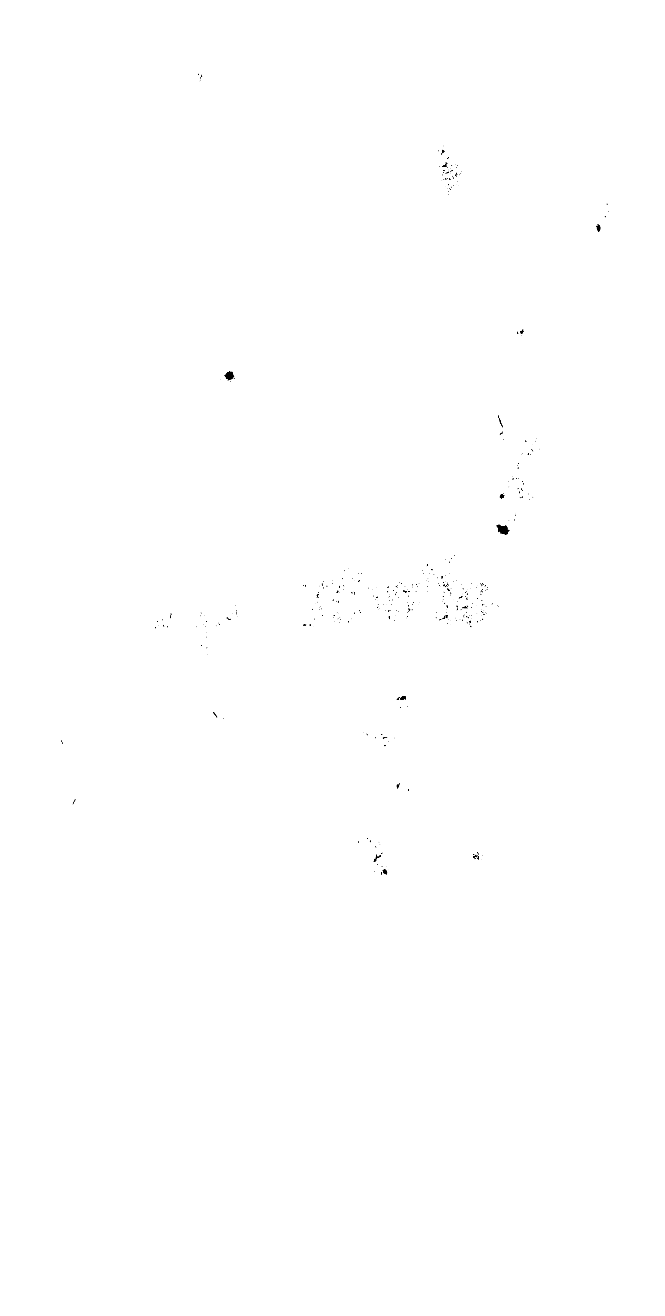
А Федя постоял на крыльце, потом вошел в управление, в парткабинет. Не обращая внимания на сторожиху, которая переставляла стулья, он взял с подоконника банку с клеем, обернул книжку газетой и заклеил. Потом перешел к столу и написал на пакете печатными буквами: «Здесь. А. С. Шубиной». Вышел на крыльцо, оглянулся и сбежал по ступенькам в темноту, пахнущую молодой листвой тополя, — туда, где висел на стене почтовый ящик. Щель оказалась достаточно широкой. Книга упала в ящик. Надо пола-

гать, это был в поселке первый пакет с адресом: «Здесь».

«Пусть еще раз улыбнется», — подумал Федор. Выждал несколько секунд, прянул в сторону от ящика и, громко стуча по доскам, пошел к себе в барак. Он и сам не заметил, как запел, загудел что-то себе под нос. Это не было похоже на бессмысленный птичий свист сытого человека. Пока Федя шел к себе, песня его несколько раз менялась — была то веселой, то задумчивой, то грустной: песня человека, живущего полной жизнью. Такой человек, как известно, стремится ко многому, и ему всегда чего-то не хватает.



У СЕМИ БОГАТЫРЕЙ





СТАНЦИЯ „НИНА“

Мы получили новый наряд на взрывные работы и всей бригадой по шпалам ушли далеко в горы. На шестидесятом километре оборвался рельсовый путь. На семьдесят шестом узкая площадка, вырубленная в каменной стене ущелья, уперлась в тупик. Все ущелье перед нами закрыл Собор. Черное подножие этого гранитного великана-обломка, издали похожего на церковь, подтачивала шумная река — вода уходила прямо под скалу. Отвесная стена, постепенно розовея, поднималась вверх, к горной синеве, и заканчивалась множеством красных маковок.

— Троицкая лавра! — сказал наш бригадир Прокопий Фомич Снарский, глядя вверх.

В его бинокль я увидел между гранитными маковками желтые лишаи и спокойно перебегающих на выступах горных индеек.

В тот день Прокопий Фомич удивил бригаду своим искусством. Он осмотрелся и нашел в скалистой стенке, в ста шагах от Собора, пласт мягкого камня. Мы пробурили в скале два десятка шпуров — там, где он ткнул в камень мундштуком трубки. Зарядили шпуры взрывчаткой, подожгли бикфордов шнур и убежали за поворот. Раздалось два десятка выстрелов, мы вернулись и увидели в стене квадратную

нишу. Еще двадцать, еще три раза по двадцать выстрелов, и Снарский сказал:

— Вот вам и хата.

И сел на длинный камень около нашей пещеры, закинул ногу на ногу — весь желтый от паров взрывчатки. Шевеля длинными висячими усами, он солидно и обстоятельно стал приглядываться к гранитной громаде Собора. Мы любили своего дядю Прокопа и сразу поняли, что на этом камне он будет вечерами сидеть и смотреть на скалу — до тех пор, пока не взорвет ее. И, расчищая площадку перед пещерой, бригада решила оставить для него длинный камень.

Каждое утро, набрав в брезентовые сумки желтого, как яичный порошок, мелинита, мы всей бригадой уходили к семидесятому километру выравнивать полотно дороги и дробить крупные глыбы. «Бах-бах-бах!» — до вечера не умолкала наша стрельба.

Однажды, когда мы разложили по глыбам заряды и за укрытием ждали взрывов, к нам сбежала по извилистой овечьей тропке высокая кудлатая собака и за нею, словно камень упал на площадку, спрыгнул очень широкий и короткий мальчишка-киргиз с большой стриженой головой. Подошел смело, как хозяин, сел возле нас на гранитную плиту.

— Это что? — посмотрел удивленно на отрезок бикфордова шнура в руке Снарского, на голубой дымок, что полз вверх по шнуру. — Что это?

— Здесь горит и там горит, — пояснил Гришука, самый молодой взрывник в бригаде. — Контроль. Как догорит, пойдет стрелять!

— Это ваша работа? Все? — спросил коротыш уже тише и махнул палкой вдаль. — Вся дорога?

Голубой дымок подполз к пальцам Снарского. И сразу вдали, над ущельем, возникли, клубясь, один за другим коричневые столбы — вверх и в стороны, и донеслось запоздалое «бах-бах-бах» — подтверждение слов Гришуки.

Мы познакомились с гостем. Оказалось, что Мусакеев не мальчик: ему шел уже семнадцатый год. Где-то за скалами паслась его отара, а километрах в сорока от пастбища, в соседней долине, был его колхоз.

Он стал навещать нас каждый день. Гришука подружился с ним и даже дал ему поджечь бикфордов шнур.

— Это мелочь, — однажды сказал Гришука нашему новому товарищу. — Скоро не то увидишь. Будем Собор взрывать! Это целый вагон взрывчатки!

— Пять вагонов взрывчатки, — спокойно ответил Мусакеев, и маленькие черные глазки его уползли в сторону, смеясь. — Эшелон!

Он так весело сказал это, что мы все, перестав улыбаться, уставились на него. Мусакеев хлопнул высокого пса по загривку, повалил его, и пес забил хвостом, радуясь ласке. Подняв на нас глаза, Мусакеев сказал неожиданно:

— Взрыва не будет. Около Собора каждый год ходят. Я говорил с геологами.

— Ну, ну, побеседуй еще! — Снарский добродушно засмеялся.

Засмеялись и мы. Откуда Мусакееву знать, будет взрыв или не будет?

И все же он заставил нашего бригадира призадуматься. Ведь главный наряд — разработка семьдесят шестого километра — все еще лежал в конторе.

Пещеру свою мы забили досками и законопатили; это уже не пещера была, а чисто выбеленная, теплая изба с окном и печью. Настя, жена Снарского, уже хозяйничала в этой избе, и в оконное стекло давил зимний сырой ветер — улан, — когда к нам приехали двое верховых — начальник участка Геннадий Тимофеевич Прасолов и с ним худощавый, нахмуренный человек в городском пальто. Наш бригадир выбежал к ним без шапки, и все трое пошли к Собору. А мы столпились у своего жилья, стали наблюдать за ними. И Мусакеев оказался здесь — сначала стоял вдалеке, распахнув овчинный полушубок, потом вдруг оказался рядом, толкнул меня и показал глазами на Собор.

Подойдя почти вплотную к гранитной стене, трое остановились. Высокий незнакомец развернул трубку чертежей и сразу изменился — стал хозяином положения. Бросил руку с вытянутым пальцем в сторону и вниз и ткнул в чертеж.

— Что они там колдуют? — спросил Гришука.

Снарский, совсем маленький по сравнению с приезжими, покуривал трубочку, слушал их, стоя чуть-чуть в стороне. Время от времени, откинув голову назад, он смотрел вверх, туда, где горели, купаясь в морозной синеве, красные маковки.

— Взрывать будем! — крикнул Гришука.

Он захотел побороться и обхватил Мусакеева. Коротыш не обратил на него внимания, только шире расставил ноги.

— Не будем взрывать, — сказал он.

Должно быть, незнакомец сумел доказать свою правоту там, у скалы. Он свернул чертеж и говорил уже спокойно, поворачиваясь спиной к ветру, закрываясь углом воротника. Теперь он указывал бумажной трубкой вдаль, на противоположную сторону ущелья. Он первым двинулся к нам, взяв под руку Прасолова. Снарский побрел за ними, задумчиво дымя трубкой, опустив плешивую голову.

— Мост, — услышал я наконец голос Прасолова, — это ведь немалые деньги. Как, по-вашему?

— Спросите мостовиков, — ответил незнакомец. — Я не мостовик.

— Потом опять же надо будет переходить на этот берег. Еще один мост. Вот ведь какая история!.. — продолжал Прасолов.

— Полтора миллиона! — мы сразу узнали решительный басок дяди Прокопа. — При мне как раз перед войной строили такой мост в Забайкалье. Полтора. А то и все два.

— Подожди, Фомич, не кипятись, — всегда спокойный Прасолов улыбнулся ему.

— Не согласен, Геннадий Тимофеевич. — Снарский повернулся к нему спиной. — Так быстро миллионные вопросы не решаются.

— Эти вопросы, Фомич, не здесь решают. Мы с тобой еще поговорим.

— Вот так, — Снарский, не замечая незнакомца, выразительно оглянулся на Прасолова и выбил трубку о желтую ладонь. — Вопрос этот нужно решать по-партийному.

— Вопроса-то уже нет! — с усталой улыбкой ответил незнакомец, обращаясь к Прасолову. — Трассу изучали не один и не два специалиста.

Лошади рысцой унесли за поворот наших гостей, а Снарский вошел в избу, хлопнул дверью и сел за стол.

— Давай обед, — сказал он Насте и засмеялся. — Как же! Ясен тебе!

За обедом Прокопий Фомич выпил чашку водки, вспотел и долго сидел над тарелкой, широко раскрыв глаза, закусив зеленоватый от паров мелинита ус.

— Где же ты раньше был? — сказал он наконец, не обращаясь ни к кому. — Видишь ты, земляной оползень на скалу навалился! — Он едко усмехнулся, покачав головой. — Опасно! Взорвем — значит гора поедет на нас, подземные воды потекут! А посему оставить Собор в покое и строить мост. А?

— Ты чего расходился? — добродушно спросила Настя.

— Не верю! Геолог обязан доказать. Чтоб не было колебаний. Чтоб я знал, куда миллион идет. Миллион лишний истратить — это мы и без инженера можем. А ты сумей миллион в банке оставить и интерес соблюди! Чтоб мы сказали: мудрец, золотая голова, учили тебя не зря — памятника достоин!

— Руки чешутся взорвать — так бы и сказал. — Настя легонько толкнула мужа в спину. — Погоди, не горюй, они еще не раз планы переменят. Прасолов-то ничего еще не сказал. Раз ездят сюда, значит думают еще. О миллионе-то.

— Напишу в Москву, — сказал Снарский, отодвинул тарелку и пролил борщ. — Министру напишу.

— От дела стоит ли отрывать людей? — заметила Настя.

— А это тебе — не дело? — Снарский стал смотреть в окно, мелко постукивая носком сапога. — Я просто изложу. Пусть сами решают. И планы пошлю. Все бумажки. Прасолов мне еще ни в чем не отказывал — скопирует.

— Думаешь, планов у них нет? В Москве-то...

— Все будет так, как надо, поняла? Может, я

дурак, значит так и скажут. И будем строить мост, пойдем в обход.

Через неделю Прокопий Фомич отправил в Москву толстый пакет. Письмо он написал вместе с Прасоловым. А в апреле, когда засветились на склонах бледные огоньки горных фиалок, приехала к нам Нина.

В тот ясный розовый вечер мы сидели за столом и наперебой рассказывали Мусакееву о нашей работе, о взорванных скалах, о страшной силе мелинита и показывали ему желтые до локтей руки.

Вдруг послышались снаружи быстрые шаги. Первой вбежала в избу Настя. За нею счастливый Снарский распахнул дверь, отступил в сторонку. И тут же, нагибаясь, шагнула через порог высокая девушка в синем драповом пальто, в синей шляпе с широкими полями. Молодые серо-голубые глаза с веселым любопытством осмотрели каждого из нас — всю бригаду.

Настя подвинула ей лавку. Нина села посреди комнаты. Сняла шляпу. Пепельно-шелковые тяжелые завитки рассыпались по плечам вокруг узкого лица. Все молчали. Выждав минутку, она удивленно улыбнулась Снарскому, и Прокопий Фомич, взглянув ей в глаза, сразу стал мягким, испуганным старичком.

Мы смотрели на нее во все глаза. Вот она, долгожданная! Белое, чуть курносое лицо, как у Насти, только у́же. Большая бархатная родинка на щеке. Правдивый взгляд, подчеркнутый движением широкой брови.

— Прокопий Фомич, познакомьте нас, пожалуйста, — вдруг услышали мы ее голос.

Снарский по очереди представил нас.

— Знаменитые взрывники, — говорил он о бригаде. — А товарищи — водой не разольешь. А работать — львы! Самый старший у нас Ивантеев Вася. Требует от всех дисциплины. А этот уже курить научился, — сказал он о Гришуке. — А вот будущий член нашей бригады, — он положил руку на стриженую голову маленького Мусакеева, и тот опустил глаза. — С ним мы будем поджигать шнур, когда подведем заряды под Собор.

— Сколько же тебе лет, малыш? — Нина вдруг

поймала Мусакеева, обняла его, и он начал отбиваться, не поднимая глаз.

Ошибка! Нина вспыхнула, Мусакеев вырвался, весь красный, и сразу вышел из избы.

Потекли быстрые апрельские дни. Над нами в холодной горной синеве ослепительно сияло солнце. Мы крошили глыбы уже на шестьдесят восьмом километре. Нас было теперь не четверо, а только три человека — каждый день по очереди один из нас уходил по ущелью с Ниной, нес за нею шахматно-пеструю рейку и теодолит.

Вот какая она была быстроногая! В кирзовых сапогах, в стеганой телогрейке Снарского поверх ситцевого платья, она вела своего дежурного спутника почти бегом с камня на камень по оползням и осыпям, без остановок. Первые дни — вниз, на сырое дно ущелья, где над бурной зеленой водой нависали гигантские слоистые скалы, под ногами гремели крупные голыши и странные серые птички, как мыши, неслышно исчезали среди камней. «Аллювий», — говорила Нина, жадно осматривая россыпи гальки.

А в мае начались ежедневные походы в горы, вверх. Нина уходила ущельем к семидесятому километру, поднималась знакомой нам овечьей тропой в луга, выше, и по каменному гребню возвращалась к ущелью, выходила высоко над нашим жильем. Далеко внизу, в прозрачно-голубой яме, курился Настин хозяйственный дымок. Совсем близко, над нами, горели красные маковки Собора. Привалясь к нему земляным плечом, чернела та самая ползучая гора, много раз проклятая Снарским. Она выползала из-за серой, в ржавых лишаях, словно падающей на нас стены.

Мы считали дни до взрыва. Никто не замечал озабоченного лица Нины, и, конечно, мы не ожидали, что наши путешествия в горы прекратятся так неожиданно.

Это было утром, мы сидели за завтраком, и к нам зашел Мусакеев. В последнее время он переменился — стал еще сдержаннее. Он неслышно вошел к нам, одетый в новую военную гимнастерку, узко перехваченную офицерским ремнем со звездой. Увидел, что мы

сидим за столом, поздоровался и сразу вышел за дверь.

— Эй, Мусакеев! — закричал Снарский. — Лови его, ребята! Тащи к столу!

Мы бросились к двери, но он сам вошел с огромным снопом горных цветов. Положил цветы на пол около стены — неизвестно для кого — и, помедлив, сел с нами за стол.

— У вас семья, — сказал он.

— Слышишь, Настя? — Дядя Прокоп уронил большую руку на плечо Мусакееву, обнял его. — Хочешь к нам в семью? Признавайся!

Мусакеев не вздохнул — удержал вздох.

— Осенью можно будет? Отару отгоним — тогда.

В это время Нина поднялась из-за стола. По привычке она надела сапоги. Потом вдруг сбросила и так осталась сидеть на лавке, необутая, сосредоточенная. Снарский заметил это, молча стал наблюдать за нею. Затем положил ложку.

— Ну? Что случилось?

— Мне некуда идти сегодня...

— Что такое? — загремел на всю избу голос дяди Прокопа.

Никто из нас не ждал такого поворота дел. Нина молча принесла из-за занавески трубку ватмана, мы сдвинули миски в сторону, и на стол лег чертеж. На твердом листе черной тушью был нанесен контур Собора, а под скалой левее — дно реки и противоположный берег. Сверху справа напирала на Собор жирная линия оползня.

— Что ж это у вас справа весь нижний угол пустой? — спросил Снарский придирчиво, обиженным тоном. — Я видел на всех чертежах здесь шла линия. Вот так, снизу вверх.

Он говорил одно, а глаза его спрашивали другое: «Что? Что задумалась? Почему не говоришь?»

— Подожду проводить эту линию, — Нина медленно обернулась к нему, и мы вдруг увидели, как она похудела здесь, в горах. — Если линия действительно так идет, как вы видели, значит оползень едет по ней на нас, под горку, и я напрасно приезжала.

Дядя Прокоп резко отвернулся к окну и мелко застучал носком сапога. Нам стало жаль его: он теперь был похож на обиженного старичка. Редко с ним бывало такое.

— Дядя Прокоп, — Нина потянула его за рукав. — Прокопий Фомич! Я ведь не говорила, что собираюсь уезжать! — Она налегла на стол, и карандаш ее стал выбивать дробь на ватмане. — Я в Москве видела четыре варианта этой трассы. И почему я здесь остаюсь: никто из геологов еще не поднимался на Собор. А наши горы — они ведь неспокойные, к ним с классическими правилами не подойдешь. Здесь все шиворот-навыворот. Сначала думаешь, что здесь коренной берег, а потом находишь где-нибудь под облаками аллювий — гальку! Что ее туда забросило? Загадки сплошные! Здесь надо как следует ломать голову.

— Ну-ну, яснее говори...

— Яснее? Если эта линия идет не вверх, а вниз, вот сюда, в угол, — вы знаете, что это? Это значит, что никакого оползня нет. Нет!

— Ты же говоришь... Нина Николаевна, вы же говорите — некуда идти.

— Идти некуда. Нужно лезть. На Собор.

— Лестницы такой не найдешь, — сказал Гришука.

Васька Ивантеев строго на него посмотрел.

— Предшественник наш наткнулся на этот оползень и испугался, — продолжала Нина. — А по-моему, Собор очень хитро нас всех обманывает. Надо лезть наверх. Я уже пробовала...

Мы вышли на площадку. Собор стоял на своем месте — неприступный, снизу доверху освещенный утренним солнцем.

— Ах, леший, красота какая! — Снарский едко засмеялся. — Ну и леший! Погоди, мы с тобой еще покалякаем!

— Кто сумеет туда добраться, — сказала Нина, зорко оглядывая каждого из нас, — тот должен нарисовать все, что там увидит...

Она не сводила с нас упорного, недоверчивого

взгляда. «Нет, не смогут, — говорили ее строгие глаза. — Неужели никто не сможет?»

— И принесете в карманах образцы всех камней, что там найдете, — между тем говорила она. — Вот. И нарисуете место, где нашли каждый камень.

...В этот день горы молчали и наши сумки лежали около жилья под брезентом, где мы хранили мелинит. Нина дала нам бумаги, мы сшили себе по тетрадке и налегке поднялись в горы, туда, где черный скалистый гребень вплотную подходит к серой, словно падающей, обомшелой и сыпучей стене.

Она казалась невысокой, эта стена. Но когда нам удалось, запуская руки в трещины, цепляясь за колючие, выпадающие из своих гнезд осколки, подняться на одну четверть ее высоты, солнце уже покраснело и стало опускаться за дальние, облитые лиловой тенью горные снега. Мы сели отдохнуть на узком карнизе, спустив ноги в обрыв. Под нами чернели далекие зубцы каменного гребня. Еще дальше синел в вечерней тени травянистый склон, и по склону, извиваясь, медленно текла вниз овечья отара.

— Мусакеев, наверно, видит нас, — сказал Гришука.

— Мусакеев говорил: Собора нам не взять, — заметил Васька. — Гор не знаем.

— А может, и возьмем. Попробуем еще...

Мы опять стали карабкаться по сыпучей стене вверх, вслед за тонким, ловким Гришукой. Нам помогала широкая трещина — держала наши ноги, как в клещах. Она постепенно расширялась, и когда Гришука влез в нее поглубже и уперся, за его спиной покачнулся и пополз на нас с каменным шорохом плоский гранитный обломок. Мы посторонились. Обломок покатился вниз, застучал, увлекая за собой каменную мелочь.

Не сказав ни слова, мы стали спускаться, ощупывая выступы ногами. Солнце уже село, когда, исцарапанные, ослабев от страха, мы спустились наконец на тот карниз, где отдыхали днем.

Без сна мы провели короткую ледяную ночь на карнизе. Заиграл новый день, мы повисли над обры-

вом, стали осторожно спускаться, и только в полдень ноги наши коснулись подножия стены.

Здесь, лежа на плоском камне, дымя трубкой, ждал нас Снарский, странно неподвижный и рассеянный. Мы чувствовали себя виноватыми, молчали, ожидая его справедливого упрека. Но нет, наш бригадир перевел рассеянный взгляд вверх. С тихим восхищением он оглядывал слоистые черные вершины, что плечом к плечу окружали нас. За эти сутки они словно выросли вдвое, сдвинулись вокруг нас.

— Дядя Прокоп, где Нина? Что делает? — спросил Гришука.

Снарский не ответил.

— Вот это, ребятки, называется борьба, — он не слышал нас: мысли его брели особой дорогой. — Узнали, что такое горы? То-то!..

Мы не спрашивали его больше ни о чем. Он слез с камня, оглянулся в последний раз на скалы, и мы побрели к семидесятому километру. Мы не ждали теперь никаких новостей и не торопились.

— Мусакеев правильно говорил — взрыва не будет, — тихонько сказал Гришука. — Жаль, ребята. Вот ведь как жаль!

День начал желтеть. Мы уже спустились на площадку в ущелье, шли к дому. Но мы не прошли даже поворота, когда Гришука неожиданно замедлил шаг и стал смотреть вдаль, шевеля пухлыми губами, словно разбирая надпись. Я поднял глаза. Как всегда, в темной синеве перед нами горели маковки Собора. И вдруг я увидел слово «Нина» — четыре большие темные буквы на самом широком розовом выступе скалы.

— Дядя Прокоп! — закричали мы. — Снарский! — и побежали догонять бригадира.

Прокопий Фомич остановился.

— Смотри, смотри! — закричал Гришука. — Смотри на Собор!

— Где? — Снарский стал шарить по карманам комбинезона, достал очки, посадил их на нос, зацепил за оба уха. — Где?

И вдруг рот его безмолвно сказал: «О!» Дядя Прокоп сразу все понял!

Перед нами стоял наш прежний Прокопий Фомич. Суровый, даже свирепый на первый взгляд. Коричневые скулы его сухо блестели, зеленоватые от паров мелинита висячие усы украшали его худое лицо. Забытая в углу рта трубка хрипела, но не дымилась.

— Марш за мной! — мы узнали грозные командные нотки бригадира; он кивнул и, шумя комбинезоном, быстро зашагал впереди нас.

Дверь нашего жилья была открыта настежь.

— Интересно, знает она или нет, — шепнул Прокопий Фомич и первым вошел в избу.

Нина сидела за столом, налегая на ватманский лист, положив подбородок на руку. Серо-голубые, чуть прищуренные глаза ее остановились, она не видела листа.

— Нина Николаевна, выдь к нам на минутку, — по-деловому, спокойно позвал ее Снарский.

Нина поднялась, медленно пошла к выходу. Настя, вздохнув, посмотрела ей вслед.

— Скалолазы наши проиграли сражение, — сказал Снарский, горько крякнув. — Как ты тут, без нас, придумала что-нибудь?

— Написала телеграмму. Прошу отсрочки на месяц. Не уеду я отсюда.

— Не много ли? — Снарский заложил руки назад, любуясь Ниной; сдержанная радость все сильнее подогревала его, он начал краснеть.

— Я говорю: не много ли? — закричал он.

Нина, ничего не понимая, внимательно посмотрела ему в глаза.

— Умеешь читать? — дядя Прокоп подошел к ней сзади, взял за обе руки и повернул, поставил лицом к Собору. — Гляди, гляди лучше! Выше!

Нина увидела наконец буквы на выступе Собора. Вырвалась из рук Снарского, засмеялась.

— Как не стыдно! Я так жду, а они здесь шутки разыгрывают. Где образцы? Рисунки?

— Все получишь. Не торопись. Принесут тебе и камни и рисунки.

— Кто поднялся?

— Кто? Его с нами нет. Он придет завтра.

На следующий день с утра мы приготовились к встрече Мусакеева. Настя сварила обед на семерых. Горные цветы — подарок пастуха — она разложила в тазу с водой и поставила в углу на лавке.

Мусакеев пришел, слегка прихрамывая, с тяжелым мешком на плече, и в мешке гремели камни. Я заметил на руке у него широкую коричневую ссадину — через всю кисть.

Нина выбежала ему навстречу. Сама развязала мешок, стала выбрасывать серые и розовые куски гранита. Опорожнила мешок до половины и вдруг выпрямилась, держа в руке овальный оливковый голыш.

— Рисовал? — и замерла над Мусакеевым.

Я даже не понял, ужас или радость были в ее потемневших глазах.

Мусакеев, спокойный, держа руку на пряжке, смотрел на нее снизу вверх.

— Рисовал, — ответил он. — Чертил.

И достал из кармана бумажную трубку. Нина развернула чертеж и с любопытством посмотрела на Мусакеева.

— Ты чертил?

— Я.

Нина еще раз мельком взглянула на него и забыла все — стала рассматривать чертеж. Задумалась. Вдруг глаза ее засияли, брови взлетели. Она улыбнулась овальному голышу, улыбнулась горам, Снарскому, бригаде, Мусакееву.

— Аллювий, — сказала она и повторила, дирижируя голышом: — Ал-лю-вий!

— Это что же такое? — Снарский наклонился к чертежу, надевая очки.

— А это вот что: завтра с утра вы отправляетесь на шестидесятый километр и звоните по телефону. Пусть Прасолов высылает лошадей. Куда же ты уходишь, Мусакеев? Останься — ты нам праздник принес!

Мусакеев послушно сел на камень. Прокопий

Фомич вспомнил о чем-то и ушел в избу и больше не показывался. Мы пошли за ним.

— Спасибо, Мусакеев, — услышали мы голос Нины. — Возьми этот голыш себе на память. Ему миллион лет, и стоит он миллион рублей.

— Спасибо, — коротко ответил Мусакеев.

— Ты хорошо чертишь. Сколько классов окончил?

— Семь.

— Это на Соборе ты так изранился? — спросила Нина, помолчав.

— На это не нужно смотреть.

— Наверно, когда писал эти буквы? — спросила Нина тихо. — Зачем?

— Я думал: буду приходить и смотреть на них.

Наступило молчание.

— Вот зачем, — сказал вдруг Мусакеев. — Чтоб знали, что камень оттуда. В городе могут не поверить. Вы скажете: есть доказательство.

— А почему именно это слово? Лучше бы свое имя.

— Мое слишком длинное. А вы хороший человек.

— Вот теперь ты принес мне чертеж... — Нина смутилась. — Вы принесли. И Собор мы теперь взорвем...

— Очень хорошо. Я знал.

— Зачем же написал?

— Пусть будет один день. Пусть пять минут. Дольше не нужно: я сам взорву — мне обещал Снарский.

Опять наступила тишина. Было слышно, как Снарский дышит через трубку.

— Нет, нет, вы никуда не уйдете! — быстро проговорила вдруг Нина. — И потом — вы ведь член нашей семьи. Мусакеев, пойдемте, я вам покажу одну интересную вещь.

Они вошли в избу. Мусакеев посмотрел на свои цветы и остановился у дверей.

— Идите сюда, — Нина подвинула ему лавку. — Садитесь.

Она принесла из-за занавески трубку ватмана, развернула на столе. Мы столпились вокруг нее.

— Тетя Настя, дайте нам ножницы! — она села рядом с Мусакеевым. — Смотрите, Мусакеев, это ваш пласт галечника, — карандашом она быстро нарисовала на чертеже несколько кружочков — один над другим — там, где жирная линия оползня давила на Собор. — Вертикальный пласт. Тот, что вы видели там, наверху.

Затем Нина провела от подножия Собора вниз, в правый угол, изогнутую, как корытце, линию. Вниз! Я услышал, как Снарский засопел у меня над плечом. И вдруг ножницами Нина быстро разрезала чертеж по этой линии — вверх над Собором — на две части.

— Теперь смотрите все! — Она передвинула Собор по линии разреза вниз, и он лег горизонтально. — Видите, — получилась новая река и новый берег! С галечником! Так было несколько миллионов лет назад. Начался сдвиг. Вот здесь, внизу, гранит не выдержал, треснул, и родился наш Собор и поехал вверх — едет, едет, слабые породы оттесняет... И вот стоит теперь на месте...

— Пока мы не попросим его удалиться! — заключил Снарский. — Золотая голова!

Через день Нина уехала. Мы молча стояли у поворота, глядя вслед трем всадникам — Снарскому, Прасолову и ей.

— Сумеют отстоять? — сказала Настя. — Ребятки, а?

— Сумеют, — коротко ответил Мусакеев; сжал губы, ударил палкой по камню и пошел, не прощаясь, прочь, за поворот.

Собака молча поднялась и затрусила за ним.

Две недели из города не было известий, и Настя начала беспокоиться. Но вот однажды утром к нам в избу вошел пожилой киргиз в лисьей шапке, с кнутом в руке. Увидев нас, он радостно закричал, заговорил по-киргизски, протягивая каждому мягкую руку. Мы ничего не понимали. Гость наш засмеялся, ткнул себя пальцем в голову и сказал:

— Мусакеева отец.

— А-а! — закричали мы, и опять начались рукопожатия. — Хороший сын у вас!

— Взрывником хочет, — он посмотрел на Настю.— Возьмешь его учить?

— Возьмем! — закричали мы. — Возьмем обязательно!

Затем Мусакеев-отец поманил нас пальцем, повел на площадку перед Собором.

— Юрту ставить будем! Здесь и здесь.

На следующее утро, когда мы проснулись, перед Собором уже стояли четыре юрты. Колхозники приехали нам на помощь — долбить в Соборе штольни для взрывчатки. Пришел и Мусакеев. Весь день он водил нас по этому войлочному лагерю — от костра к костру, от земляка к земляку. Мы рассказывали о будущей железной дороге, о Соборе, и везде нас угощали «максимом» — крепкой мучнистой брагой.

А ночью вернулся из города Прокопий Фомич и привез каждому из нас прощальный привет от Нины и особенный привет Мусакееву. Нина уехала в Москву.

Началась знакомая веселая работа. От зари до зари в гранитном теле Собора стучали буры и молотки. Один за другим приходили конные караваны со взрывчаткой.

Через месяц все было готово. Еще три дня, и мы спустили в каменную галерею тяжелые бумажные пакеты — зарядили Собор — и попрощались со своим жильем. Колхозники свернули юрты, караван тронулся, и мы отошли на километр, оставив у Собора Снарского и Мусакеева.

Дядя Прокоп не забыл своего обещания. Через четыре часа мы увидели их обоих. Они шли к нам, разматывая две бухты тонкого белого провода. Оставив лошадей на площадке, все побежали, стали карабкаться на скалистые выступы, повыше, чтобы увидеть гибель Собора. Прискакал Прасолов и с ним несколько инженеров с участков. Потея, блестя глазами, отшучиваясь, начальник взобрался вместе с нами на самую высокую скалу. Снарский присоединил два провода к маленькому ящику, повернул несколько раз ключ — завел пружину — и, солидно кивнув, передал

машинку Мусакееву. Поднялись бинокли. Наступила тишина.

И вот вдали, мощно клубясь и кипя, всплыл, начал расти к перистым облакам белый дымный столб. Горы вздохнули. Десятки орудийных выстрелов загрохотали вокруг нас. Когда канонада утихла, все посмотрели на Снарского, расступились, и Прасолов, выждав паузу, торжественно пошел к нему с протянутой рукой.

— Поздравляю тебя, Фомич!

Через два дня мы выровняли новую широкую площадку, взорвали все глыбы, и Прасолов приехал с путейцами принимать нашу работу.

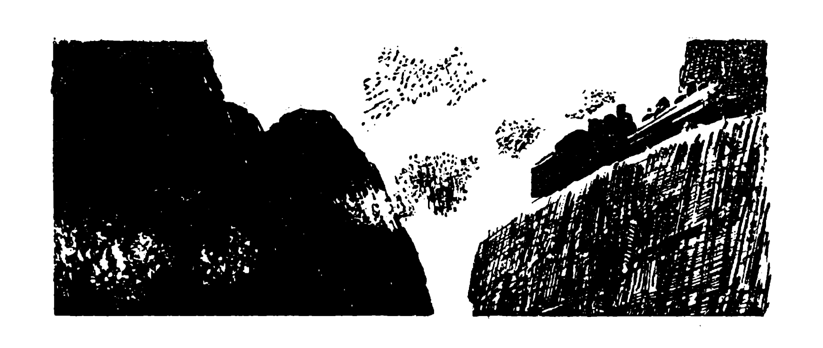
Там, где был гранитный тупик, теперь открывался вид вглубь ущелья — на его сырые каменные стены и травянистые склоны. Розовые куски Собора лежали теперь внизу, под обрывом, в кипящем котле реки. И самый большой кусок привалился к противоположной стене ущелья. На нем темнели знакомые нам четыре буквы, написанные синей глиной.

Измерив шагами ширину площадки — от сверкающей розовыми кристаллами стены до обрыва, Прасолов сказал:

— Здесь будет разъезд. Название уже есть, — и остановился на краю, глядя вниз, на остатки Собора. — Хорошее название. Достойное. Кто это догадался?

Прокопий Фомич взглянул мельком на Мусакеева и ответил за всех:

— Это наш секрет.



ИЗБУШКА СНАРСКОГО

Когда начались осенние дожди, рельсы были уже уложены до того глухого участка в ущелье, который строители называли «избушкой Снарского». Первый паровоз, оставляя над пропастями облачка пара, пронзительно свистя, медленно поплыл по площадке, вырубленной высоко в скалах. Он толкал перед собой платформу со штабелем шпал и ящиками взрывчатки, накрытыми брезентом. На платформе, прямо на сырых после утреннего дождя шпалах, сидели взрывники в зеленых от паров мелинита сапогах, с брезентовыми сумками через плечо. Трое из них были очень молоды — старшему не больше двадцати лет. Зато бригадиру их, Прокопию Фомичу Снарскому, незнакомый человек дал бы лет сорок, а то и все сорок пять. Он действительно был уже в летах — ребята-взрывники знали, что дяде Прокопу давно пошел шестой десяток.

Снарский небрежно полулежал на самой верхней шпале. Он был в твердом брезентовом комбинезоне, желто-зеленом от многолетнего соседства со взрывчаткой. Маленькая голова дяди Прокопа до бровей и до ушей была накрыта глубокой черной фуражкой. Худое лицо со впалыми щеками, с коричневым блеском на выпуклых скулах хранило каменное и, на первый взгляд, даже свирепое выражение, а висячие

усы придавали Снарскому сходство с запорожцем. Он курил обгорелую люльку, держа ее рукой, на которой не хватало двух пальцев, и наблюдал сверху за своими взрывниками.

Старший из них — Васька Ивантеев, надев на руку тяжелый кружок бикфордова шнура, выдавал черный шнур семнадцатилетнему киргизу Мусакееву — самому тихому и аккуратному ученику Снарского. Мусакеев, сложив ноги калачиком, резал шнур перочинным ножом на метровые куски. У него все время чесалось за ухом. Иногда с недоверчивой улыбкой он вдруг быстро оборачивался к третьему взрывнику — Гришуке, что сидел на самом краю платформы. И тот сразу же принимал чинный вид, словно все время он так и сидел — болтая ногами над пропастью, любуясь отрезком шнура. Нет, это не он щекотал Мусакеева.

— Григорий! — гремел сверху Снарский, скрывая улыбку.

Васька Ивантеев, как старший, тоже бросал на него строгие взгляды.

— А я ничего, дядя Прокоп, — голос у Гришуки был тонкий и лукавый, и еще лукавее была улыбка, спрятанная в губах. По-детски красны были эти губы, окруженные смуглым кольцом юношеского пуха.

Снарский видел его тонкую шею и голый затылок, как бы накрытый сверху лихой каштановой шевелюрой (Гришука вчера сдавал в городе экзамен и заодно постригся).

Этот третий взрывник, кроме веселых затей, успевал еще готовить запалы для завтрашней работы — на всю бригаду. Не спеша он брал за конец черный отрезок шнура, надевал на него капсюль — картонную папироску с угрожающей и таинственной красной сердцевиной — и затем быстро прикусывал зубами капсюль вместе со шнуром, чтобы крепче держался.

Паровоз уже второй час осторожно плыл по новым рельсам. Ближние и дальние скалы отвечали свистками на его пронзительные свистки. Пропасти из своих глубин, вымытых дождем, посылали взрывникам прямо в лицо резкие струи ветра. Зима опускалась по склонам и отрогам гор на ущелье. Уже все вершины свежо

белели от снега, и первые мутные, растянутые волокна дождевого тумана проносились низко в ущелье вслед за ревущей внизу водой.

— Григорий! — раздался в молчании наставительный голос Снарского. — Испорчу я твои пятерки! Единую книжку не получишь!

Все посмотрели на Гришуку. Тот улыбнулся и опустил голову.

— Дядя Прокоп, — заметил он, не поднимая головы. — Вот ты опять заругался, а сам ведь зубами капсюль прикусываешь. Я видел.

— Что не надо, то и видишь, — Снарский замолчал и, не находя слов, стал с грустью смотреть на Гришуку.

— Себя с дядей Прокопом не равняй, — вступился Васька Ивантеев.

— Видел! Мало ли что ты видел! — Прокопий Фомич поднял трехпалую руку. — А этого не видел? Мог бы ведь и с пальцами ходить, они мне не мешали. Попробуй только возьми еще раз в рот! Видел...— Он сердито усмехнулся и стал смотреть в сторону.— Дядя Прокоп тридцать лет с этой привычкой гуляет, у него это и колом не вышибешь.

— А вдруг подведет привычка? Тебе что — жить надоело?

— Снарский свое дело уже сделал, теперь ты сумей. Снарскому можно и помирать, — басок Прокопия Фомича стал солидным. — По моим дорогам вон сколько народу ездит. Полстраны!

— Рановато помирать, дядя Прокоп! Небось жить-то хочешь?

— Да что я — хлеба с изюмом не ел? — Он с веселой усталостью посмотрел на всех. — Водки, что ли, не пил? Смотреть на нее не хочется!

— А все-таки посматриваешь! — заметил Гришука, и все засмеялись. — Дядя Прокоп, — сказал он немного погодя и еще ниже опустил голову. — А разве нас ты не любишь? Любишь — значит хочешь жить!

— Люблю! — Снарский скрыл улыбку. — Да если бы я только знал, что мне такого беса, как ты, подсунут! Я ему слово, он мне два!..

— Ну-ка сядь со мной, отдохни! — приказал Васька Ивантеев и схватил Гришуку за рукав.

Но тот вырвался и быстро взглянул Ваське прямо в глаза.

— С ним, Василий, не шути теперь, — Снарский строго посмотрел на Гришуку. — Он экзамен на «пять» сдал!

В это время издалека по горам прокатился в ущелье долгий вздох. Взрывники подняли головы. Вздох повторился — громче, резче.

— Большой заряд, — сказал Ивантеев. — Алешка Савельев палит.

Полчаса все сидели на шпалах не двигаясь, ждали новых взрывов.

— Дядя Прокоп, — сказал наконец Гришука. — А что, Савельев, наверно, здоровый, а?

— Пять лет назад был точь-в-точь как ты.

— Вот бы посмотреть!

— Не увидишь. Он от нас, а не к нам движется. Без остановки ломится, в самые горы уже залез.

— Дядя Прокоп, — Гришука вдруг поднял на Снарского карие глаза и сразу же опустил, — а что, Савельев тоже у вас учился?

— Во-он что! — Снарский значительно улыбнулся, а Гришука покраснел. — Вопрос понятный, — сказал Снарский громче. — Глубокий вопрос. Алексей — мой первый ученик из всех здешних. Пять лет назад, когда я сюда приехал, он был землекопом. Заметь это, Гриша.

— Имеешь все шансы, — Васька засмеялся и посмотрел на Снарского.

— А ты чего? — Гришука, красный, обернулся к Ваське. — Тебя-то мы как-нибудь перегоним, хоть ты и книжку имеешь.

И вдруг, взглянув в пропасть, Гришука закричал:

— Река-то! Мусакеев, смотри — была белая пена, а теперь что делается! Кровь!

Все поднялись. Внизу по дну ущелья летел красный, как сурик, поток. Снарский глянул вниз через край платформы и сразу же сел.

— Так и знал. Алешка тряхнул глыбовую осыпь. Молодец!

— А откуда краска взялась? — спросил Гришука.

— Горы видел у нас? Красные — глина. Как дождь — сразу с гор грязь летит. Там ее целое море заперто в горах. А закупорка слабая — из той же глины. Алешка, видно, всю окрестность с места тронул. Вот оно и пошло. — Снарский поднялся и еще раз посмотрел вниз через край платформы. — А много ведь ее, краски, а?

На них наплыло мутное мокрое облако, и все замолчали, подняли воротники, а Мусакеев и Гришука надели шапки. Облако становилось плотнее. Взрывники забрались под брезент, долго ехали в молчании, лежа на шпалах. Потом паровоз, шипя, выпустил пар и остановился. Дальше пути не было. Стал слышен тонкий свист дождя.

— Мелинит и шнур пусть остаются, — скомандовал Снарский. — Под брезентом им ничего не сделается.

Взрывники спрыгнули с платформы, пошли по скользким шпалам, уложенным без рельсов — вкривь и вкось. Прокопий Фомич быстро шагал впереди, невысокий, одного роста с Гришукой и Мусакеевым. Он торопился. Шпалы кончились, зажурчал под ногами мокрый гравий. Снарский налетел на тачку, брошенную рабочими, полную воды. Сразу за тачкой площадка обрывалась на краю затянутого пеленой дождя каменного оврага, выходящего к ущелью из гор, как из ворот. Взрывники спустились в овраг, на его покатое, убегающее к пропасти дно. В дождливом тумане запахло дымом. И наконец они увидели свою бревенчатую избушку, построенную на каменной плите — «избушку Снарского».

Но прежде чем войти, все четверо остановились у двери, прислушались. Под мелким дождем овраг звенел вокруг них, как луг, полный кузнечиков. И сквозь этот игольчатый шорох водяной пыли все ясно услышали новые звуки — жирный плеск, тяжелое, хлюпающее движение.

— Так и знал! — резко сказал Снарский и, шлепая сапогами по воде, пошел за избу.

Взрывники услышали его протяжный, раздумчивый свист, толкаясь, побежали к нему. И сразу за избой, на метр ниже плиты, перед ними открылся широкий поток красной глины, быстро плывущей к обрыву. Посредине потока, поверх грязи, переплетаясь, неслись вниз красные водяные шлеи.

— Ишь ты, гвардеец, чего наворотил, — сказал Снарский, подбоченясь, качая головой. — Придется завтра переселяться.

И пошел в избу. Следом за ним в темные сени ввалились и взрывники, громко топая сапогами, чтобы услышала жена Снарского Настя. Наклоняя головы, они вошли через низкую дверь в темную чистую избу, освещенную керосиновой лампой, до половины занятую двумя этажами нар, стали сбрасывать в углу мокрые сапоги, телогрейки. Стоя около нар, за ними наблюдала Настя — пожилая крупная женщина в нарядном платье — синем в голубую клетку. Она всегда надевала что-нибудь нарядное, ожидая мужа.

— Ну, приехали наконец? — Она подошла к Снарскому, высокая, выше мужа на голову. — Садись! — толкнула его полной рукой. — Садись, говорю, дай сапоги хоть сниму.

И он послушно сел на лавку, вытирая кулаком усы, подчиняясь ее сильным рукам.

— Рад без памяти — домой добрался! Можно подумать — домосед, — приговаривала Настя, стаскивая с него мокрый комбинезон.

— Да где же у нас с тобой дом-то?

— Поговори у меня! — она потянула мужа за ухо. — Где я, там и дом. Снарский, — сказала она вдруг, — ты ничего не замечаешь? У нас ведь гости!

— Гости? — Прокопий Фомич ничего не хотел понимать — мягко улыбался, не сводя с нее глаз.

— Нет, ты посмотри, кто у нас.

Снарский обернулся к нарам и сразу встал, худенький, узкоплечий в своей черной сатиновой косоворотке. На нижней полке нар, на полосатых тюфяках, разбросав ноги, спали в ряд восемь рослых парней. Широкие, исцарапанные в скалах руки их, как и у Снарского, были лимонного цвета. У самой стены, положив на

грудь большую желтую руку, запрокинув большую голову с черной прядью на потном лбу, спал бригадир взрывников Алексей Савельев, его любимец и воспитанник.

— Домой-то им не добраться теперь, — говорила Настя, гремя ложками. — Решили у нас заночевать по старой памяти. Обедать не стали — как один, свалились и храпят. Твоя школа: все дело, дело и дело. И во сне о деле болтают. Я уж с них, с сонных, сапоги стаскивала...

— Вот вам, хлопцы, и Савельев, — тихо сказал Снарский.

Все трое взрывников подошли к нарам.

— Тебя, Снарский, ругали, — продолжала Настя.— Савельев ругал. Взрывчатки ты мало им припас, а то сегодня две годовые нормы отпраздновали бы!

— Значит, ругал, — Снарский босиком прошелся по половицам, наклонив плешивую голову. — Снарского ругают!..

Он остановился против окна.

— Газетой заклеила? Что это?

— Стекло вылетело. Алексея работа. Как рванули, вся изба подпрыгнула.

Запахло борщом. Все сели к столу. Присутствие в избе знаменитого бригадира по-разному подействовало на каждого, и, пока шел обед, Мусакеев несколько раз взглянул на нары большими черными глазами, а Васька Ивантеев, покровительственно улыбаясь, все время экзаменовал Гришуку по взрывному делу. Гришука бойко отвечал на его вопросы, запальчиво, с вызовом глядя ему в глаза.

Теплота избы и плотный обед постепенно отнимали силы у взрывников. К концу обеда взгляды их стали тяжелее, голоса глуше.

— Спать, спать, отличник! — заторопил Снарский Гришуку. — Угрелся!

И тот послушно полез на нары, на вторую полку. Улеглись и Мусакеев с Васькой. Настя убрала посуду, убавила огонь в лампе и ушла за занавеску.

Наступила тишина. В этой тишине громче стали слышны тяжелые вздохи и всхрапывание. Снарский

подошел к нарам. Перед ним лежал Алексей. Тяжелая рука его была теперь откинута на грудь соседа. «Взрослый человек стал!» — подумал Прокопий Фомич. Снарский уже давно понял, что Алеша — не просто бригадир лучшей бригады, а мастер, о котором скоро заговорят и в Москве, в министерстве. Как и Снарскому, Алеше поручали теперь самые ответственные работы. И если Алексей при встречах спрашивал иногда у Снарского совета, то это была только игра, ее подсказывала Алешина ласковая душа.

«И так каждый год, — Снарский откашлялся и опустил голову. — Не успеешь привязаться к человеку, глядишь — телеграмма. И уходит. И некогда ему старое помнить, поважнее дело есть. И на его место приходит другой... Гришука! — он улыбнулся этой внезапной мысли. — Вот ведь еще талант открывается! Эх ты, что год, что минута! — он уже слышал разговоры о переводе Гришуки на другой участок, как только сдаст экзамены. — Ничего не попишешь — кадры!»

— Снарский, — протянула Настя за занавеской, — всего не передумаешь.

— Да, — Снарский крякнул, и лицо его опять стало озабоченно-суровым. — Да. Да.

Глядя в стену, хмурясь, Прокопий Фомич надел мокрые сапоги, набросил плащ и вышел из избы.

Темнота попрежнему тонко звенела вокруг избы, и попрежнему за избой были слышны тяжелые шлепки и плеск потока. Снарский обошел избу и остановился на краю плиты. Темная грязь все так же плыла под ним вниз — та самая грязь, которой так боялись путейцы.

Он вернулся в избу и, не раздеваясь, лег за занавеской.

— Ты что? — спросила Настя.

— Избу нашу не подмыло бы, вот что.

— Не подмоет. Спи, — Настя улыбнулась.

— В двадцать седьмом году ведь смыло геологов.

— Ну тебя, слушать не хочу.

— Ты говоришь, Алешка хорошо тряхнул?

— Сорок тонн заложил. Все так и заходило. Даже печка треснула.

— А там закупорка, думаешь, не заходила?

— Да ты что? Ну и иди сам на улицу, под дождь. Никуда не пойду. Избу нашу ведь люди строили? Знали, поди, куда сруб ставить?

— Утром схожу, посмотрю, что там с озером делается, — сказал Снарский миролюбиво.

Они замолчали.

— Слышь, Настя, — Снарский легонько толкнул жену, — вот ведь еще талант открылся: Гришука-то! Да ты что?

— А ну тебя! Напугал, теперь не заснешь!

Но через полчаса он услышал ровное дыхание жены — она словно сдувала с губ легкую пушинку. Теперь Снарский был один. Широко открыв глаза, он смотрел в потолок и думал:

«Лет через десять всех растеряю. Пойду на пенсию. Будем с Настей с печки за ними следить. Писем небось не пришлют — некогда. Или нет — Алешка напишет. И Гришука тоже. Вот ведь петух бесхвостый! Каков! Алешку, мастера, перегнать собрался!»

Потом он представил себе красное озеро, окруженное сбегающими из-под облаков красными склонами и оползнями, его маслянистую поверхность с лужей стоячей воды посредине. Он видел озеро летом — тогда оно спало, запертое в горах перемычкой из той же красной глины.

«Растрясло закупорку, — подумал он. — Да еще этот дождь. Утром надо будет подняться наверх, посмотреть».

Он закрыл глаза, как ему показалось, на секунду. Потом открыл — и долго не мог понять, что делается вокруг него. Поднял занавеску. Огонек лампы мелко дрожал, изба скрипела, а через газетный лист в окне просвечивал синий рассвет. Все спали тихо, как спят на рассвете.

Сильный толчок заставил его спрыгнуть с топчана. Босые ноги его обожгло мокрым холодом. Он поднял ногу — она была по щиколотку облита красной глиной.

— Настя! — застонал он, бросаясь к окну.

Разодрал газетный лист и сразу же увидел дождливое, серое утро и красную шлепающую быстрину под окном — уже с этой, с высокой стороны.

На секунду ему показалось, что изба, как паром, несется навстречу красным струям и воронкам.

— Настя! Ребята! — Снарский подбежал к нарам, потянул Савельева за босую ногу.

Алексей, шумно вздохнув, повернулся к стене.

Изба перестала скрипеть. Снарскому показалось, что он плывет. Потом избу опять легко толкнуло, лампа упала со стола, и наступили сумерки, стены затряслись, скрипя. Снарский схватил за ноги Ваську Ивантеева и стащил с нар. Парень сразу проснулся, как только босые ноги его коснулись холодной лужи на полу. Он подбежал к окну.

— Настя! — крикнул Снарский, стаскивая с нар второго взрывника, соседа Алеши, и оглянулся.

Он увидел жену в полумраке. Она уже была в платье и сапогах, дергала за ноги Гришуку.

Прокопий Фомич почувствовал — изба плавно повернулась на месте, ткнулась углом в камень. Васька Ивантеев с треском выломал раму, пролез в окно и прыгнул на темный берег.

— Прыгай, ребята, здесь близко! — донесся его голос.

— Вылезай на берег, не путайся здесь! — закричал Снарский на Настю. Она молча выпрямилась перед ним. Снарский не увидел — почувствовал ее слезы. — Вы-ле-зай! — приказал он ей. Он умел быть твердым в трудные минуты.

И Настя послушно полезла в окно. С берега ей подали руку. В этот момент изба опять двинулась — вдоль и в сторону от каменистого берега. Проползла немного и остановилась. Один за другим четыре взрывника вылезли через окно и исчезли в сумерках.

— Скорей, ребята! — крикнул кто-то с берега. — С крыши прыгай!

Снарский отчаянно тормошил Алешу. Бригадир, не просыпаясь, отталкивал его вялыми, тяжелыми руками, уползал от него вглубь нар.

— Скорей, скорей! — закричали с берега,

С верхней полки спрыгнул Гришука.

— Ты что, дядя Прокоп? — и сразу бросился к окну. — Ребята где?

— Ребята там. Давай в окно. Вот этого с собой прихвати, — он стащил с верхней полки сонного Мусакеева, подтолкнул его к Гришуке.

— Прыгайте, прыгайте! — закричали за окном.

Снарский стащил с нижней полки двух взрывников. Последние. Нет, не последние, — еще Алеша! Он поймал Алексея за обе ноги, стащил его, спящего, на пол. Алеша так и пошел вперед — с закрытыми глазами, ступая по холодной луже, ловя плечо Снарского тяжелой, большой рукой.

— На крышу, на крышу полезай! — Снарский подсадил его.

Босые, залитые красной грязью ноги мелькнули в воздухе. Снарский быстро пролез в окно, нащупал над собой круглую жердь, подтянулся. И, словно под его тяжестью, изба вдруг накренилась и, плавно скользнув, треща, ухнула вниз, села углом в красный водоворот. Берег медленно стал удаляться — в сторону, назад, в дождевой прозрачный туман. Снарский успел только увидеть Настю — она вырывалась из рук Алексея и Гришуки. Все трое боролись, стоя по колено в красном потоке.

— Дядя Проко-оп! — крикнул кто-то с берега.

Он не чувствовал дождя и холода, не боялся боли. И смерть не пугала его. Тридцать лет она ходила рядом со Снарским, лежала в брезентовой сумке, послушная его приказу и расчету. Теперь она плыла все быстрее, ему навстречу.

Не замечая нарастающей скорости потока, Снарский сидел на подоконнике, свесив босые ноги.

— Дядя Прокоп, — сказал он вслух и покачал головой.

Все-таки был у них дядя Прокоп! Хоть и сердитый, а любили. Нет, лучше так умереть — сразу для всех. И остаться для них дядей Прокопом — навсегда! Алешка, Гришука — они запомнят. «Пенсия», — подумал он и, кашлянув, вызывающе, густо засмеялся.

— Настя, прощай! — закричал он вдруг со слезами. — Настя!

С ходу изба ударилась углом о подводный выступ. Снарский не заметил этого. Изба остановилась, виляя из стороны в сторону под быстрым течением. Мимо избы, весь в воронках, в бороздах, летел поток красного ила, нес желтые и черные глыбы земли, все дальше и дальше — туда, где на самом краю обрыва стояли гранитные пальцы, разбивая поток на несколько последних стремительных рукавов. Снарский вымок. По его черной косоворотке, по брюкам струилась вода. Но он не чувствовал и не видел ничего.

Опять раздался треск, изба осела. Два бревна вывернулись из-под сруба и понеслись вниз. Каменный палец разделил их — одно бревно полетело в левый рукав, другое в правый. Но Снарский не видел этого.

— Ах ты! — шевельнул он губами. — Не во-время.

Мимо избы проплыла новенькая шпала. Снарский не заметил и ее. Вторая шпала пронеслась по ту сторону избы. Должно быть, ее пустили выше по течению. Кто-то прицеливался шпалами в избу. Третья шпала приплыла сверху, нырнула под сруб, стала на дыбы. Еще и еще две шпалы ударились в сруб. И их Снарский не заметил.

Но он очнулся, когда услышал сзади себя в красной быстрине нарастающий крик Алексея:

— Дядя Прокоп! Скорей дай руку!

Лицо Снарского мгновенно изменилось, словно похудело. Он свесился из окна. Новенькая шпала, обвязанная толстой веревкой, ударилась в сруб и перевернулась. Вслед за шпалой красная волна прибила к срубу залитого грязью человека. Снарский поймал локоть Савельева и — откуда сила взялась? — одной своей трехпалой рукой втащил в окно рослого взрывника, облитого красной глиной с ног до головы. Грудь его была обвязана веревкой, свитой из бикфордова шнура. Конец веревки плясал в потоке длинной восьмеркой.

— Быстро! — скомандовал Алексей.— Пролезай! — и, сняв с себя, надел на Снарского и туго затянул ве-

ревочную петлю. — Свяжемся с тобой веревочкой, чтоб ты от меня никуда не уплыл.

Твердые пальцы его сжали плечо Прокопия Фомича, повернули его, и он увидел гранитный стержень посреди потока, над обрывом. Рассекая поток, высокий истресканный камень словно несся им навстречу, как нос корабля.

— Поплывем сейчас на этот камень. Только левее держи — несет здорово. А я заберу вправо — веревкой и зацепимся!

Перехватывая веревку, Алексей проворно спустился по срубу к водовороту, где три шпалы, прибитые течением, ударялись о стену избы. Он снял петлю со шпалы, пролез сам в эту петлю, затянул ее.

— Нам с тобой еще рано помирать! — крикнул он. — Только влево греби. Если не выберешься, попадем в один рукав. Тогда — крышка!

Снарский вдруг, словно впервые, увидел поток и камни на краю обрыва. Тридцать лет смерть ходила рядом с ним. «Должно, и на этот раз мимо», — подумал он и басисто засмеялся, угрожающе выпятив губы, раздув ноздри.

— Дядя Прокоп! Готов, что ли?

— Командуй! — Снарский повис над потоком, держась одной рукой за подоконник.

— Прыгаем!

Веревка, шурша, побежала через крышу на тот конец избы — Алеша прыгнул. Снарский разжал пальцы. Ледяной холод охватил, сдавил его и понес. Ноги задели каменистое дно, и он с силой оттолкнулся влево.

Каменный палец — уже не палец, а гранитный остров, быстро вырастая, летел на Снарского. Он увидел на секунду, почти рядом, голову Алексея, и тут же поток их разъединил на всю длину веревки. Скала налетела, Снарский с силой ударился несколько раз о ее колючие выступы. Веревка вдруг бросила его назад, натянулась. Тяжелая волна краски догнала, окатила его сзади.

Он схватился за выступ, повис, поставил дрожащую ногу в широкую трещину и полез к вершине

скалы. Вылез на площадку, покрытую зелеными лишаями, и упал локтями и грудью на мягкий слой, пузырящийся от воды, — на настоящую, родную, хоть и каменную землю!

Около него в луже красного ила стоял Алексей и, потрясая кулаками, смотрел вверх, сквозь мелкую сетку дождя. Там, высоко над оврагом, на гранитной полке, где обрывалось полотно дороги, плясали и прыгали люди — не разберешь, кто, не разберешь, сколько. Только эхо разносило их знакомые, настойчивые, радостные крики и свист:

— Дядя Проко-оп!




У СЕМИ БОГАТЫРЕЙ

Инженеры нашего строительного района хорошо помнят тот день, когда начальник взрывников Снарский принес в контору листок, вырванный из записной книжки. Прокопия Фомича осенил один из тех неожиданных проектов, которыми он уже не раз удивлял руководство стройки. Листок его пошел по рукам, дядю Прокопа пригласили на экстренное совещание, где как раз и был отредактирован известный приказ номер 472 о ведении взрывных работ в зимнее время.

Случилось это в тот год, когда началась проходка самых трудных горных участков дороги. За летние месяцы взрывники успели пробить полку длиной в два километра в отвесных скалах ущелья между двухсотым и сто восьмидесятым пикетами. Они выломали и сбросили вниз много гранита, но еще больше его осталось на полке — на всех двадцати пикетах громоздился грандиозный завал из розовых кристаллических глыб. Нужно было раздробить их и зачистить площадку и стены полувыемки по отметкам геодезистов.

Работу эту предполагали начать после зимнего перерыва, когда подтают снежные завалы и откроется доступ в ущелье. Новый проект Снарского сводился к тому, чтобы в мае сдать строителям уже готовую гранитную полку — с выигрышем в полгода.

Сразу же после совещания Прокопий Фомич с бригадой взрывников ушел в горы рыть землянки. Еще летом он облюбовал для своей зимней крепости площадку на высоте чуть ли не в две тысячи метров над уровнем моря.

В практике начальника участка Прасолова не было еще таких зимовок. Поэтому, когда техник Володя собрался проехаться по трассе, чтобы подновить для взрывников цифры, выведенные геодезистами на скалах, начальник поручил ему навестить Снарского и осторожно выведать, не надо ли чего взрывникам.

Захватив ведерко сурика, техник выехал верхом в эту высокую и тогда самую глухую часть ущелья. Полдня поднимался он по тропе над гравийными полями. Когда номера пикетов перешли за сто пятьдесят, он уже не слышал цоканья подков — все заглушил тяжелый шум скрытой за обрывом реки. До этого места Володя насвистывал, а тут умолк и сразу почувствовал себя одиноким. Гранитные массивы, покрытые плесенью и лишаями, поднимались к нему из сырых глубин. Вода и ветер с веселой уверенностью подтачивали их: впереди еще миллионы лет, а вон уже сколько круглых валунов лежит в реке — это ведь тоже были скалы!

Обводя краской цифры на гранитной стенке, техник увидел по ту сторону ущелья горного козла — киика,— сердито трясущего головой, а недалеко от сто девяностого пикета дорогу ему переполз большой дикобраз, похожий на вязанку хвороста.

С большим трудом Володя провел своего сонливого Форда через двадцать пикетов, где летом поработали взрывники, выполняя первую часть проекта своего бригадира. Все здесь стояло вверх дном, во всем был виден умный расчет Прокопия Фомича — старик спешил за лето наделать побольше грому, потому что зимой бить шпуры и подливать туда соленую воду, дуя на обмороженные пальцы, — дело медленное и неприятное.

На одном из пикетов, где полотно будущей железной дороги выписывало вогнутую кривую, техник нечаянно выехал прямо к обрыву. Перед ним открылась огромная яма — голубой и холодный простор для птиц.

По этому простору тревожно сновали полупрозрачные облака. Они словно искали места, где бы залечь на зиму. Две белесые тени проплыли по ущелью и остановились внизу. Потом двинулись дальше и вдруг испуганно взлетели и одна за другой скользнули в ворота между скалистыми выступами, улетели в горную страну. Другое облачко, словно вспугнутое ими, свалилось по откосу и побежало, прижимаясь к камням, свернуло за поворот. И еще три тени неслышно сорвались с камней и, распустив прозрачные крылья, скользнули ему вдогонку.

Кругом сияли горы, белые от снега: дело шло уже к октябрю. Только на склонах ущелья не было снега — оно прерывисто гудело, как печная труба, холодные и нагретые на солнечных склонах ветры постоянно боролись здесь, не давая задержаться ни одному облачку.

Тонкий свист заставил техника быстро обернуться. Подняв голову, он увидел над собой Снарского. Взрывник был в телогрейке и стеганых штанах, заправленных в сапоги. Володя помахал старику. Снарский сунул в зубы трубку, присел, спрыгнул на полочку пониже, потом повис на руках, качнулся, прошел по карнизу, сполз на новый выступ и, наконец, спрыгнул на площадку и схватил коня за мягкую губу.

— Пора тебе на пенсию, старый дурак, — сказал он и пыхнул трубкой, глубоко втянув впалые щеки. — Слюни уже держать не можешь, герой!

Легкий юмор засветился в его острых карих глазах.

— Все еще на своем Форде ездишь?

— Зима, — сказал Володя, слезая с коня.

— Да-а. Разыгрались котята, — дядя Прокоп проводил взглядом круглое облачко. — Вниз бегут. Скоро обвалы начнутся. Как в бутылке будем здесь сидеть.

Они умолкли.

— Пойдем посмотрим? — вдруг предложил взрывник.

Поставив Форда в каменном стойле, они полезли вверх по колючим выступам и очутились на круглой, чуть наклонной поляне, покрытой подушечками темно-зеленой высокогорной травы.

— Крепость номер один, — сказал Прокопий Фомич, подводя техника к длинной прямоугольной яме, вырезанной в пластах красной и синеватой земли. — Общежитие, столовая и красный уголок! Строимся капитально!

Узкий ход сообщения вел из этой ямы ко второй. Эта была поменьше.

— Кухня, пекарня и помещение для семейных, — объяснил Снарский, намекая на себя. — А здесь, — сказал Прокопий Фомич, когда они подошли к третьей яме, — здесь будет у нас конюшня, а в этом чуланчике горн поставим — править буры. Ничего размахнулись? А с той стороны — видишь, земля навалена? — там будет склад взрывчатки. Чем не партизанский край?

Они обошли все пять ям, вырезанных словно по отвесу, и дядя Прокоп в заключение сказал:

— Строим под инженерным руководством. Павлушка-то Залетов у меня инженер без пяти минут!

— А где они все?

— Залетов с Мусакеевым на разведку пошли в ложок, насчет жердей. А остальных вчера еще послал вниз к Прасолову за досками. Встретишь — поторопи.

— Значит, хотите доказать, что и в зимних условиях...

— А почему бы и нет? — Снарский холодно посмотрел на техника, и тот засмеялся, вспомнив, что старик не терпит сомневающихся. — Почему бы и нет? — взрывник подвигал коленом. — Я выписал мелинита на восемь месяцев. Думаю, что до весны хватит...

— Ничего не надо? — осторожно спросил Володя.

— Прасолов небось интересуется? Можешь доложить: входим в зиму при полной готовности.

Они простились внизу на площадке. Форд, голубой, словно обсыпанный гречкой, стоял на том же месте между гранитными глыбами. Володя сел в изодранное седло, Прокопий Фомич крикнул: «Проснись, калоша!» — и хлопнул Форда по крупу. Конь тихо двинулся, словно у него ослабли тормоза.

— Эй! — крикнул Снарский, когда техник спу-

скался по гремящей каменной мелочи к тропе. Старик стоял далеко вверху, на границе между небом и землей. — Эй! Там скажи Прасолову, чтобы взрывчатку веселее грузил! Капсюлей пусть не жалеет! И кладовщика, кладовщика он обещал!

Месяца через полтора далеко внизу, в поселке строителей, подходя однажды утром к конторе участка, девушки-лаборантки увидели перед крыльцом Форда. Взнузданный и навьюченный мешками и плоскими ящиками с клеймом «взрыв», он спал и странно покачивался при этом на шатких ногах. Тут же лаборантки заметили кирзовый сапог и колено, которое уперлось в круглый живот Форда, покрытый зимним белым пухом. Серьезный мальчишка лет пятнадцати, с варежкой в зубах, яростно затягивал на коне подпругу. Просторная телогрейка, должно быть пятидесятого размера, сидела на этом коннике немного боком. Голубые лыжные штаны были приспущены на сапоги. Поперек спины висела стволом вниз берданка.

На крыльцо вышел начальник участка Прасолов.

— Клава, вот, получи-ка формы...

Парнишка, щелкнув наконец ремнем и посмотрев на коня со стороны, подошел к крыльцу.

— Вот здесь распишись, что получила, — сказал Прасолов. — На, держи: учет прихода и расхода, форма три, форма пять...

— А форма четыре?

— Снарский взял три книжки. Дойдешь одна-то?

— А то не дойду!

— Смотри... Знаешь, к кому едешь-то? Чтобы все было четко и никаких жалоб на условия. Снарский просил прислать ему крепкого человека. Ну вот. Что еще? Весной, как только можно будет, подъеду. Спеши. Снег пойдет — не доберешься.

И Клава стала опять мальчишкой в телогрейке, молча, гордо прошла перед незнакомыми девчатами и даже споткнулась. Тут же, осерчав, она замахнулась кулаком на коня, намотала повод на руку, и Форд, шевельнув хвостом, не спеша пошел за своей новой хозяйкой по широкой улице поселка к молчаливым сахарно-голубым горам.

Поднебесное зимовье взрывников к этому времени было уже засыпано снегом. Твердый, словно облитый стеклом, белый пласт обрывался над трассой дороги, срезанный зимним ураганным ветром. Три сизых дымка прямо из снега поднимались к небу, к темно-синему небу, где в четыре часа дня уже появлялась звезда. Эти три белесые нити были видны издалека, они чуть виляли то вправо, то влево и, выйдя из-за укрытия, взыграв, бросались к обрыву, вниз, в полумрак, туда, где бегали одинокие облака, все еще не найдя себе зимнего пристанища.

В большой землянке, в жарком тумане висели две керосиновые лампы. На высоких нарах, свесив босые ноги к гудящей железной печке, сидели взрывники. Гришука, оттопырив красные губы, торопливо разматывал кружок черного бикфордова шнура, резал шнур на полутораметровые куски. Рядом с ним неразлучные друзья Тимоха Бородин и Саша Пискунов надевали капсюли на шнур и обжимали их щипцами. Тимоха — мускулистый, смугложелтый, обтянутый голубой майкой, Саша — близорукий, с рыжими завитушками на лбу, похожий на девушку в очках.

Во второй, просторной половине землянки за длинным тесовым столом Снарский и Павел Залетов вычисляли вес зарядов. Перед уходом в горы Павел остригся наголо. Волосы его уже отросли и отливали под лампой, как плотный темный мех.

Сквозь земляную толщу издалека доносились удары молота по железу — это Васька Ивантеев вместе с Мусакеевым заправляли буры, готовя их на завтра. Через узкий проход из «помещения для семейных», где хозяйничала жена Снарского Настя, все сильнее тянуло жареным луком.

Когда Настя в третий раз сердито зазвонила ложкой по сковороде, Снарский бросил очки на стол.

— Айда, пехота, в ружье! — скомандовал он. — Григорий, сходи за кузнецами, пусть...

Он не договорил, поднял голову и стал похож на самого сердитого запорожца с картины Репина. Наступила тишина. Удары молота за стеной оборвались, и в тишине кто-то прошел над головами взрывников по

крыше — вдоль всей землянки. Хлопнула дверь тамбура, холод шмыгнул под столом к нарам. Затопали сапоги.

— Пожалуйста, проходите, головой не ударьтесь, здесь низко, — это был голос Васьки Ивантеева, странно веселый, непонятный.

— С кем это он так вежливо разговаривает? — сказал Гришука.

В темном углу шаркнула по земляному полу дверь.

— Можно? — спросил незнакомый молодой голос, и, снимая варежки с красных рук, в землянку вошла девушка в ушанке и с ружьем за спиной. Вошла и стала к стене, глубоко дыша от мороза.

Все поднялись, молча стояли у нар и у стола. Бородин полез за рубахой. Саша Пискунов снял очки, чтобы протереть, замигал и спрятал их в карман. Только дядя Прокоп остался на месте. Он повернулся к девушке боком и, подняв в ее сторону бровь, выждав паузу, с достоинством спросил:

— Откуда?

— С курсов. К вам прислали...

Она ждала, испуганная и восхищенная. Перед нею молча стояли люди, о которых шла по поселку молва, говорило областное радио, писала маленькая газетка строительства.

— Ко мне, — проговорил дядя Прокоп и опустил глаза. — Прислали, значит. — И опять повел бровью на девушку. — Ну что же, давай бумагу, — он потянул к себе очки. — Как там, внизу? Скоро нас на замочек запрет?

— Заметает. Еле прошла...

— Иди сюда, дочка,— позвала Настя из прохода.— Иди переобуйся.

— Вот мы и на осадном положении, — сказал Снарский.

Через полчаса гостья сидела уже за столом, и Настя из большого чугуна разливала в алюминиевые миски крупяной суп. Тимоха Бородин, который один мог бы съесть чугун супу, Тимоха сказал «мне хватит» — и отломил кусочек лепешки. Гришука отказался от мозговой кости и покраснел, когда Настя

все же положила кость ему в миску. Саша Пискунов начал было хлебать громко, как всегда, и вдруг осекся.

— Ты зачем это снял очки? — весело сказал ему Тимофей и оглянулся на девушку. — Ты надень, а то ложку пронесешь мимо!

Залетов ел молча. Он уже успел надеть черную спортивную куртку с серой вставкой на плечах. Его сухой, пристальный взгляд не отрывался от Васьки Ивантеева. А тот, сидя рядом с девушкой, на правах старого знакомого задавал ей вопросы.

— Как вам нравится наше жилище? — при этом он шевелил ложкой в супе, а девушка поднимала плечо, отгораживаясь от него. — И долго вы хотите у нас пробыть? — не унимался Васька. — Ах, даже до конца! Очень прекрасно!

Девушка так и не опускала плеча. На ней был старенький лиловатый свитер, заштопанный на локтях, а поверх свитера она выпустила белый воротничок. Черные волосы ее были зачесаны за уши и, не достигнув воротничка, раздваивались, разбегались врозь. Щеки и уши отошли в тепле и пылали тяжелым огнем. Багровыми, все еще дрожащими пальцами, напряженно поглядывая по сторонам, она взяла лепешку, и сразу же Васька спросил:

— Как вам нравится наш хлеб?

— Ешь, дипломат! — недружелюбно одернул его Снарский.

Ему не очень-то хотелось, чтобы в беседе с новым человеком представлял бригаду Васька, у которого и было-то всего-навсего пять классов. Он приказал глазами Залетову: говори, инженер! Но Павел и на него посмотрел издалека, как лунный житель.

— Познакомимся! — заговорил тогда он сам.— Это теперь наш кладовщик. Завтра она наведет полный учет и чтобы никаких пререканий. Зовут ее Клава. А ну, попытаем ее. Скажи нам, лыжница, как надо хранить мелинит и детонаторы?

Клава мгновенно поднялась.

— Взрывчатые вещества и средства взрывания надо хранить в разных местах.

— Умница, — сказал дядя Прокоп. — Умница. Иначе может получиться что?

— Если воздействует внешний фактор, может получиться взрыв...

— Да-а, — загадочно протянул Прокопий Фомич, внимательно оглядывая Клаву. И сразу хмуро принялся за суп, как только встретил ее сияющий взгляд.

«Вот он, внешний фактор», — подумал Прокопий Фомич, усмехаясь.

— Ну, что ты нам привезла, рассказывай. Да ты садись, хлебай, а то к добавке не успеешь.

— Дядя Прокоп! Она нам Форда привезла, — сказал Васька и хохотнул в миску. — Подарочек!

— Мы его уже поставили в гараж, — добавил Мусакеев.

Клава посмотрела на них, помедлила и дала ответ:

— Прасолов сказал: для взрывников нужен самый спокойный конь.

«Язычок!» — подумал Снарский.

Поздно вечером Прокопий Фомич, накинув полушубок, обошел с «летучей мышью» все хозяйство. Он был невысок ростом, фонарь его плыл на сантиметр от земли. Подбросив Форду сена и осмотрев заправленные буры, Снарский погасил фонарь и вернулся в землянку. За столом перед керосиновой лампой Павел — суровый, с засученными рукавами — раздвигал логарифмическую линейку. Он пробился уже на третий курс заочного института. На нарах, негромко гогоча, возились ребята — всей артелью давили Ваську Ивантеева, и тот пыхтел под подушкой, ловя долговязой ногой стену. Потом он взревел, ликуя, «мала куча» перевернулась, и сразу же, как курчонок, запищал внизу Саша.

Прокопий Фомич подкрался, двинул несколько раз кулаком в шевелящийся клубок и ушел на свою половину. Здесь, около печи, на топчане, натянув одеяло до ушей, покрытая сверху Настиным серым платком, спала Клавочка. Рот ее был приоткрыт, белели чистые, как молоко, зубы.

Прокопий Фомич быстро разделся, дунул на лампу и полез к себе под занавеску.

— Ты чего усмехаешься, Проша? — спросила Настя. — Небось четвертинку трогал?

— Тут не четвертинка. Тут побольше... Девка, как по твоему, красивая?

— Будто и сам не можешь разобраться... Саша-то с Тимофеем, — сказала она через минуту, — не разговаривает. Обиделся за что-то.

— Что я и говорю. Беда с ними теперь. Место, место больно неподходящее. Как на льдине. А то бы весело на них посмотреть. Вот она, взрывчатка-то, — слышишь, что творят? Весь день ведь работали — и хоть бы что! Хватит вам, черти, набесились! — гаркнул он, забыв, что рядом спит Клава.

— Ладно, чего тебе? Набодаются — уснут. Взрывчатка... Мы с тобой здесь для чего?

И взрыв, конечно, произошел.

На следующее утро Васька сел за стол чисто выбритый. Он даже брови подбрил. А Саша действительно поссорился с Бородиным — из-за неосторожной шутки по поводу очков. Он подсел к Ваське, оба пошептались и после завтрака вместе ушли на участок Ивантеева.

В полдень, когда по всему ущелью гремела канонада, Снарский, стоя над площадкой, увидел в бинокль Клаву. Ее голубые лыжные штаны быстро мелькали среди гранитных нагромождений. А по сторонам, как разведчики, скользили Васька Ивантеев и Саша. Они выкидывали при этом забавные и рискованные штуки, прыгали чехардой через камни, а Саша даже пробежал по острию гранитной глыбы, нависшей над обрывом, и Снарский протянул вперед руку, чтобы удержать его — Саша был без очков.

Клава не смотрела на них, шла, презирая препятствия, словно нацелилась на одну точку.

— Эгей, лыжница! — крикнул Снарский, когда она подошла ближе. — Куда?

— Дядя Прокоп, Ивантеев четвертую сумку мелинита требует. — Клава остановилась.

— А ты что ему сказала?

— Я сказала, что проверю расход.

— Нет, она не так сказала, — Васька толкнул Сашу на Клаву. — Я сейчас вот скажу дяде Прокопу!

— Ну и скажи!

— Как надо сказала? — Снарский засмеялся. — Так их! Проверь, проверь как следует. Лихачи! Право, лихачи!

Вечером перед ужином Клава уселась за стол, широко раздвинув локти, как школьница. Постукивая карандашом по зубам, она стала вычислять расход взрывчатки: многовато ушло ее за день. Подсели к столу и взрывники — подвести итоги дня. Залетов подвигал своей линейкой, пошептал, оглянулся и увидел, что все уже спрятали карандаши и выжидают.

— Чего это вы замерли? — удивился Снарский. — Что это вдруг? Ну-ка, выкладывайте достижения! Григорий!

Гришука взял мел, подошел к доске показателей, к листу фанеры, поставленному у стены, и, соединив скобкой фамилию Мусакеева со своей, написал — 132.

— Вот это малыши! — удивленно протянул Снарский. — Настя! Смотри, что делается! Рекордный день!

И тогда нехотя поднялся Ивантеев.

— День рекордный, — сказал он, медленно рисуя красивую фигурную скобку — для себя и Саши.

Потом он вывел по очереди единицу, пятерку и тройку — 153!

И странно — никто не закричал «ура», не затопал, радуясь этому успеху.

Клава посматривала снизу на Ваську, на Снарского. Потом взглянула на фанеру и чуть слышно стукнула карандашом по белым зубкам. У фанеры стоял Залетов. Прокопий Фомич из-под руки косо смотрел на него: интересно все-таки, как повернулся сегодня характер у этого всегда занятого студента, у инженера без пяти минут!

А Павел спокойно раздвинул линейку и написал — 118 — то же, что и вчера.

— Павлушка верен себе, — сказал Снарский, светлея. — Ни гром ему, ни гроза. Хорошо тянет. Ровно.

Он снова почувствовал неприятную тишину и удив-

ленно посмотрел на взрывников. Сзади него стояла Настя и чуть заметно качала головой, словно отвечая своим мыслям.

Утром опять заходил пол в землянке, загрохотали горы и острый фруктовый запах взорванного мелинита потянулся над камнями. Прокопий Фомич натянул ватные штаны, Настя обвязала его грудь платком и помогла надеть телогрейку. Он нахлобучил ушанку, похлопал рукавицами и поднялся наверх.

Ах, какое утро, какое яркое горное утро ослепило его! Хрустя снежком, он даже пробежался по траншее, прорытой в снегу. Вышел к скалам и увидел облака прозрачного зеленоватого дыма. Ветер рассовывал их по впадинам и щелям. «Бах! Бах!» — раздалось слева, и бригадир сразу понял: палят Гришука с Мусакеевым.

Потом и справа вдалеке стрельнули вверх две грязнокоричневые пыльные струи, и еще три, и пять — они приближались, словно это гигант одну за другой переставлял свои высокие дымные ноги. И с запозданием донеслись тяжелые удары его шагов.

Великан сделал пятнадцать шагов, положенных ему правилами техники безопасности, и продолжал переставлять свои прямые ноги, точно вышел из повиновения. Все ущелье загрохотало, все камни были разбужены и отвечали тревожными, отрывистыми щелчками на громовые разряды мелинита. «Семнадцать, девятнадцать...» — считал Снарский и вдруг затоптался на краю скалы, полез вниз.

— Я тебе сейчас пропишу! — гудел он в усы, досадливо крякая, и продолжал считать: — Двадцать четыре, двадцать пять... Да ты с ума спятил!

Он побежал по щебню, ударяясь об острые края гранитных глыб. Далеко впереди него вырос последний дымный столб и заклубился, рассеиваясь. Стрельба отступила за горы, постепенно угасая.

— Я накину на тебя вожжу!.. — Прокопий Фомич замедлил шаг. Множество зеленых искр внезапно закружилось вокруг него, и он поднял руку, чтобы разогнать их. — Я пособью с тебя форс! Тридцать зарядов! Ах, чурка бессовестный!

Яркий красный флажок трепетал впереди над камнями, и Снарский остановился.

— Бородин! — крикнул он, оглядываясь. — Эй, кто тут есть?

— Есть! Есть! — защелкало эхо.

И сразу Прокопий Фомич погас, опустил руки. Из-за камней в обнимку вышли двое — озабоченный, испуганный Павел и Бородин. Тимофей странно переставлял ноги, обхватив Павлика за плечи. Он был бледен, на лице чернела размазанная кровь.

— Тимоша, что с тобой? Что с ним?

— Не говорит. — Залетов посадил Тимоху на камень. — Бежал ко мне в укрытие и упал.

— Камнем? — Дядя Прокоп присел на корточки перед Тимофеем. — А, Тимоша?

Бородин вздохнул, не поднимая головы.

— Прямо головой, лицом... Оступился.

— Рвоты не было?

— Нет.

— Ну, ничего, милый. Как же это ты? Не бойся, говори...

— Как начало рваться... Как пошло — совсем рядом...

— Понимаю. А зачем же тридцать-то зарядов положил? Нельзя, инструкция не велит. Шнур — это полтораста секунд. Ты зажигаешь, смотришь, чтоб какой заряд не пропустить, а огонек бежит! Не торопится, но и не ждет, пока ты со всеми тридцатью управишься. Пятнадцать поджег — и хватит! Уходи...

— Ты не прорабатывай меня, дядя Прокоп. Ладно?

— Это уж мы потом решим. Ну, веди его, Павлик. Снежку ему приложи. Пусть полежит до вечера.

Перед обедом один за другим в землянку стали подходить взрывники. Они спускали с плеч и ставили к стенке свои брезентовые сумки, снимали телогрейки и молча садились на нарах около Бородина. Тимофей, не глядя ни на кого, усердно караулил огонь в печке, подбрасывал дрова. Волосы его были начесаны на лоб до бровей, и все же на переносице был виден край большого ржавого пятна — Настя не пожалела

иода. Нос Тимофея стал шире, голубая опухоль наплыла под глазом.

— Бородин остался невредим, — шепнул Васька Ивантеев.

Гришука толкнул его коленом, косясь на Снарского.

Прокопий Фомич загадочно молчал за дальним концом стола. Выпятив кадык, он рассматривал прогнутые жерди потолка. Когда все собрались, он разгладил обеими руками седые волосы вокруг плеши и сказал:

— Клавы нет? Начнем без нее. Давай, ребята, к столу.

Подумал, посмотрел на ребят и, отодвинув лавку, ушел на свою половину. Он молча полез под занавеску, отбросил в сторону подушки, вытащил из угла знамя в зеленом чехле и вышел к бригаде. Там, у стола, он снял со знамени чехол, обнажив знакомый всем ярко-розовый шелк и желтую бахрому. Прокопий Фомич развернул полотнище, полюбовался золотым шитьем и поставил знамя к стене, так чтоб были видны слова «лучшему коллективу».

— Когда-то бригаду Снарского считали лучшим коллективом, — он с удивлением покачал головой. — Президиум будем выбирать для ведения? Чего молчите?

— Не надо президиум, — сказал Мусакеев.

— Не надо, так не надо. Я хочу поставить вопрос, — железный басок Снарского прорвался и гневно задребезжал. — Я хочу поставить вопрос так: не рано ли дали нам это знамя? Как по-вашему, можно держать переходящее знамя строительства там, где творится безобразие? А, рекордсмен? — спросил он, глядя на Ваську Ивантеева. — Достоин ты знамени? — И Васька опустил свою белесую голову. — Все-таки чувствуете... — дядя Прокоп смягчился.

Он чиркнул спичкой, стал раскуривать трубку, высоко подняв брови над огоньком.

— Я, конечно, уверен, серьезное испытание вы выдержите, как один, все. А вот пустячок, оказия — и вот они вы, оплошали. И рюмку не пили, а дел вон сколько натворили! Давайте в корень посмотрим.

Тимоша, скажи нам, чего ты хотел? Встань! — загремел бригадир, поднимаясь, и застыл, держа трубку в кулаке.

Тимофей встал.

— Я тебе сейчас скажу, чего ты хотел: чтобы всех ребят окончательно посрамить, а самому в герои выйти. Не так, что ли? И ты, Василий. Где ты раньше был со своим рекордом? И Сашка — вон он, до сих пор очков своих гнушается. И ты, Григорий, не лучше. А из-за чего? — дядя Прокоп развел руками, улыбнулся хитро. — И это ясно! В мое время такой вопрос кулаком решали. Или богатством — у меня, мол, гармонь новая, я первый парень. И у вас, по существу, то же. Чистейший пережиток капитализма. Это в нашей-то бригаде!.. Постойте, я что-то запутался. Ведь вы капитализма-то и не видали!

— Дядя Прокоп! — Гришука встал рядом с Тимофеем.

— Погоди. Вы — взрывники, вы должны помнить, для чего вы посланы сюда. Прежде всего — цель. Как только подумаешь о цели, она тебя сразу просветит. И двести процентов дашь, и триста — и никаких нарушений не сделаешь! Тогда и людей к тебе потянет, Вася. Не надо будет и брови подбривать.

В это время хлопнула дверь тамбура.

— Вот и она, — сказал Снарский.

В землянку вбежала Клава, обвязанная серым платком до глаз.

— Сядь сюда, Клавочка. У нас собрание.

Клава размотала платок, сдвинула его на плечи.

— Ивантеева с Сашей отругайте, Прокопий Фомич. Очень они вредные.

— Уже отругал, — сказал Снарский. — У меня вот штука есть, — он поднял над столом бинокль и погрозил. — Всех проверю. Вот Павлик. Все бы так каждый день дяде Прокопу по сто восемнадцать процентов выкладывали. Без беготни. Смотришь, к Маю весь план свернули бы. Так я повторяю, — Снарский поднялся, и Тимофей, почувствовав строгость в голосе бригадира, опять встал. — Повторяю: будем бороться за то, что написано у нас на знамени. За оба слова:

за «коллектив» и за «лучший». А ты, Клава, бери Тимофееву сумку. Вместо него пойдешь. Я отстраняю его от взрывных работ на неделю.

После обеда Залетов посидел за столом, подумал, потом хлопнул себя по коленям и пошел к нарам одеваться. Он перепоясался поверх коротенькой телогрейки широким ремнем, завязал под нижней губой ушанку, повесил на плечо сумку и, натягивая рукавицы, рослый, занимая почти всю землянку, прошел к выходу.

— Готова, что ли, Баринова?

— Готова, Залетов, — сказала Клава сквозь платок, и глаза ее засмеялись в треугольном окошке.

Взрывники проводили их любопытными взглядами. Саша был уже в очках, и по этому поводу Васька, одеваясь, заметил:

— Гляди, ребята, Пискунов уже поборол пережиток.

Не одевался только Тимофей. Прямо от стола он пошел к печке и взялся за кочергу. Снарский, уходя, положил на нары книжку.

— Зубри технику безопасности, Тимоша. Не серчай.

И опять заходила канонада по ущелью, и за белыми снежными зубцами ожила, защелкала, отвечая взрывникам, сияющая горная страна. Прокопий Фомич до вечера с биноклем лазил по камням и кручам. Он ждал: будет ли еще взрыв или уже окончилась серия? Нет, все шло нормально. Только Гришука один раз тайком от Мусакеева прикусил капсюль зубами — чтоб лучше держался.

«Похоже, что взрывчатка сгорела», — подумал дядя Прокоп вечером, когда взрывники стали выписывать на фанере свою выработку за день: Саша с Ивантеевым дали всего лишь 114 процентов. Снарский сумел разгадать и согласное молчание бригады — ребята наблюдали за Павлом и Клавой. Но и здесь все было в порядке — Залетов как пришел, даже не оглянулся на кладовщицу. Он разложил на столе свои книги, снял с крючка лампу, и лицо у него еще больше вытянулось, а на лбу залегли две толстые складки.

— Занимайся, — сказала Клава, прошла мимо него на цыпочках и двумя пальцами простригла его волосы.

Она повесила на гвоздь телогрейку и, напевая, ушла к Насте готовить ужин.

И на следующий день и через неделю в землянке звучало тоненькое «ту-ру-ру» — все шло спокойно. А потом, вот так же вечером, когда все собрались за столом и достали карандаши, Клава вдруг подошла к фанере, стукнула мелом и остановилась.

— Дядя Прокоп!

Снарский оглянулся. Под красноватыми пальцами кладовщицы стояла большая меловая цифра — 2. Не скрывая радости, Клава оглянулась на взрывников, поправила локтем волосы, нарисовала рядом с двойкой большой нуль и опять оглянулась.

— Пиши до конца! — закричал Снарский.— Настя! Смотри, что делается!

Клава еще раз стукнула мелом, и получилось — 201.

И опять, как в тот раз, забежала в землянку тишина. Только сейчас все было по-другому, и по-новому остро блестели очки Саши.

— Пашка, поделись! Как это вы?

— Как удобней, — сказал Залетов и засмеялся.— Так ты спрашиваешь, как будто мы сороку служить научили. Вон Клава сейчас всем растолкует. Давай, Баринова, растолкуй.

— Э-э, нет! Второпях — это я не признаю, — Снарский твердо положил руку на стол. — Завтра кончаем на час раньше — и милости прошу на лекцию. А бригадиру разрешается и сейчас узнать, — он ухмыльнулся. — Айда со мной на кухню, мастера!

На кухне около печки дядя Прокоп выспросил у Клавы и Залетова все до тонкостей, все, кроме одного вопроса. Этот вопрос он так и не смог задать, начал чесать спину, косо поглядывая на Клаву, подыскивая самые неопределенные, безопасные слова.

— Молодцы, — сказал он наконец и положил руки им на плечи. — Благословляю! Так и продолжайте, в том же духе. У вас пойдет!

На следующий вечер взрывники собрались слушать лекцию. Прокопий Фомич занял председательское

место, посмотрел на бумажку, куда он весь день записывал тезисы, и начал вступительное слово.

— Мы, взрывники, — передовой отряд, — сказал он между прочим. — Мы — артиллерия, с нас начинается бой. Взрывники идут впереди. Бригада маленькая, а открывает фронт для целого участка. Мы должны молниеносно и чисто сделать свое дело, разворотить к лешему все скалы и убраться на новые позиции. И, дай бог не сглазить, начали мы не плохо. Сейчас Клава и Павлик нам расскажут: простая штука, никакой хитрости нет, а мы через это дело будем вдвое сильнее. Давай, Клава, выходи на трибуну.

Клава перевернула фанерный лист, взяла мел. Она нарисовала у самого края крестик, похожий на человечка, — «это Залетов», — и хитро посмотрела на Павла. Потом провела от «Залетова» прямую линию и на другом конце ее поставила еще один крестик — «это я». А посредине расставила двенадцать кружков — «это заряды».

— Вот так мы работали до вчерашнего дня, — сказала она. — Я сторожу, чтобы никто не подошел, а Павлик идет ко мне и поджигает шнуры. Теперь посмотрим, что он придумал.

Она провела под первой линией вторую, через всю фанеру, перечеркнула ее посредине и отложила вправо и влево по двенадцати кружков.

— Теперь у нас две серии, — пояснила она, упираясь мелом в доску и обводя внимательным взглядом всю бригаду. — Понятно?

— Давай, давай дальше, — Васька вылез из-за стола и подошел поближе.

— Во-от. Мы с Залетовым поставили с обоих концов по флажку и идем навстречу. Кладем заряды, каждый на своей серии. Вот здесь мы встретились. Здравствуй, Залетов! Все готово? Все! Ну, до свиданья. И идем обратно, поджигаем шнуры: он у себя, а я у себя. Подожгли, разошлись, я вот здесь около флажка в укрытии стою, а он на том конце. Вот и все.

— Как взрывы считаете, скажи, — напомнил Снарский.

— У нас шнуры разной длины, — сказал Павел из-за лампы. — Сперва у Бариновой серия взрывается, а через полминутки у меня начинает рваться.

— А эффект, эффект?

— Пожалуйста! — Клава ожила, даже как будто рассердилась. — Пожалуйста! Заняты делом не один, а двое. Это не эффект? Охраняют опять же двое, а не один. Нас было шесть в бригаде, а теперь нас двенадцать!

— Какие вопросы к лектору? — спросил председатель.

— У меня вопрос, — отозвался Мусакеев и встал. В продолговатых черных глазах его кипела незнакомая лихорадка. — Снарский, на моем пикете есть четыре камня. И есть отметка. Стенку на два метра глубже надо взять. Я камни не трогал. Будем делать камеру — побольше заряд добавим. Стенка отлетит, камни вниз собьет. Все будет за один раз!

— Ах ты, милашка! — Прокопий Фомич не донес трубку, замер, просиял. — Ребята! Вот он где, эффект! Послушал — и у самого искра загорелась. Вот она где начинается, красота!

Мусакеев все еще стоял — широкий, одетый в длинную гимнастерку, похожий на маленького толстенького военного. Гришука попробовал посадить его, но малыш даже не шевельнулся, он смотрел на свои камни.

И тут, блеснув очками, вскочил Саша.

— Дядя Прокоп! Послушайте меня! — закричал он, и все засмеялись: еще одна искра! — Дядя Прокоп! Надо так сделать: Пашку и Клаву надо разделить! Павлик пойдет с Гришукой — ему будет показывать...

Клава, стукнув мелом, холодно посмотрела на Сашу. Губы ее дрогнули.

— А Клава еще с кем-нибудь, с Васькой пойдет! — кричал Саша, еще больше разгораясь. — Для передачи опыта! Новое дело-то!

«Эх ты, опыт, зеленая трава!» — подумал Снарский.

— А вы, дядя Прокоп, берите нас с Мусакеевым! И Бородина возьмем! Чтоб сразу. Чтоб без задержки! И Форд пригодится — будет взрывчатку возить!

— Ну что ж, — Прокопий Фомич помедлил. — Ты как, Павлик, приветствуешь такую комбинацию?

И большой, суровый Павел зашевелился, ему стало тесно за столом. Гришука подбежал к нему, горячо зашептал прямо в лицо:

— Меня, что ли, не знаешь? Давай со мной! Он приветствует, дядя Прокоп!

— Что лыжница думает? — спросил Прокопий Фомич. — Может, оставить вас с Павликом?

— Закреплять, что достигли... — добавил Васька.

И Клава вспыхнула.

— Чего мы достигли? Чего? — она резко повернулась к Ваське. — Нет, ты скажи — чего?

Гневная, сдержанная, она положила мел около фанеры и, проходя мимо Ивантеева, убрала локоть. Залетов, глядя на нее, чуть-чуть подвинулся. Снарский заметил этот сигнал. Но тут же рядом с Павлом на лавку вспрыгнул Гришука.

— Павлик, мы с тобой завтра — ох, и дадим!

Клава тряхнула волосами и села около Снарского. Наступила тишина, она медленно остывала, и когда остыла, Васька кашлянул, попробовал голос:

— Вроде и расходиться не хочется. А, дядя Прокоп?

— А чего нам расходиться?

Снарский встал и быстренько ушел к себе.

— Вечер наш, землянка наша, — сказал он, появляясь в проходе, перелистывая на ходу большую книгу в газетной обертке. Это означало, что у дяди Прокопа очень хорошее настроение. — Чего мы тогда читали? — Он надел очки. — Про Балду читали? Ну, тогда давай про царевну и про семерых богатырей. Нас как раз семеро, богатырей-то.

Все заерзали на лавках, подсели.

— Без меня не начинайте! — крикнула из прохода Настя. — Иду!

Снарский подождал, окинул всех беглым взором, дремучим, как сказочный лес, и возвестил:

— «Царь с царицею простился, в путь-дорогу снарядился...»

Начался один из тех неожиданных семейных

вечеров, которыми Снарский иногда заканчивал удачный рабочий день. Взрывники притихли. Перед ними, воинственно светясь, крутя над головой пальцем, играя бровью и плечом, выступал их маленький старичок.

— «Белолица, черноброва», — прочитал он, остановился, лишь остановился — и Клава заулыбалась.— «Нраву кроткого такого», — продолжал он смиренно, и взрывники, конечно, поняли, о чьей кротости идет речь. Они уже узнали этот кроткий нрав!

И наступил такой момент: Снарский умолк, пробежал глазами страницу, крякнул с удовольствием и поднял палец.

— «Старший молвил ей: «Девица, знаешь: всем ты нам сестрица, всех нас семеро, тебя все мы любим, за себя взять тебя мы все бы рады...»

И, разведя руками, дядя Прокоп резонно ответил за царевну:

— «Для меня вы все равны, все удалы, все умны, всех я вас люблю сердечно; но другому я навечно отдана. Мне всех милей королевич Елисей». Вон как отбрила, — сказал Снарский. — Смотри-ка! «И согласно все опять стали жить да поживать».

Дочитав до конца, он со вздохом закончил:

— «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», — хотя эти слова вовсе и не были там напечатаны.

— Клава, кто же у тебя королевич Елисей? — спросил Васька в тишине.

— Вот еще! — Клава покраснела, сердито отодвинулась. — Нужно мне!

— Нельзя и спросить! Ты не обижайся. Ты скажи нам все-таки.

Кладовщица не ответила.

— Клав!

— Дурак! Пристал... — у нее даже слезы выступили.

— Ужин, что ли, собирать? — осторожно спросила Настя.

— У богатырей о таком деле не спрашивают, — расправляя плечи, сказал Снарский.

Прошло два месяца — декабрь и январь. Склад взрывчатки опустел наполовину. Порожние ящики из-под мелинита Клава вымыла горячей водой, просушила и сложила штабелем в снежной траншее.

Каждое утро пол землянки начинал вздрагивать от частых подземных ударов. Они чередовались — то дальше, то ближе, то сразу вместе, перекатом по всему ущелью.

— Даже на слух заметно, что другая работа идет, — говорила Настя, провожая Прокопия Фомича. — Как ты думаешь, там слышат?

— Там? А то нет? У Прасолова сейчас форточка открыта. Он нашу музыку любит!

Снарский был доволен — положение на трассе вполне соответствовало расходу взрывчатки. На тринадцати пикетах лежали все те же гранитные глыбы, но каждая из них была теперь оплетена сетью крупных и мелких трещин. Стоило сунуть лом в одну из этих щелей — и глыба рушилась, превращалась в ворох щебня.

Прокопий Фомич все чаще рисовал на фанере простенький чертежик — линию, разбитую на двадцать пикетов. Он прикидывал, сколько месяцев осталось до конца работы, и получалось — два с небольшим.

— Вот это номер! — изумлялся он, сидя на корточках перед чертежом, почти касаясь лбом фанеры и пуская вверх дымную струйку. — В марте! Вот это задача! Что же дальше делать будем? Придется за цельную скалу приниматься...

Каждый раз, услышав эту беседу Снарского с самим собой, взрывники начинали возбужденно шептаться:

— Тимофей, ты сколько до обеда сделал?

— Сто два. А вы?

— Сто пятнадцать.

— Дядя Прокоп! Павлик с Гришукой опять дали сто пятнадцать!

— А? — Снарский оборачивался к ним.

— Честное слово! Дядя Прокоп, они сами говорят! Не веришь?

Прокопий Фомич, не отвечая, долго смотрел на

ребят, качал головой. Они смущались, начинали тихонько посмеиваться, затевали возню. А дядя Прокоп, совсем присмирев, смотрел, смотрел на них, сидя на корточках, утопив палец в пепле трубки.

Один раз, не выдержав его взгляда, Гришука бросился на Ваську Ивантеева. Тот с хохотом принял его в объятия, придавил, стал мять. Вынырнув из-под его руки, Гришука посмотрел Снарскому в глаза и сказал:

— Дядя Прокоп! Я знаю, о чем ты думаешь. Ты думаешь про нас!

— Я вспомнил, — сказал Прокопий Фомич, медленно поднимаясь, и усмехнулся, — я припомнил, как вы писали свои проценты. Сто пятьдесят, сто тридцать, а хвастовства, обиды на все триста. А теперь вот двести даете — и радуетесь, когда вас перегонят. В чем дело? Может, я не понимаю?

— Это мы чтобы скорее план кончить! — сказал Гришука.

— Пусть он сделает триста, — маленький Мусакеев спокойно подошел к Гришуке. — Пусть пятьсот. Я ему скажу спасибо.

Тут Гришука неожиданно дал ему подножку и сам же полетел на нары.

— Простой человек. Не хитрый, — сказал Мусакеев, смеясь. — Работает хорошо.

Им было весело и просторно в маленькой землянке, где даже повернуться негде — вот нары, а вот уже и стол. Считая взрывы, они не замечали, как убегают дни один за другим. А дни между тем стали длиннее, синева неба гуще, и все ослепительнее были переливы солнца, все теплее становилось спине под этим сияющим весь день горном. Блестящая снежная корка около землянки порозовела, и дядя Прокоп однажды остановил всех около тамбура:

— Кто скажет, что это такое?

— Это от взрывчатки, — сказал Саша.

— Нет, милые. Вы молодые, должны знать. Это простая штука — снежные бактерии ожили. Это самая настоящая весна.

А у Залетова и кладовщицы весна была особенная.

Павла теперь только и видели на трассе, где они с послушным Гришукой неизменно давали по две с половиной нормы, или же за столом, перед лампой, поставленной прямо на учебник. Волосы его уже пора было подстричь. Ложился Залетов позже всех, и ночью, когда все спали, можно было услышать его сосредоточенный, суровый шопот.

Каждый вечер к нему подсаживалась Клава и, захватив локтями четверть стола, начинала выписывать в тетрадке столбики цифр. Она строгала бритвой карандаш и сдувала стружки в сторону лампы, прямо на учебник. Иногда она спрашивала:

— Сколько будет восемнадцать умножить на четырнадцать? Кто скажет? Скорей!

И, конечно, с нар отвечал Васька, и, конечно, ошибался:

— Двести сорок два!

Кладовщица давно уже перестала напевать свое «ту-ру-ру», что-то медленно горело в ней. Как-то утром, когда все одевались, чтобы идти на трассу, Клава невзначай сказала Павлу:

— Залетов, у тебя ватничек на мой рост. Давай поменяемся! Теплее будет и тебе и мне...

И они тут же обменялись телогрейками.

— Тепло тебе? — спросила Клава.

— Небо и земля! А тебе?

Клава кивнула.

И Васька — он всегда был начеку, — Васька подошел к ней со своей телогрейкой.

— Примерь, может и моя подойдет. Надевай, не бойся!

А после того как Клава примерила громадный ватник, Васька сам надел его и пошел к нарам, поглаживая грудь и спину, оглядываясь на взрывников...

— Теперь и мне будет тепло!

Прокопий Фомич стал замечать в Ваське новую черту. По вечерам, когда взрывники, поужинав, сбивались в «кружок бритья» или «кружок моментального ремонта обуви», Ивантеев начинал вдруг пересаживаться с места на место и все оглядывался, все искал что-то.

Один раз, взяв фонарь, чтобы навестить коня, Снарский остановился у выхода и сказал:

— Ты что, Вася, шапку потерял? Вон она висит. Пойдем-ка сена Форду принесем.

На снегу, под звездами, Васька, выдирая из стога охапку сена, обернулся к Прокопию Фомичу.

— Дядя Прокоп! Может, меня еще с кем пошлешь? Я опыту уже набрался!

Снарский смотрел в фонарь, регулируя фитиль. Он не ответил Ваське.

— Честное слово! А то она молчит, молчит. А ты знаешь, я какой. Мне поговорить надо. А то я вроде виноват в чем получаюсь. Дядя Прокоп...

— Подумаю, — сказал Прокопий Фомич.

В середине февраля поздно вечером, лежа за занавеской, он услышал в большой землянке шлепки босых ступней по полу и насторожился.

— Тебе чего? — спросил Залетов. Он, как всегда, сидел за столом.

— Давай-ка отодвинь, Паша, книжечки,— это был голос Васьки — деловой, суховатый. — Давай-ка побеседуем.

Наступила тишина. Пискнуло полено в печке.

— Павлик, — сказал Ивантеев, — хочешь, мы тебе сейчас постановление объявим? Слушай: сего числа, февраля четырнадцатого дня...

— Прокурор! — крикнул Тимофей под одеялом.

— Сего числа... — Васька возвысил голос.

— И до конца работ!.. — с дальнего конца нар в тон ему провыл Гришука.

— Правильно. И до конца... взрывник Залетов заступает с Клавой. А Гришука Мухин переходит в часть полковника Ивантеева.

— Ты о чем это?

— Ничего не знаю. Оглашаю постановление. Подписано всей бригадой.

— Можешь обжаловать генерал-директору взрывных работ! — сказал Саша.

Снарский засмеялся, закашлял. «Ох, господи, ну и выдумщики!»

— Слышишь? Генерал утверждает, — сказал Васька.

Прокопий Фомич поджал ноги, отдернул занавеску. Он хотел было спрыгнуть на пол. Рука Насти удержала его за плечо, и тут в слабом отсвете, отраженном стенкой прохода, он увидел голову и плечи Клавы — кладовщица неподвижно сидела на топчане.

И, поскорее задернув занавеску, перевернувшись несколько раз с боку на бок, Снарский громко объявил:

— Правильно, Вася! Пусть попробует не подчиниться!

Нет, но что же это сделалось с ними? Дядя Прокоп кашлянул и опять повернулся.

— Проша, — шепнула Настя, — я Павлика сразу поняла. Как она пришла к нам, как села за стол, он сразу заперся в себе. Вроде тебя. Ты тоже все молчал...

— Но ребята каковы! А? Ты думаешь, они сейчас так и заснут? Человеку восемнадцать лет — ты знаешь, что это такое?

Утром Снарский убедился в том, что постановление было принято бригадой всерьез. Взрывники затянули завтрак на целый час. Тимофей, Саша и Мусакеев похвалили лапшу и попросили добавки. А Ивантеев с Гришукой наскоро съели свои порции, сахар — за щеку, лепешку — в карман, надели телогрейки и, на ходу подхватив сумки, затопали по доскам наверх.

— Домовые!— сказал Снарский им вслед.— Саша, закрой дверь.

— Подозрительное бегство! — заметил Мусакеев.

Клава допила чай, поднесла ко рту платочек, потом сунула его в рукав и, ожидая приказаний, стала смотреть на дядю Прокопа спокойными, ясными глазами. «Не прошибешь!» — подумал Снарский и, прищурясь, официально произнес:

— Я нахожу нужным восстановить прежний порядок. Для пользы дела.

— Непонятно, дядя Прокоп, — Мусакеев тихонько засмеялся в кружку. — Разъясните, пожалуйста.

— Тебе, Клава, придется опять работать с Залето-

вым. — И Прокопий Фомич с усталым видом протянул ей свой стакан. — Налей мне чайку, и отправляйтесь. Чортова вода! Пей, пей ее, и никакого толку. Солей нет...

— Можно идти? — спросила Клава.

Дядя Прокоп кивнул, прикусывая сахар.

— Ты готов, Залетов? — спросила она, снимая телогрейку с гвоздя.

— Готов, — Павел спокойно шагнул из-за стола.

— Берите крайний пикет, двухсотый, — сказал Снарский.

Повесив на плечи сумки, они молча вышли, постояли у тамбура — и бегом протопали по крыше землянки. Тимофей, Саша и Мусакеев сорвались с мест, без шапок выбежали в тамбур.

— А ну, не подглядывать! — дядя Прокоп поставил стакан.

Но и сам он не удержался — вышел к ребятам. Все трое взрывников тянулись на цыпочках к окошку.

— Наперегонки бегут! — сказал Саша.

Раздвинув ребят, Прокопий Фомич сердито приник к стеклу. Ярко горел под утренними лучами снег, весь в розовых пятнах. И вдали, ломая блестящую корку, проваливаясь по колено, бежали, барахтались и снова бежали две черные фигуры. Они спрыгнули вниз, на площадку, и тогда Прокопий Фомич выпрямился.

— Ну что? Можно так бежать, когда на тебе сумка?

— Запрещается!— Тимофей вздохнул и опять потянулся к окошку. — Убежали...

В апреле к конторе участка верхом на Форде подъехал Залетов — первый вестник с зимовки. По одному только виду лошади все поняли, что у взрывников дела идут хорошо. Форд растолстел в горах и повеселел. Залетов передал Прасолову записку Снарского и в тот же день уехал в город на экзаменационную сессию.

А Прасолов, как только прочитал эту записку, сразу

же застучал кулаком в фанерную стенку — к техникам.

— Полка готова! Собирайтесь к Снарскому! Слыхали? Он еще лишний пикет прихватил!

В первых числах мая, оседлав Форда, начальник сам отправился к Снарскому. Трудно было узнать ущелье. На склонах его, на площадках темнели юрты, издалека похожие на копны сена, голубой дымок курился над скалами, и несколько сот колхозников-добровольцев сталкивали под откосы мелкие камни и высыпали из тачек щебень — все, что осталось от гранитных глыб.

На поляне вокруг землянок зеленели все те же травянистые подушечки. Но сейчас была весна, и каждая из них выбросила вверх свой синий цветок на высокой ножке. Прасолов разнуздал коня и отпустил его. Форд поскакал к своей зимней конюшне.

Снарский был в складе. Вместе с Клавой они пересчитывали остаток капсюлей и укладывали их в картонную коробку. Начальник остановился в дверях и кашлянул. Дядя Прокоп поднял голову, встал. Они умолкли оба посреди склада, четыре руки соединились в крепком пожатии.

— Лев! — сказал Прасолов. — Лев!

Через час они уже шли по трассе, осматривая полку, вырубленную в граните.

— Мы тебе выделили сборный домик, — сказал Прасолов. — Будете теперь жить культурно.

— Культурно! Жить в нем кто будет? Мы народ кочевой. Вот опять перебираемся на новое место.

Он нерешительно посмотрел на Прасолова.

— Ох, и дела были у нас!

— Какие же дела?

— Какие? — взрывник спохватился. — А сам будто не видишь? Вон какие — ударные дела!

— А кладовщица ваша новая как?

— Ты про Клаву? Ничего...— И дядя Прокоп сразу перешел к делу: — Понимаешь, Залетов что придумал! Удвоил нам рабочий день! Давай-ка нарисую тебе, чтоб понятней было. Вот это — заряды. Этот крестик — Залетов. А этот вот... ну, допустим, Снарский...

Они наклонились над теплой гранитной плитой, и камень этот через минуту стал для них широким чертежным столом. И, как всегда получалось у них при встрече, Прасолов и Снарский недолго говорили о зиме, которая осталась позади и казалась теперь совсем легкой. Прасолов изобразил на камне лето, разбил на месяцы и недели, а далекий июль подчеркнул и поставил над ним вопросительный знак.

— Вопрос тебе знакомый. Успеешь?

Дядя Прокоп взглянул на камень — не на вопросительный знак, нет, на свои два крестика, у которых были простые человеческие имена.

— Ответ тоже будет знакомый, — он улыбнулся и покачал головой. — Моя бригада другого ответа еще не давала.



БАТЫР

Дней двадцать назад, взорвав скалы, которые значились по наряду, мы под вечер всей бригадой возвращались домой. Шли по старинной ишачьей тропке, что вилась белой нитью по крутому склону, то взлетая вверх, к гранитным зубцам, то спускаясь к бешеной травянисто-зеленой воде реки.

За рекой километров на пять лежала ровная долина. Кое-где на ней белели петли оврагов и россыпи крупного гравия. Когда-то река блуждала здесь от края до края, пока не нашла себе надежного каменного ложа под скалами. Все поймы и перешейки между оврагами заросли кустарником. Его лиловатая чаща бледнела вдали и словно линией горизонта была отделена от плоских желтых холмов, которым наш бригадир Прокопий Фомич Снарский дал точное название — «прилавки». За «прилавками» поднимался гигантский пепельно-голубой хребет, покрытый снегом, пересеченный сверкающими извилинами ледников.

Под нами, купаясь одним откосом в бурунах, тянулась насыпь будущей железной дороги — знаменитая таштуганная кладка. Таштуган — это вот что: сначала сталкивают в реку тяжелые гранитные глыбы, затем укладывают слой хвороста, сверху опять глыбы, хворост и снова камни поменьше. Наконец, когда кладка

покажется над водой, ее засыпают гранитным щебнем и галькой, и получается стойкая насыпь. На поворотах в эту насыпь ударяет вся сила темной падучей воды. Каменистый склон повторяет эти плещущие удары, а кладка стоит и будет стоять многие десятки лет.

Насыпь была еще не готова. Сверху нам казалось, что камни ее шевелятся, но это двигались между камнями люди. Река была словно атакована пехотой: шел первый месяц массового выхода колхозников на строительство дороги.

Слабый ветер проносил мимо нас запахи костров и кухонной гари. То здесь, то там на склонах показывались войлочные купола юрт, каждый купол — как большой муравейник. Среди камней все ярче и теплее разгорались красные огоньки, далекие и близкие. Плавно поднимались голубые дымы. Далеко вверху остановились растянутые по-вечернему облачка. Все небо горело напоследок, как розовый перламутр.

— Колхозники-то всерьез к делу подошли, — заметил наш бригадир, считая дымы.

Потом его взгляд скользнул вниз, и дядя Прокоп сразу же остановился.

— Хворосту, хворосту что навалили!

По ту сторону реки, у самого берега, стояли длинные вязанки, собранные по нескольку штук, как снопы в суслонах.

— Чудаки! Переправлять они здесь надумали, что ли? Тут камень брось — понесет, а они — хворост!

И, точно в ответ на его слова, на том берегу из-за кустов вышел человек с вязанкой хвороста на плече. Он сбросил вязанку на камни, перевязал гибким прутом и столкнул ногой в воду. Вязанка потонула, выскочила, стала торчком, опять нырнула и поплыла наискось к этому берегу. Здесь ее приняли, развязали узел из прутьев и уложили на каменную кладку. А по реке, прыгая на бурунах, неслись одна за другой все новые охапки хвороста.

— Колдуны, — сказал Снарский, повеселев. — Не пожалею штанов, пусть рвутся. Полезу посмотрю!

Цепляясь за острые грани, мы спустились по сыпучей скале вниз, и Мусакеев первым увидел в воде бле-

стящую проволоку, туго натянутую наискось от берега к берегу. Река послушно работала на колхозников — по этой-то проволоке и плыл к нашему берегу хворост.

Присев на корточки у самой воды, Снарский долго смотрел, как прибывают с той стороны вязанки. Заметив дядю Прокопа, пожилой худощавый колхозник с черно-шоколадным лицом и блестящей угольной бородкой опустил гранитную глыбу и присел рядом с ним. Он толкнул Снарского локтем и кивнул в сторону плывущих к нам вязанок. И дядя Прокоп толкнул его и тоже посмотрел на реку.

— Седахмат, не ты придумал? — спросил он.

— Я придумал бы, честное слово! Поздно приехал — другой человек придумал. Там, дальше, работает.

Мы пошли вдоль насыпи по временной дороге, укатанной колесами грузовиков. Шагов через сто мы опять увидели проволочную переправу, и голый до пояса, желтый и бархатистый от пыли бригадир сразу же стал у Снарского за спиной, ревниво следя за ним.

— Хочу знать изобретателя, — сказал дядя Прокоп, глядя на прыгающую в зеленых струях вязанку.— А, Хафизов? Ты, случайно, не знаешь?

— Нет изобретателя. Все изобретали. Ты посмотри сюда — какой таштуган кладем! Получим знамя?

— Таштуган замечательный. А ты скажи все-таки, кто тебе проволоку эту дал?

— Там, — Хафизов махнул рукой вдаль. — Иди — найдешь.

И, уже не замечая нас, схватил охапку хвороста, поданную ему рекой.

Мы прошли еще несколько бригад. Снарский начинал теперь разговор с похвалы таштугану, который действительно был сложен хорошо — из самых крупных камней. А когда речь заходила о проволочной переправе, нас с неохотой, но честно отсылали дальше — к неизвестному колхознику. Он клал насыпь где-то по соседству.

На восемнадцатом километре, где таштуганная насыпь входила в сумрачные ворота ущелья, мы в последний раз остановились у такой переправы.

— Бойкий, видать, бригадир, — заметил Снарский. — Две проволоки натянул!

В эту минуту высоко над нами раздались отрывистые, испуганные крики: «Ай! Ай! Ай!» — и огромный камень в несколько прыжков пронесся мимо нас и, как снаряд, тяжело лег около насыпи.

Мы подняли головы.

— А-а, вот он где! — сказал наш бригадир и, цепляясь за косо идущие каменные слои, стал проворно взбираться наверх.

Далеко вверху, под самым гребнем скалы, опираясь на ломы, как вооруженная стража, нас ждали колхозники, и среди них очень высокий, тяжелого сложения — Бейшеке Тончулуков.

Бейшеке был в тех же овчинных штанах мехом внутрь, о которые он однажды при мне точил свою кривую, как садовый нож, бритву, прежде чем брить дядю Прокопа. Заправленная в эти штаны солдатская гимнастерка, белая от многих стирок, обтягивала его упругий, выпуклый живот, похожий на щит богатыря.

Еще в первые дни знакомства Снарский оценил силу Тончулукова и решил сделать из него бурильщика. Он давно искал такого человека — сильного, упорного, способного не дольше чем за три часа пробить в граните погонный метр шпура. Однажды, заманив добродушного великана к себе в землянку и поставив на стол самовар, дядя Прокоп затеял знакомый нам всем разговор. Он разводил руками, изображая перед Бейшеке грандиозные взрывы и проложенные в непроходимых горах дороги. Самовар пустел, гость слушал и качал головой: да, да, он понимал, для чего строят железную дорогу в таких трудных горах. Один только его колхоз может отправить сразу эшелон мяса! Никаких перегонов, погрузил — и на Урал! А коричневые красивые пальцы его при этом быстро шевелились, перебирая деревянные четки, похожие на горсть кедровых орешков, нанизанных на нитку.

— Что это он делал с орешками? — спросил Прокопий Фомич, когда Бейшеке ушел.

— Молился,— ответил Мусакеев.— Нужно сказать

молитву тысячу раз в день. Один раз сказал — один орешек взял, сто сказал — сто орешков. Считать надо.

— Значит, он совсем меня не слушал!

— Зачем не слушал? Два дела делал: руки молятся, а голова про взрывное дело думает.

— У вас и молодые молятся? — спросила Настя, жена Снарского.

— Молятся старики. Бейшеке шестьдесят лет.

— Сколько? — дядя Прокоп поставил чашку. — Я сам видел: у него в юрте кыз ползает!

— Это его дочка, — подтвердил Мусакеев. — В прошлом году родилась.

— В прошлом, говоришь? — Снарский весело задумался, глядя в сторону. — Не-ет, ребята! Так и будет, как сказал: вот эта рука Снарского запишет его в бригаду!

Обещание дяди Прокопа я сразу вспомнил, когда наш бригадир, увидев Тончулукова, проворно полез по слоистой скале вверх.

Мы выбрались на площадку. Здесь, как на собрании, по всему уступу расположились большие и малые гранитные глыбы.

На самом краю площадки, упираясь в колени голыми по локоть руками, нас ждал Бейшеке. Он был в лисьей шапке, широкое безусое лицо освещала ясная, добрая улыбка, с подбородка свисало несколько длинных волосков.

Рядом с ним у большого камня трудились двое колхозников — молодой и старый братья Алиевы. Поддев ломами камень, они кричали, стараясь сдвинуть его с места.

— Здравствуйте, взрывники, — Бейшеке снял шапку — под нею на бритой голове оказалась зеленая тюбетейка — и подал мягкую руку по очереди всем нам.

— Переправа хороша! — басом похвалил Снарский, косясь на Тончулукова.

— Хороша? — переспросил тот. — Тебе нравится?

— Кто придумал?

— Кто придумал? Не знаю. Может, сосед приду-

мал? — и Бейшеке посмотрел в ту сторону, откуда мы пришли.

А младший Алиев округлил красивую бровь, повернулся к нам спиной и большим пальцем через плечо показал на Тончулукова. Оба брата засмеялись, дружно двинули ломами под камень, приседая и вскрикивая, стали его раскачивать.

Так вот он, изобретатель! Стоя боком к Тончулукову, Снарский начал заряжать свою трубку. Он окинул Бейшеке быстрым взглядом — с ног до головы. Вот неожиданность!

— Бейшеке, — сказал он, — я и не знал, что у тебя такой талант!

— Маленькое дело. Не надо больше говорить.

— Давай не виляй. Туннель будешь со мной строить?

— Вот видишь? — старик подошел к Алиевым. — Вот мой туннель.

Братья умолкли и отступились от камня. Бейшеке наклонился, словно хотел обнять свой живот. Пальцы его, проворно ощупывая выступы, скользнули под камень, лоб и затылок потемнели, ухо прилегло к граниту. Бейшеке улыбнулся нам на миг и закрыл глаза — и вдруг камень качнулся. Качнулся еще раз и поехал, запрыгал вниз, к насыпи.

— Лети, — спокойно сказал Тончулуков, глядя вниз.

— Батыр! — крикнул сзади нас младший Алиев.

А Снарский ухмыльнулся в ус и сжал трубку в кулаке.

— Бейшеке, — он выступил вперед со значительным видом, — а что ты будешь делать с этим дикарем?

И, выждав долгую паузу, он сплюнул на гранитную глыбу высотой в два человеческих роста. Колхозники выпрямились, ломы перестали звенеть.

— «На месте лежи», скажем, — ответил Тончулуков.

Его удивил вопрос Снарского — я заметил это по быстрому взгляду старика.

— Э, да их здесь целый выводок! — дядя Прокоп

прошелся между камнями, пиная каждый сапогом. — Эти тоже останутся на месте? И этот?

— Силы нет, — Бейшеке улыбнулся.

— Мусакеев, — равнодушно проронил Прокопий Фомич, — посмотри в сумке, осталась у тебя сила?

— Есть! — Мусакеев сразу понял Снарского. — У взрывников всегда есть сила про запас!

— Действуй, — сказал дядя Прокоп, садясь на плоскую плиту, и стал раскуривать трубку.

Колхозники окружили Мусакеева. Малыш молча насыпал на четырех камнях по горке желтой соли, затем достал из сумки четыре метровых отрезка бикфордова шнура с картонными папиросками на концах. Он воткнул концы запалов под взрывчатку и высыпал сверху на заряды по две горсти земли.

— Гришука, Вася,— коротко приказал Снарский,— марш на дорогу! Бейшеке! Кричи людям, чтоб уходили.

Тончулуков сразу же вышел на край площадки, закричал: «Кеткиле! Кеткиле!» — и замахал руками. Когда насыпь внизу опустела, Мусакеев вытянул из кармана еще один отрезок шнура — контрольный — и сунул конец его в трубку дяди Прокопа. Шнур резко зашипел.

— Теперь, Бейшеке, уходи, — он подошел к первому камню и прикоснулся горящим концом шнура к холмику земли, и второй — боевой — шнур задымился и зашипел.

Все побежали по площадке прочь от камней.

Через пять минут мы стояли перед теми же глыбами. Но каждая из них словно получила хороший удар молотом. Прокопий Фомич взял лом и развалил одну из них на куски.

— И ты бы силу такую имел, — сказал он Тончулукову. — Что задумался? Сдавайся!

Младший Алиев засмеялся.

— Не видишь — фитиль горит. Дай догореть. Сейчас Бейшеке взорвется.

— Послушай, Снарский, — сказал Тончулуков после долгого раздумья. — Пусть сила остается у тебя. Взорви нам еще этот камень. И этот, и здесь скалу

разбей, и еще здесь, и здесь, и там — все эти камни. Можешь?

Снарский не ответил.

— И тот большой камень, что ты плевал, — его разбей на куски, — продолжал Бейшеке, не замечая смущения дяди Прокопа.

— Взрывчатки нет, — проговорил Снарский, нерешительно поглядывая на Тончулукова. — Надо на склад идти.

— Мы можем сходить, — предложил Бейшеке. — Пять пудов клади сюда, — он показал на свою спину.

На следующее утро мы взорвали все глыбы. На площадке теперь получился склад делового камня. Бейшеке горячо поблагодарил нас и сразу куда-то исчез. Его помощники сидели на камнях, громко разговаривали по-киргизски, улыбались, встречая наши взгляды, и, между прочим, следили, чтобы мы не ушли. Как только Снарский поднимался, они несмело загораживали ему дорогу.

— Посиди немножко. Сейчас Тончулуков придет. В бурильщики возьмешь его.

Минут через двадцать мы услышали внизу голос Бейшеке:

— Эй, Снарский!

И Прокопий Фомич стал спускаться к нему по скалам.

Я увидел: внизу, из-за камней, поднялись два человека, почтительно подали руки нашему бригадиру и помогли ему сойти на дорогу. Я узнал худощавого, с черной бородкой Седахмата и голого до пояса, запыленного Хафизова.

Когда мы спустились к дяде Прокопу, он, сняв фуражку, чесал мизинцем плешивое темя.

— Скажи сразу, Бейшеке: сколько бригад за ночь обежал? Кто теперь за меня туннель будет пробивать? Мне, мне помощники нужны, а ты хочешь Снарского по рукам пустить!

— Думай как следует, Снарский, — говорил сильно обеспокоенный Хафизов, а Бейшеке, как огромная тень, молчал у него за спиной. — Думай. Два часа вся работа. Мы соревнование с Бейшеке подписывали. Он

теперь, конечно, знамя берет — ты ему на месяц выполнение сделал. И мне сделай, понял? Тогда будет справедливо.

— Снарский, видишь, — Тончулуков честный человек, — вмешался Седахмат. — Прибежал ночью, разбудил, сказал. И ты, пожалуйста, подумай. Равенства не будет, понимаешь? Не торопись, сядь сюда, я тебе фуфайку подстелю. Табак есть хороший. Садись, Снарский, подумаем!

— Вмешались мы в их соревнование, — крякнул дядя Прокоп. — Придем! — горько и решительно объявил он. — Сами виноваты. Сверхурочно сделаем. Ошибку дали.

— Какая ошибка? Зачем сверхурочно? — Бейшеке радостно заулыбался, обнажив чистые зубы. — Таштуган быстро будем класть! Линию положим, транспорт в ущелье пойдет! К твоему туннелю бурильщиков повезем! Заявку надо? Пожалуйста. Сегодня подпишем.

Через несколько дней всем взрывным бригадам дали срочные наряды: дробить камень для таштугана. Прошла еще неделя, и однажды вечером в землянке Прокопий Фомич развернул областную газету и, мотнув головой, сразу положил на стол.

— Ах, слепота! Взяли Снарского и под руки привели: на, бери, исполняй, если сам разучился новое видеть. Вот она, узость!

В газете крупными буквами было напечатано:

«Месячный план — за десять дней до срока! Пять километров таштугана! Привет новаторам народной стройки!»

Дядя Прокоп даже крякнул, положив руку на лист. Со страницы на него смотрел лучший бригадир и новатор Бейшеке Тончулуков. Старик смеялся, опираясь на лом.

Под воскресенье мы закончили работу рано, все по той же причине: нам не хватало бурильщиков. И дядя Прокоп вдруг сказал:

— Поедем к Бейшеке. Батыр закончил свой таштуган — домой укатить может.

Мы вышли к складу, где всегда грузились продуктами колхозные автомашины, и сразу увидели знако-

мую трехтонку, выкрашенную в голубой цвет, как красят детские кроватки. Эту машину Тончулуков пригнал на стройку из колхоза, хотя такого пункта в договоре и не было.

Бейшеке уже шел нам навстречу, не снимая со спины тяжелого мешка.

— Здравствуй, Бейшеке! — закричали мы наперебой. — Что здесь делаешь?

— Еще неделя. Будем класть таштуган до конца, другим бригадам поможем. Триста процентов сделаем, тогда поедем в колхоз.

— Поезда скорей пойдут! — весело крикнул из ворот склада младший Алиев. — В Москву поедем! Метро смотреть!

— Давай, Снарский, на машину, — пригласил Бейшеке. — У меня ночуем. «Максим» будем пить. Ты пил когда-нибудь «максим»?

Когда грузовик тронулся, в кузове нас стояло человек восемнадцать. Мы все держались друг за друга. Машина неслась по временной дороге, делая крутые повороты и неожиданные прыжки.

— Как на фронте! — крикнул мне молодой Алиев и тут же забарабанил кулаком в крышу кабины. — Стой! Стой!

Шофер затормозил и выскочил из кабины. Почти все пассажиры спрыгнули на дорогу и побежали вниз, к реке. Там, по готовой галечной насыпи, оглядывая откосы, медленно двигалась комиссия — запыленные люди в сапогах и телогрейках. Один из членов комиссии нес свернутое знамя в сером чехле.

— Знамя покажи! — кричали мои соседи по машине, сбегая к насыпи.

Они окружили комиссию, и вскоре между ними мелькнул и заполыхал пунцовый шелк, окруженный желтой бахромой.

Знамя рассматривали долго. Затем не спеша вернулись к грузовику, и машина тихонько двинулась дальше.

— Новое знамя, — негромко сказал кто-то.

— Передовой бригаде стройки! — повторил мой сосед надпись на знамени.

— Народной стройки, — серьезно поправил его Алиев-старший.

Снарский молча слушал их, зорко поглядывая на Бейшеке. Пока грузовик стоял, Бейшеке ни разу не посмотрел на знамя — ходил вокруг машины, ударяя каблуком по баллонам.

— Такое знамя в колхоз привезти и повесить в правлении! — сказал мой сосед.

— Не привезешь, — Снарский схватил Бейшеке за ремень, чтобы не упасть. — Знамя переходящее. Через месяц отдавать надо. На вечное хранение возьмет тот, кому присудят в последний месяц.

— Тончулукова надо в последний месяц послать! — закричали сразу несколько человек. — Тончулуков, оставайся! Бейшеке, почему молчишь?

— Почему молчишь? — спросил Алиев-младший. — Не слышишь, — про тебя говорят!

— Встань, — сказал ему Бейшеке. — Зачем на пшено сел?

Юрта Бейшеке стояла на возвышении в двадцати шагах от готовой насыпи. Нас осталось в грузовике не много — бригада Снарского, Бейшеке и братья Алиевы. Спрыгнув с машины, мы поднялись к юрте, осмотрели оттуда насыпь и похвалили своих хозяев. Насыпь и впрямь была сделана хорошо — вся вытянута, как по линейке, а откосы срезаны словно по шаблону. Горы у входа в ущелье отражали ровный и мощный шум реки, которая теперь сузилась на четверть и неслась еще быстрее.

— Шутки шутками, — сказал Снарский, — а знамя может попасть как раз в эту юрту!

Бейшеке не услышал похвалы. Молча откинул полог юрты и пригласил нас. Мы вошли и уселись кружком на кошме. Бейшеке взял на колени свою маленькую кыз. Его жена внесла большой самовар и рассыпала перед нами на полотенце желтые и серые лепешки.

— «Максим»? — спросил Снарский, постучав кулаком по большой овальной бочке, что стояла у входа.

— Ночуем сегодня. Завтра пьем, — сказал хозяин.

В это время внизу, у насыпи, прошуршал грузовик и остановился. Оба Алиевы поспешно вышли из юрты. Вскоре они вернулись и сели на кошму.

— Еще никому не отдали. Идут дальше, — сказал Алиев-старший.

— Утром будут у нас! — крикнул его брат, упал назад, на локти, затопал ногами и засмеялся, косясь на Тончулукова. — Слышишь, что говорю? Бригадир!

Бейшеке, поставив на пять пальцев фарфоровую кисе, тянул темнокоричневый чай и спокойно продолжал беседу со Снарским. Прокопий Фомич все еще надеялся увидеть Тончулукова в своей бригаде. Они говорили о знамени.

— Все равно, кому присудят, — спокойно рассуждал Бейшеке. — Кто лучше работал, тому будет знамя. Хафизову присудят.

— Я тебе говорю — ты возьмешь! — сверкнув глазами, вполголоса гудел Снарский. — Это гордость всего колхоза! Это же дорога! Это жизнь! На все века! Внуки твои поедут в Москву, будут говорить: Бейшеке строил эту дорогу!

— Пускай Седахмат возьмет, — отвечал Тончулуков, не шевелясь, закрыв глаза и потягивая чай.

Когда самовар опустел, жена Тончулукова постелила нам новую, всю в малиновых и белых разводах, кошму и сверху бросила несколько ватных одеял. Мы улеглись. Ночью через каждый час в юрту заглядывал свет автомобильных фар. Молодой Алиев вскакивал и неслышно выходил из юрты. Затем возвращался, они шептались с братом и курили.

Один раз я ясно расслышал слово «комиссия». Младший Алиев сказал, что комиссия осталась ночевать у Седахмата и там рады, все что надо покажут. Знамя, конечно, дальше оттуда не пойдет.

Жена Тончулукова, опираясь на локоть, молча слушала этот шопот. Посреди юрты чуть тлели и попискивали вишневые угольки. Алиев-старший не переставая курил, и его волнение передавалось всем. Один только Бейшеке спокойно спал.

— Видишь, как спит. Батыр! — сказал мне молодой Алиев и тут же шепнул на ухо: — Он все слышит. Смотри, как спит! — добавил Алиев громче. — Даже пульс остановился! — Он громко засмеялся, поднял и бросил тяжелую руку Бейшеке, но и это не разбудило великана.

Рано утром мы собрались пить «максим» и сели в кружок. Бейшеке не торопясь помешал скалкой в бочке, расшатал затычку, и струя жидкого пенистого теста ударила в глубокую миску.

Алиев-младший вдруг поднял голову, замер на секунду и выскочил из юрты. Совсем рядом, ниже юрты, я услышал знакомые голоса. Мы вскочили, вся наша бригада, все, кроме Бейшеке. Яркое утро ослепило нас, когда мы выбежали наружу. Но мы хорошо разглядели внизу, на гладкой, как доска, насыпи, каждого из членов вчерашней комиссии и знамя в чехле. Один из них спустился по откосу и смотрел вдоль насыпи, словно брал горы на прицел.

— Какой колхоз строил? — раздался его резкий бас.

— Колхоз Кирова будет, — сказал молодой Алиев. спускаясь к нему.

— Кто бригадир? Как фамилия?

— Фамилия Тончулуков, товарищ начальник.

— Правильно я записал? Ток-чу-лупов?

— Неправильно. Давайте я вам напишу.

Алиев, весь светясь любопытством, взбежал на насыпь и старательно записал в блокнот фамилию бригадира. Он даже приподнял листок и заглянул под него, но узнать ему ничего не удалось.

Комиссия тронулась дальше по насыпи.

Проводив знамя разочарованными взглядами, мы пошли к юрте и, подняв полог, увидели Тончулукова. Старик зорко следил за комиссией, сжимая в руке мокрую деревянную затычку.

Алиев нырнул под полог.

— Почему мокро? — он протяжно свистнул. — Хозяин, затычку давай! — закричал он. — «Максим» вышел из бочки на комиссию посмотреть!

Через три или четыре дня мы узнали, для чего комиссии потребовалась фамилия Бейшеке. Тончулуков все-таки получил знамя. Получил — и в тот же вечер исчезли и его юрта, и голубой грузовик, и он сам.

Вскоре после этого мимо нашей землянки потянулись обозы и караваны — первый месяц массового выхода на стройку истек, и колхозники ехали по домам. Навстречу им с песнями — в машинах, верхами и на повозках — двигалась новая смена: начинался второй месяц.

И вот однажды у нашей землянки затормозил голубой грузовик. Первой из кабины вышла жена Тончулукова, и на руках у нее была маленькая кыз. Затем спрыгнул на землю и сам Бейшеке, спрыгнули оба брата Алиевы и еще четыре незнакомых нам колхозника. Они сбросили на землю кошмы и прутья для юрты и задымленный казан. После этого Бейшеке снял шапку (мы все у окна следили за ним) и, нагнув голову, шагнул к нашей двери, которая сама перед ним отворилась.

— Бурильщики приехали, — сказал Бейшеке. — Нужны?

— Настя, самовар! — шепнул дядя Прокоп и быстро застегнул косоворотку.

Почему Бейшеке вернулся на стройку? Снарскому не терпелось задать этот вопрос. Когда на столе появился самовар, он налил гостям крепкого чая и, шаркнув лавкой по полу, ловко придвинулся к Тончулукову.

Бейшеке не торопился. Расспрашивая дядю Прокопа о том, как продвигается дорога, он выпил шесть или семь чашек чаю.

— Снарский, — сказал он наконец, — у нас было собрание. Колхоз спрашивает: останется у нас это знамя второй раз, если мы будем лучшие бурильщики? Подходит эта специальность под условия?

— А как же! — дядя Прокоп отобрал у него пустую чашку и поднес к самовару. — Обязательно! Бурение — самая трудная работа!

— Этого мы не боимся. Значит, останется?

— Какой может быть разговор! Не выпускай

знамя, Бейшеке! Смотри только, чтоб Хафизов не отобрал. Хафизов тоже хотел приехать.

— Пускай отберет Хафизов, — и Бейшеке, косясь на своих помощников, неслышно потянул чай из блюдца. Множество веселых морщинок разбежалось на его безусом добром лице. — Пускай старается, может отберет.

Снарский понял его и засмеялся.

— А если и на третий месяц тебе присудят, увезешь свое знамя в колхоз навсегда!

Тут молодой Алиев выглянул из-за самовара и сказал несколько слов по-киргизски. Тончулуков чуть заметно кивнул.

— Снарский, никому не говори, — шепнул Алиев. — Это знамя мы уже увезли! Никому, смотри, не говори — оно уже в правлении висит. Бейшеке сам вешал. Сказал: переходящее знамя пусть висит в колхозе Кирова и никуда больше не переходит!



ДУСЯ И ТИМОФЕЙ

Барак путейцев стоял в долине, в пяти шагах от высокой железнодорожной насыпи. Далеко внизу река, вылетев из-за слоистой скалы, разбегалась в россыпях гальки множеством белых ветвей.

В общежитии были только две женщины. Одна из них — Настя — жена Снарского, пожилая, полная, неторопливая. Она была признанной хозяйкой общежития, хоть и не занимала в бараке табельной должности. Все пятеро взрывников из бригады Гришуки Мухина — бывшие ученики Снарского — были обшиты ею и накормлены за ее гладко выскобленным столом. Из открытого окна Настя весь день слышала, как вздрагивает чистая горная синева, словно по небу ходит гигант. Это взрывники подавали о себе весть.

Остальных тридцать человек — десятников и рабочих путевого строительства — кормила повариха Дуся, молодая жена Тимофея Теренина, что работал машинистом экскаватора. Дусе было двадцать три года. Ходила она в белой поварской куртке, повязав голову кусочком полотна, и повязка эта лишь подчеркивала юную свежесть ее черных волос. Тяжко извиваясь, они стекали из-под косынки, разливались по плечам блестящими вензелями.

В обеденные часы ее можно было видеть в разда-

точном окне кухни. Она стояла, засучив до локтей рукава, сдвинув черные брови, не глядя в зал. Немного избалованная вниманием всего общежития, Дуся смотрела на мужчин свысока. Она не замечала даже Прасолова—чубатого полного добряка, начальника участка.

Прасолов никогда не заходил обедать и вдруг зачастил непонятно почему: шутить не шутит, на повариху не смотрит, — наоборот, повернется к ней спиной и говорит, говорит, только с рабочими, только о дороге. Но Дуся все понимала. И если Прасолов в пылу разговора случайно поворачивался к ней, он видел в раздаточном окне только равнодушную спину поварихи.

Как она ладила с Тимофеем, который лишь на год был старше ее? Никто не знал этого. Машинист переехал к ней недавно. В комнатке молодоженов всегда было тихо. Правда, Настя слышала однажды через фанерную стенку — повариха негромко отчитывала мужа за то, что он перестал ходить домой. Неделю назад Тимофей закончил разработку двенадцатой выемки и перегнал свой экскаватор к пятнадцатой. Здесь ему сказали, что экскаватор может отдохнуть — выемку готовят к взрыву на выброс. А машиниста направили на подмогу к взрывникам. И Тимофей, вместо того чтобы вернуться в барак, пожить с женой неделю-другую, устроился в войлочной юрте вместе со взрывниками и бурильщиками-киргизами. Даже не поругался с прорабом! Остался, нашел себе у них и хлеб и дом.

Тимофей был кругом виноват. Весело, но нетвердо, скороговоркой он отвечал на спокойные вопросы жены.

— Кто же тебе рубаху стирает? — спрашивала Дуся.

— А мы без рубах. Жара! Как спустишься в скалу, на самое дно колодца, скидывай одежки. Постучишь буром часа два — какая там рубаха!

— И ты с ними стучишь?

— А и что ж? Ну и стучу. Последнюю камеру бьем!

— Снарский, между прочим, заглядывает домой.

— Дядя Прокоп — начальник. Его на участок требуют, к Прасолову. Ему можно и домой по пути забежать.

— «По пути»! Думаешь, все такие, как ты?

— А ты сама приехала бы. Приезжай! В машине покатаешься. В камеру слазим! В бадеечку тебя посадим и опустим на самое дно.

— Убери руки! Нужен ты мне...

— Да не я, ты посмотри для себя. Интересно ведь — не камеры, а залы, хоть с машиной заезжай! Скоро взрывчаткой начнем загружать. А там и мой конь пойдет в дело. Слышишь, поедем!

— За сорок километров? А столовую на замок, да? Ты что же, совсем туда перебрался?

— Да что ты! Самое большее — еще десять дней.

На этом закончился их разговор. У барака затормозил грузовик, и сам бригадир, любимец Снарского, Гришука Мухин, крикнув «гоп», одним махом спрыгнул из кузова на землю. Задребезжало оконное стекло под дробью его твердых пальцев.

— Эй, казак! Слезай с печи, целуй жинку, на войну пойдем!

Настя услышала за стеной грохот скамейки.

— Хорош и так будешь, — сказала Дуся.

Громко хлопнула дверь, и Тимофей, ни на кого не глядя, опустив курчавую голову, вышел из барака.

По вечерам, после ужина, обе женщины сидели в комнате Насти у открытого окна, вышивали занавески для столовой и вполголоса пели старинные сибирские песни. Настя, любуясь рукодельем, тоненько и безмятежно выводила верхние колена могучей таежной сказки. Дуся, присмирев, иногда тяжело вздыхая, подпевала ей в лад низким голосом. За окном далеко внизу переливался пенистый шорох реки, горы темнели и надвигались со всех сторон. Рабочие курили, сидя у двери барака прямо на теплой земле, и слушали. Чаще всего в песне говорилось о смелой любви, о безыменной девушке, которая сбежала с *ним* из родительского дома, и *он* оказался слабым, испугался трудной жизни в чужих краях, потерял веру в любовь.

Настя пела легко и улыбалась своим далеким воспоминаниям. Много лет назад, шестнадцатилетней девочкой, услышала она в горах зимой гром и убежала из дому в палатку веселого взрывника Снарского.

Настя не ошиблась. Вот уже четверть века вдвоем странствуют они с одной стройки на другую, и Снарский все тот же: ищет работу потруднее и поопаснее, все так же ругается, придя с собрания, и так же засыпает на ее большой белой руке, как в гнезде, думая о штольнях и зарядах.

Один раз, прервав песню, Дуся осторожно спросила:

— Небось, страшно было, тетя Настя?

— Тут уж не до страха. Собрала узелок и ушла.

Дуся покачала головой, вздохнула. Глаза ее засияли загадочно, недоверчиво. И Настя поняла эту особенную минуту. Затянула нитку, помедлила и тихонько сказала:

— Дуняша...

Дуся так и вздрогнула.

— Вот что я хочу спросить. Ты любишь Тимофея?

Наклонив голову, повариха долго разглядывала на коленях рукоделье. Глаза ее округлились, удивленный, смешливый взгляд скатился вниз, как падучая звезда.

— Тетя Настя, разве так спрашивают? Я даже не знаю, что тебе сказать. Наверно, люблю...

— А ты ему говорила, что любишь?

— Им нельзя этого говорить, — она все так же глядела вниз.

— Чудаки! Как же вы женились?

— Уломал, — Дуся засмеялась. — Пошли и расписались. Вот и мужа нашла!

— Не знаешь ты жизнь, Дуня. Любишь — сказать надо. Он смеяться не будет. Над этим нельзя смеяться. Небось ждешь его?

— Надоело ждать, тетя Настя.

— Ах ты, беда какая! Двадцать дней! Подумай-ка: нравился бы он тебе, если б работу бросал, к тебе бежал? Шелковый — все вокруг тебя да около тебя, а между людей — самый последний. А? Ты бы прогнала такого! Этим они нас и берут: придут домой, не едят, не пьют, а все воюют. «Шнур сырой прислали! — Настя забасила, подражая Снарскому. — Штольню не так прорубили!» Они неспроста с моим-то подружили. Мой издалека видит таких ребят.

Дуся ничего не сказала. Она глядела в одну точку перед собой, в сумерки. Должно быть, Настя показала ей живого Тимофея.

— Я и дочку учила: не ищи красавца, бери красивого в жизни...

— Какой же он красавец? Он вон у меня какой, толстолапый! — в эту минуту Дуся, должно быть, смотрела прямо в глаза далекому Тимофею. — Лапы-то у него во-он какие!

— Не связывай, не обязывай его, — строго продолжала Настя. — Работать не мешай. Береги: каким он тебе полюбился, таким пусть и остается. Если чувствуешь, что обидела его, не вздумай ждать, пока он придет просить прощения. Поменьше о себе думай. Виновата — сама подойди. Ничего тебе не сделается. А ты виновата, — добавила она, не глядя на Дусю. — Хорошо еще, парень он у тебя золото. Не вздумай еще назло ему шутки шутить. Он тоже гордый.

Настя не глядела на нее. Зато Дуся, чуть повернув красивую голову, внимательно посмотрела на Настю и нахмурилась, свела черные брови.

Не суждено было им увидеться и через десять дней. К концу десятого дня — это было в воскресенье — Гришука осмотрел все камеры и галереи, высеченные в гранитной толще скалы, тут же, на ходу, сделал расчеты, удивленно свистнул, побежал по площадке, крикнул шоферу: «Заводи!» — и уехал в контору участка. Через три часа он вернулся, привез с собой Снарского, и они уже вдвоем спустились в галерею, мерцающую крупными розовыми кристаллами.

— Бедовая ты голова, Гришука, — сказал Снарский, становясь в бадью.

В тот же вечер, когда все собрались в юрте, расселись на кошме вокруг черного казана, Гришука сообщил бурильщикам новость:

— Еще две камеры будем долбить. Плохо рассчитан заряд. Породу поднимет и посадит на место, а нам нужно, чтоб ее в реку вынесло. Год долбили, и вся работа может улететь в трубу.

— Зачем в трубу? — сказал хозяин юрты, старый толстый Бейшеке Тончулуков. — Две камеры еще пробьем. Скажешь — и три пробьем.

— Да, за полтора месяца, пожалуй, справимся, — Тимофей сжал губы, лег на кошме навзничь.

Понятливый Бейшеке засмеялся.

— Зачем пугаешь? На полгода раньше — так говорили? Не будем лишнее трогать. У нас есть еще двадцать два дня. По девушке заскучал, — громко шепнул он Гришуке.

— Как будто ты бурил когда-нибудь с такой скоростью! — хитро заметил бригадир.

— Мы бурили — пели свою медленную песню. А теперь будем быструю песню петь. «Катюшу» будем петь. Хорошо пойдет!

Утром Бейшеке разбудил Теренина. Приблизив к нему широкое коричневое лицо с тонкими висячими волосками на вялом подбородке, он засмеялся, гикнул и ткнул Тимофея пальцем в бок.

— Пойдем, машинист! А? С тобой вместе хочу бурить. Люблю, когда рядом стахановец работает. Процент большой показываю!

И Тимофей остался еще на двадцать дней. А Дуся, надев нарядное платье, синее с белым горошком, распустив локоны, ждала его, весь вечер сидела с Настей у открытого окна.

На следующий день, после завтрака, когда дорожные бригады ушли по шпалам укладывать путь и барак опустел, в столовую к Дусе вошел начальник участка Прасолов и за ним два десятника-путейца. Дуся знала, что он придет. Увидев его еще в дверях, она отошла за печь, сняла косынку и снова завязала ее так, чтобы врозь торчали на затылке два белых заячьих ушка. Затем она появилась в окошке и, помедлив, подняла на Прасолова черные глаза.

Геннадия Тимофеевича на стройке любили все. Знали, что он вдовец, что одинок, что не живет в своей комнате и ночует где-нибудь на участке с рабочими. Полный, красивый, с темным чубом, свисающим на лоб, он сразу оживил столовую громом отодвинутой лавки, веселым, командующим басом.

— А чисто у тебя, повариха! Ну-ка вынеси нам борща!

Дуся молча повернулась к нему спиной. Вскоре она вышла к гостям с подносом — строгая, даже как будто обозленная. Расставила перед ними тарелки, исчезла и появилась в окне. Откинулась плечом на косяк, держа двумя пальцами красный помидор, изредка поднимая на гостей глубокие черные глаза.

А Прасолов вспомнил разговор с десятниками, начатый еще на улице, вспыхнул, стал еще красивее. Голубые его глаза грозили, приказывали и смеялись.

— Почему не подвезли шпал? Где костыли? Потребуйте! — звучал его басок и строгий и веселый.

Прасолов даже застучал пальцем по столу, и вдруг их обоих толкнуло что-то — его и Дусю. Черные глаза перехватили случайный взгляд голубых и остановили их. Начальник осекся, но тотчас же взял себя в руки.

— Гляди, какая, — сказал он соседу, поворачиваясь к Дусе. — Как в рамке.

Дуся все так же строго смотрела на него и присасывалась маленькими губами к помидору. «Думаешь, не знаю, зачем ты зачастил сюда? — говорили ее глаза. — Думаешь, не знаю, почему ты так расходился? Знаю вас всех!» Она опустила ресницы, посмотрела на помидор и, сильно поведя плечом, оттолкнулась от косяка, ушла.

— Вот где таилась погибель моя! — услышала она веселый голос Прасолова.

«Сиди и скучай», — думала она на следующее утро, надевая праздничное синее платье с белым горошком. Посмотрела в зеркальце и испугалась — на нее глянуло новое, неспокойное лицо: глаза стали больше, губы бледнее. «Пустяки какие! — подумала она. — Что ж, нельзя мне и словом перекинуться? Или все-таки снять платье?..» Тут же она взяла палочку помады, слегка накрасила губы и опять подумала со страхом: «Господи, ведь впереди еще двадцать дней...»

Опять барак опустел, и опять застучали тяжелые сапоги на крыльце столовой. Вошел Прасолов и за ним молоденький техник путевого строительства. Прасолов никогда не приходил сюда без провожатых, словно

боялся. И опять Дуся, повязав получше косынку, уже без поварской куртки, нарядная, вышла к ним с подносом. Прасолов и техник, разостлав на столе восковку, сидя плечом к плечу, просматривали чертеж.

— Геннадий Тимофеевич, долго я буду держать поднос? — Дуся остановилась против них, повелительно взглянула на Прасолова и поставила поднос на край стола. — Что у вас здесь такое интересное?

— Видишь, вот ваш барак... — Прасолов повел толстым пальцем по кальке. («Да ты в чертеж смотри, а не на меня», — засмеялись его глаза.) — Вот дорога... Здесь — разрыв. А вот опять полотно. Мухин взорвет скалу — тут мы оба участка соединим, и дорога будет готова.

— А что ж вы так долго не взрываете?

— Ты думаешь, это легко? Ты видела дорогу?

— Не видела.

— Что ж это ты, повариха? И на двенадцатой выемке не была?

— Нет.

— Не видела! Это невозможно! Вася, завтра же посадишь Дусю в дрезину и покажешь ей дорогу. По всему участку прокати, все расскажи. Пусть прикоснется к нашему делу.

Он загремел лавкой, умолк. Вдруг посмотрел на Дусю восхищенными голубыми глазами.

— Такую дорогу строить и не знать! Ты ведь тоже строишь! Что? Нет? Лучшая повариха! А дорогу не знаешь! Погоди, я вот выберу время, сам тебя прокачу!

«С этого бы и начинал, — подумала Дуся. Улыбнулась, прикусив губу, и опять посмотрела на чертеж.— Так вот она где, выемка. Вот он где стучит. Далеко...»

В воскресенье днем недалеко от барака остановился грузовик — там, где через дорогу с плеском переливался прозрачный ручей. Из кабины вышел Тимофей в белой рубашке, заправленной в солдатские брюки. Он исхудал за это время и сильно загорел. Даже губы его обгорели и присохли под горным солнцем.

— Дай-ка зеркало, — сказал он шоферу и пошел к ручью, присел над водой.

Вышел и шофер. Сунул руки в карманы, наблюдая за Тимофеем. Машинист умылся над ручьем, вытер лицо подолом рубахи и, смочив светлые кудри, стал причесываться. Разделил массивную курчавую шевелюру пробором, морщась, расчесал ее на две стороны, посмотрел в зеркальце, опять смочил кудри и снова расчесал. Ненавистные волосы все так же мелко вились, словно разбегаясь по бороздкам, оставленным гребешком, и Тимофей махнул рукой.

— Ты отвези инструмент и особенно не торопи кузнеца, — сказал он, и шофер хитро мигнул ему. — Нет, серьезно, ты не подумай чего-нибудь. Пусть кузнец как следует заправляет буры. Понял? Приедешь — мне посигналь. Я скажу жене, чтоб нас накормила.

Грузовик уехал, а Тимофей побежал к бараку. Влетел в коридор и увидел замок на своей двери. Помолчал, толкнул пальцем замок, засвистел и вышел из барака. И сразу увидел второй замок — на двери столовой. Напряженная, жаркая тишина стояла вокруг, и все слышнее, слышнее шипела река, ветвясь в далеких гравийных россыпях.

По склону поднималась Настя, неся на коромысле два ведра с бельем.

— Привет, тетя Настя! От взрывников привет!

— Как там у вас дела?

— Скоро домой приедем. Еще дней десять. Где Дуся?

— Уехала. За продуктами, должно.

Тимофей засвистел, прошелся вдоль барака.

— Да ведь она продукты-то получает в начале месяца! Тетя Настя!

— А леший ее знает. Не знаю. Сама не видела, как исчезла.

Тимофей достал кисет, свернул цыгарку и сел на крыльце столовой. Так он сидел целый час. Приехал грузовик, затормозил, резко загудел около барака. Тимофей поднялся.

— Тетя Настя, скажите, что ждал! — крикнул он, открывая дверцу кабины.

А Дуся в это время ехала в маленьком моторном вагончике по новым, еще не обкатанным рельсам.

Громко стучал, дребезжал мотор, пахло бензиновым дымом. Дуся сидела, постелив газету на замасленной деревянной скамье, и все время оглядывалась по сторонам. У левого ее плеча за окном зияла, голубела пропасть, вдали стояли темной полосой облака, а над ними, как сталь, сверкали снега, сияли извилины ледников, теснились в легком тумане, словно заиндевелые, спины и плечи гор.

Справа, мимо Дуси, плыла ровно обрубленная каменная стена.

— Это все Мухин взрывал! — кричал Прасолов. Он ни разу не сел около Дуси, все время стоял, как будто торопился.

Потом набежала темнота — туннель. Сильнее запахло гарью. Неловкое молчание длилось целую минуту. Когда яркий свет дня брызнул им навстречу, Прасолов крикнул:

— Снарский пробивал! Туннель, туннель, говорю! Взрывники работали!

Дуся уже не видела гор. Их закрыл красный рыхлый склон. Вагончик долго полз по дну глубокого земляного желоба. Скучая, Дуся оглянулась по сторонам и вдруг увидела людей. Пять или шесть человек, один за другим, с лопатами на плечах, они съехали вниз по склону, как на лыжах, промелькнули мимо, исчезли.

— Это уже не наш участок, — сказал Прасолов.

— Может, вернемся? — спросила Дуся. Ей уже надоело скучное мелькание красной и желтой земли за окном.

— Сейчас. Проедем эту выемку. Это очень интересно — ее проходил один человек.

— Что? — переспросила Дуся, не веря.— Как это— один?

— Один, один! — крикнули за окном, и Дуся увидела всю пятерку рабочих с лопатами. Молодые ребята в кепках козырьком назад, они теснились на подножке вагончика, весело смотрели на Дусю.

— Точно говорим: один! Экскаватором!

— Кто такой? — Дуся испугалась своего вопроса.

— Теренин! — крикнул Прасолов. — Ты его не

знаешь. Он на другом участке работал. Я отвоевал его для нас. В управление ездил, хлопотал. Теперь будет у нас работать! Всей бригадой!

Стена земли бежала, бежала, бежала мимо окна. Один! Так вот он куда торопился все время! Вот что значат виноватые слова, которые так сердили ее: «Понимаешь, задержался...»

— Расскажите еще что-нибудь о нем, — тихо попросила она.

Прасолов не расслышал.

— Масштаб ему давай! — кричал он рабочим. Он обрадовался — появились настоящие слушатели. — «Дадите такую гору, как эта, — пойду к вам!» Хорошо, будет тебе гора, еще почище этой! — он засмеялся. — Уже машину к нам перегнал!

Больше она не задавала вопросов. Даже боялась поднять на Прасолова глаза. Они проехали до конца выемки, прицепили к вагончику платформу со шпалами и вернулись. Над бараком вагончик остановился. Дуся не заметила руки Прасолова, протянутой к ней, легко спрыгнула на шпалы и, забыв попрощаться, — скорей, скорей! — словно спасаясь, побежала вниз по сыпучему щебню.

— Спасибо! — крикнула она, не оглядываясь.

Уже внизу она увидела на себе новое платье, новые, исцарапанные щебнем туфли. Покраснела. Засмеялась. Огляделась, тихонько вошла в барак и вихрем пробежала по коридору. «Только бы Настя не увидела! — Она поскорее отперла, захлопнула за собой дверь и замерла, слушая. — Нет, никто не заметил!»

Тут же новые туфли полетели в угол, платье — на кровать. Через минуту она вышла из барака в своей поварской куртке, шлепая тапочками на босу ногу.

— Тимофей был, — сказал Настя из окна. — Где пропадала?

— На дрезине каталась. Надо же когда-нибудь дорогу повидать!

— Поди, поди-ка сюда... Дуняша! Губы стала красить? — Настя потянулась к Дусе, чтобы поймать ее.— Да что ты испугалась?

Дуся, словно увядая, опустила голову. И даже Настя не заметила, так быстро и больно она провела губами по воротнику своей куртки.

Теперь уже каждый день в барак приходили известия с пятнадцатой выемки. В столовой только о ней и говорили — все рабочие считали дни до взрыва, и Дуся, оставив свое место у раздаточного окна, выходила к ним, садилась на край лавки и слушала.

— Комиссия выехала принимать работу, — говорили путейцы. — Не взрыв будет, а землетрясение! Двести пятьдесят тонн взрывчатки. Пожалуй, у нас стекла повылетят!

Один раз во время обеда задрожал пол, звякнули тарелки на кухне. Кто-то крикнул: «Повезли!» Рабочие бросили ложки, выбежали на крыльцо. Мимо барака одна за другой, тяжело гудя, плыли запыленные грузовые машины. Кузова их были закрыты брезентом. Один рабочий, догнав грузовик, уцепился за борт и заглянул под брезент.

— Трофеи! Честное слово! Немецкие бомбы!

— А куда ж их девать, добро такое? — сказал пожилой путеец. — Их вон как завезли на склад, так и лежат. Пора. Пусть послужат настоящему делу.

Машины шли весь день с правильными промежутками, одна за другой. Ночью в комнате Дуси дребезжали стекла, и через каждые полчаса на стену падал белый луч. И опять наступил день, и все так же шли и шли машины в высоком облаке пыли, уходили вдаль, туда, где за небосводом каждое утро раздавались дребезжащие в окнах шаги гиганта. «Поедем, поедем, поедем!» — звали машины.

После ужина, когда стемнело, Дуся заперла столовую, забежала к Насте. Та накинула платок, и они вместе вышли на дорогу.

— К утру вернемся! — сказала Дуся.

Настя кивнула ей.

Они ждали недолго. В пыльной темноте выросли, завертелись две белые луны, и, тяжело гудя, надвинулся грузовик. Машина остановилась у ручья. Из ка-

бины, звеня ведром, выпрыгнул человек, побежал в темноту. Дуся встала на колесо, перевалилась в кузов, села на брезент, на плотные бумажные мешки.

— Давай! — шепнула она Насте.

И тут же брезент зашевелился, из-под него показалась темная голова человека, вылез ствол винтовки.

— Нам на пятнадцатую выемку! — закричала Дуся. — Фактуру надо подписать. Я заведующая столовой.

— Марш на землю, фактура! — скомандовал веселый голос. — Быстро! — твердые пальцы сдавили ей локоть.

— У-у, страшило! Еще руками хватает! — сказала Дуся, глядя вслед угасающему красному огоньку и — что это? — даже заплакала.

— Ничего, завтра они уже будут дома, — Настя тихо посмотрела на нее сбоку. — Пойдем ко мне, Дуняша.

В этот вечер они пели особенно хорошо. А утром — это было уже третье воскресенье — к бараку подкатил грузовик с букетиком горных гвоздик, привязанных к пробке радиатора. «Привет ударникам 15-й выемки!» — кричали белые буквы на кумачовой полосе, прибитой к борту машины. По бараку затопали сапоги, захлопали двери.

— На выемку едем. Взрыв смотреть!

И Дуся проворно надела свое пестрое платье. Никогда еще она так не готовилась к свиданию, никогда еще не чувствовала такой слабости в руках. Глаза ее — большие темные тени — бродили, ничего не видя, ничего не находя, а пальцы прыгали, схватывая и отбрасывая в сторону сумочку, зеркальце, гребешок...

— Глупости оставь! — Настя вырвала у нее из рук палочку губной помады. — Беги, в машине красу свою расчешешь.

За окном раздались настойчивые гудки грузовика, и Дуся, хлопнув дверью, застучала каблучками по коридору.

«Смотри, ведь как побежала! — подумала Настя, глядя ей вслед. — Останови попробуй!»

Загрузка камер взрывчаткой шла на пятнадцатой выемке два дня. Осторожно поворачивая скрипучий ворот, рабочие опускали в колодцы тяжелые бумажные пакеты с мелинитом, трофейные авиабомбы в цементной оболочке, черные снаряды, железные баллоны с желтой, твердой, как стекло, начинкой. Гришука ходил от колодца к колодцу, записывал вес зарядов, давал короткие указания.

— Вот эту дуру еще опустите сюда, и хватит.

Утром в воскресенье, когда все камеры были загружены до половины, приехал Снарский. Он ничего не сказал — сел на камень и стал наблюдать краем глаза за бригадиром.

— Опять экзамен, — весело шепнул Гришука Тимофею.

Вдвоем с машинистом они размотали на площадке бухточку мутного, как янтарь, детонирующего шнура. Гришука опустился в каждый из шестнадцати колодцев, зарыл в мелинит боевики, вывел концы шнура наружу и связал их. Когда все было закончено, Снарский прошелся по шнуру от колодца к колодцу.

— Машинист помогал, изъяна быть не должно, — приговаривал он. — Взорвутся все камеры, как одна. Это точно. Что скажешь, машинист? — он неожиданно повернул к Тимофею усатое, худое, с коричневым блеском на скулах лицо. — Нравится тебе у нас? Тебе теперь только экзамен сдать и будешь взрывником!

Тимофей, голый по пояс, посмотрел на него сверху детскими добрыми глазами. Ничего не сказал.

— Знаю, знаю, о чем думаешь, — сердито пробасил Снарский и умолк, глядя мимо Тимофея. — Не хочет к нам, — сказал он Гришуке и опять умолк. — Давно работаешь на экскаваторе? — вдруг спросил он машиниста. — Пять лет? Да-а... Жаль, что ты не попался мне пять лет назад. Был бы ты у меня бригадиром, Тимошка. Ладно, не тужи. Сегодня мы расчистим дорогу твоему коню. Рой землю, нас не забывай. Наши дорожки еще не раз сойдутся. Смотри, если оплошаешь! — он показал Тимофею кулак. — Гришука! Я поехал. Заваливайте камеры. Приеду через три часа.

И опять заскрипели все шестнадцать воротов.

Через час Гришука подошел к одному из колодцев и, махнув тетрадкой, солидно сказал:

— Здесь достаточно. Разбирайте ворот.

Могучий Бейшеке присел, пролез плечом под ворот и, приподняв, вытащил обе его деревянные ноги из камней. Тут же он сделал неловкий шаг, и большой кусок гранита, как живой, сполз и полетел в черную дыру колодца. Металлическое «чик» донеслось снизу.

— Осторожнее, хлопцы, надо, — тихо заметил Гришука. Наклонился, стал смотреть в темный квадратный зев. — Нельзя, Бейшеке, камни туда кидать, — наставительно сказал он, не глядя на Тончулукова, который так и стоял перед колодцем с воротом на плече, не замечая его тяжести. — Высечет искру, загорится мелинит — знаешь, что получится? Вся работа в трубу — вот что. Нагреется до трехсот градусов и взорвет. А мы еще камеры не догрузили.

Он заглянул еще раз в колодец и пошел по площадке. Когда он скрылся за камнями, Бейшеке сбросил ворот и полез в карман своих нагольных овчинных штанов.

— Опасная работа, — сказал он, вздыхая. — Закурим, машинист. Забудем камень, пусть себе лежит.

Он вытащил из кармана большую бутылку с тертым табаком. Вытряхнул на ладонь щепотку зеленого порошка и опрокинул в рот.

— Не бойся, без огня курим. Хочешь? Попробуй.

Тут он нечаянно оглянулся. Сзади него, в темном квадрате колодца, все яснее и гуще, как пламя свечи, качалась дымная струйка лимонного цвета. Тончулуков сплюнул табак, закричал:

— Бригадир!

Но сейчас же увидел сжатый кулак Тимофея, его неподвижные серые глаза — и замолчал.

— Найди Гришуку, — приказал Тимофей и взял лопату. — А людей всех уводи на дорогу. Подальше. Эй, рабочий класс! — закричал он весело. — Кончай дела! Будем взрывать!

— Кончай! Бригадир велел! — Бейшеке, пряча бутылку, побежал вдоль площадки.

Рабочие остановились, ничего не понимая, смот-

рели на штабели снарядов, бомб и пакетов, еще не опущенных в камеры.

Но тревога уже коснулась каждого. По одному, оглядываясь, еще не зная, в чем дело, они пошли, побежали по узким тропкам вниз, к дороге.

Удушливый дым с запахом горелой краски валил все гуще. Тимофей бросил в колодец несколько лопат земли и оглянулся. Площадка была пуста. Теперь он остался один в прозрачном желтом облаке. Часто дыша, отплевываясь, машинист быстро и размеренно бросал землю в колодец. Минута прошла или час — он не заметил, только лопата его со звоном задела другую лопату, и он увидел в дыму рядом с собой голую спину Гришуки. И еще дальше кто-то подгребал лопатой землю, и Тимофей услышал далекий, спокойный голос Тончулукова:

— Земли мало, бригадир!

— Шнур, шнур не забудь! Разруби! — закричал Тимофей. — Всю выемку разнесет.

В голову его, в грудь вступила странная теплота. Он уронил лопату. Мокрые голые руки, подхватив его, поволокли в сторону, уложили на камне, под ясным небом.

В двух километрах от выемки — там, где ущелье под прямым углом делало поворот, — стоял у дороги экскаватор, огромный, как вагон. Железная стрела его была опущена, зубастый ковш тяжело придавил землю. На краю ковша сидела Дуся и, опустив голову, водила пальцами по отшлифованным, как лемехи, зубьям. Ниже, на травянистом склоне, под колючими и пыльными кустами, дымили цыгарками рабочие. Около Дуси падали мелкие камешки, брошенные из кустов. Повариха не замечала их.

— Вишь, как ждет! — шутили рабочие за ее спиной. — Вот они, какие нынче мужья пошли: свою работу сделал — с Мухиным план выполняет! А тут Дуся вот стереги ему машину. Она его, конечно, возьмет сегодня в оборот. А, Дуняша?

— Что он, что Снарский, — гудели голоса. —

Против него пять человек того не сделают. Ему бы на шагающий экскаватор, на четырнадцатикубовый. Вот где Тимохе побороться!

Между тем вдали на дороге показались люди. Они шли неровным, колеблющимся строем, поднимая пыль. Недалеко от поворота они остановились, сгрудились плотной толпой, стали смотреть туда, откуда пришли.

И Дуся поднялась, несмело пошла к ним, краснея, прикусив губу. «Ты не знаешь, что я здесь... А что я сейчас скажу тебе! Одно слово, ты его не слышал никогда, — вот что ты услышишь! Глупая, почему я раньше этого не сказала?»

Неожиданно совсем близко она услышала грозный ропот рабочих.

— Чего ж ты сразу не сказал, что горит? — рабочие наступали на кого-то маленького. Малыша не было видно из-за широких, белых от соленого пота спин.

Дуся приподнялась на носках. Это был взрывник Мусакеев. Он прямо стоял перед рабочими и держал в руке красный флажок.

— Чего ж ты не говорил? Ты же видишь — авария!

— Бригадир приказал...

— Бригадир, — заговорили сразу все, — Мухин, конечно, не уйдет! И машинист не уйдет! Да ты знаешь, что это за люди? Есть у тебя голова?

— Мусакеев, где Тимофей? — тихо спросила Дуся, положив руку взрывнику на грудь.

— Уйдите вон от меня все! — закричал Мусакеев, затопал, и крупные слезы покатились по его широкому коричневому лицу.

Дуся вырвалась вперед. Крепкие руки схватили ее.

— Тебя еще там не хватало! Не сходи с ума. Куда ты побежишь?

И наступила тишина. Сильные напряженные руки попрежнему сковывали Дусю, и она вдруг почувствовала, как секунда за секундой уходит от нее жизнь — небо, горы, тихие, детские глаза Тимофея.

— Пустите, — попросила она, глядя в землю.

Слабо оттолкнула всех и пошла назад, к повороту. Спустилась по склону, исчезла в колючих кустах.

А на дороге опять забасили, заговорили наперебой. Все глаза поднялись к чистому клину неба между высокими черными зубцами — оттуда вот-вот, сию минуту, должна была вырасти темная туча взрыва. Шли секунды. Вместе с теплыми струями ветра подступало и уходило вспять вечное шипенье реки.

— Побежала! — вдруг ахнул кто-то.

И все увидели — вдали на дороге, уменьшаясь, мелькало синее пестренькое платье.

Она не заметила этих двух километров. Она не видела никогда выемки. Верная, милая укатанная дорога, обежав незнакомые скалы, привела ее к каменному завалу, подсказала: лезь вверх. И Дуся оказалась наверху, на просторной площадке. Куда бежать? Она шагнула и остановилась. Перед нею в тени большого камня сидел на корточках неподвижный рослый киргиз, обхватив бритую голову красивыми коричневыми пальцами.

«Где?» — хотела крикнуть Дуся и тут же в тени увидела Тимофея. Он лежал лицом вверх, голый до пояса, мокрый, странно желтый.

— Лей еще, — услышала Дуся знакомый шопот.

Киргиз зашевелился, поднял над головой Тимофея бутылку.

— Хорошая вода. — Он подставил руку под струю и смочил себе затылок. — Все пройдет, машинист. Хорошо будет, пойдешь на экскаватор, триста процентов покажешь.

— Наглотался ты здорово, — отозвался из-за камня голос Гришуки. — Завтра лежать будем все трое, уж я знаю этот мелинит.

— Отстояли, — слабо гудел Тимофей. — Прямо не верится.

— Спасибо, ты не растерялся. Когда Бейшеке прибежал, я так и подумал — конец. Ведь год целый долбили! — Гришука сплюнул за камнем. — Быть тебе взрывником! А?

— Быть, — прогудел Тимофей. — Если бы это случилось пять лет назад...

Дуся подошла ближе. Вот он! Тимофей отвел желтой рукой бутылку. Больные глаза его сразу посвежели, засмеялись.

— Ты что? Прибежала?

Она кивнула несколько раз. Припала к его большой мокрой голове. Посмотрела в глаза и опять припала. Желтые пальцы Тимофея побрели, запутались в тяжелых черных завитках.

Бейшеке Тончулуков задумчиво посмотрел на Дусю и, обняв камень, свесился к Гришуке.

— Кто такая? Кто она будет ему? — зашептал он.

Закивал, выпрямился, сияя домашней, отцовской улыбкой. Тихонько поставил около Дуси бутылку и отошел.

Гришука тоже поднялся.

— Пойду, Тимоша, посмотрю, не сгорел ли шнур.



РУКИ ДРУЗЕЙ



В вагоне санитарного поезда на нижней полке лежал младший лейтенант Миша Ноготов, остриженный наголо, очень худой, похожий на мальчика. Он лежал неподвижно, и все время строго смотрели вверх его черные глава.

Санитар ставил на столик около него тарелки — масло, белый хлеб. Но Миша был далеко, ничего не видел, и перед обедом с верхней полки протягивалась длинная волосатая рука за его завтраком — стоит ли еде пропадать!

Каждое утро садился около него худощавый старик — врач. Лицо, темное после оспы, словно вылепленное из черного хлеба. На голове нахлобученная до бровей белая шапочка. Врач брал Мишу за руку и, припав к нему, озабоченно и внятно хрипел:

— Больной, сколько вам лет? — то же, что и вчера.

Миша не отвечал.

Иногда Миша оживал и смотрел, недоумевая, на заиндевелое до половины окно, потом медленно переводил глаза вниз и напряженно рассматривал свои пальцы, словно был занят вычислением. Вдруг желтоватое его лицо начинало краснеть. Кашель толкал его изнутри, но, подобрав губы, Миша удерживал его. Он не хотел умирать.

Сестра Аня, высокая, с бледноголубыми глазами, грустными, как последний цветок в осеннем поле, вся в белом, шумя новым халатом, подходила к нему и рукой с перстнем касалась его твердых пальцев.

— Молодец, Миша, — шептала она.

Потом она снимала с него простыню — Миша лежал без рубахи, и все видели на его детской груди два марлевых кружка на ладонь один от другого. Аня протирала ватой со спиртом его спину, там, где лопатки. Здесь тоже были две наклейки, на ладонь одна от другой.

Даже днем температура у него была около сорока. И так продолжалось пять суток. И вот один раз, в полночь, небритый солдат, тот, что лежал на второй полке, свесился вниз и увидел: Миша поднял голову над своим неподвижным и прямым телом. Он страшно озирался, приоткрыв маленький рот, тонкой рукой держался за грудь и с каждым вздохом кивал головой.

Аня была здесь. Она приблизилась из полумрака, как на зов, и стриженая голова Миши опустилась на подушку. Он искал ее.

На следующую ночь он вдруг начал шевелиться и уронил ложку со столика.

— Я не могу заснуть, — ясно и слабо произнес он, хотя в купе, кроме больных, никого не было, а больные спали.

Через минуту появилась почти бегом Аня. Миша попросил морфия. Аня заглянула ему в лицо.

— Морфия нет, Мишенька, — сказала она громко, как глухому.

— Вши едят, — Миша говорил монотонно, с закрытыми глазами.

Аня улыбнулась.

— Опять вши! Это вам кажется — вы потеете.

— Мне бы морфия.

— Все морфий да морфий! Ну, подождите, я сейчас.

Она вернулась вскоре, ступая неслышно, как по ковру.

— Давайте руку. Только не говорите майору.

После укола Миша успокоился и стал ожидать сна, держа Аню за рукав. В вагоне стоял сонный гомон — раненые бредили. Аня достала из кармашка кусок газеты, щепоть махорки и стала свертывать цыгарку. Протянул и Миша слабые пальцы к газете.

— Вам нельзя. Мне тоже не полагается, да вот научилась. Может, от скуки, а может, с горя.

Аня сняла косынку и опять повязала ее как надо. Под косынкой Миша увидел две толстые и короткие русые косички.

— С какого же горя? — спросил Миша.

— С такого вот, с рогатого, на вас похожего.

— Сестра! — солдат на второй полке повернулся и охнул. — Мне морфия дала бы!

— И тебе тоже! Майор не разрешает.

— Что ж это такое?! Лейтенанту могла колоть, ему можно, а мне нельзя, выходит? Рана, рана-то у меня болит!

— Ишь, как он командует, — она поднялась. — Ох, да какой же ты волосатый! — ласково разговаривала она с ним, вытирая его руку иодом, и через минуту солдат успокоился.

Когда она села опять, Миша спал, сведя черные брови, сжав губы. Приоткрыв глаза, он четко произнес:

— Где старшина? Нет старшины.

Аня, покачиваясь, долго смотрела ему в лицо. Потом поднялась, взяла в рот цыгарку, нащупала спички и пошла к выходу.

— Сестра! — солдат на второй полке зло заплакал. — Сестра! Ты чего же людей обманываешь? Морфий мне давай. Налила мне физиологического раствору! Мы-то понимаем эти дела, не первый раз в госпиталь едем. Морфий соленый не бывает!

— Тише, — зашептала Аня. — На, проверь шприц, я ему то же, что и тебе, колола. Морфия у нас совсем нет, понял? А ему не говори, он сегодня первую ночь спит, еле уложила.

— Нас не обманешь, — сказал солдат тише.

Утром температура у Миши упала до тридцати восьми. Пришел врач. Он был очень высок, его белая

шапочка витала далеко вверху. Он сжал Мишино запястье.

— Сколько вам лет? — прохрипел он громко.

— Восемнадцать, — шепнул Миша.

Врач радостно оглянулся на всех и приказал седой бровью: «Тише!»

— На что жалобы, герой? — спросил он, просчитав пульс.

— Никаких жалоб, — Миша погладил коричневую руку врача и посмотрел на сестру, стоявшую за его спиной.

Но это уже была другая — пожилая и важная.

— Поправляться надо, — сказал врач. — Кушать надо, говорю! Питаться! — бодро закричал он. — Получаете масло?

— Получает, — прогудел солдат со второй полки.

До вечера Миша лежал, глядя на стену. Аня не приходила. Ночью начался жар, и Миша не мог заснуть. Не раз он поднимал голову и глядел в красную тьму. Никто не подходил.

Утром к нему пришли обе сестры — пожилая и за нею Аня.

— Долго мы будем еще ехать? — спросил Миша, глядя пристально на вторую — на Аню.

— А что, вам уже надоело с нами в вагоне?

— Надоело.

— Потерпите, больной. Завтра приедем, — сказала пожилая, выступив вперед.

— Слава богу, — жестко сказал Миша, глядя на другую.

Аня стояла, смотрела на Мишу с изумлением, и улыбка угасала на ее лице.

Вечером все заснули, и сонный гомон стоял в вагоне. Миша увидел в полумраке белый халат.

— Сестра, — сказал он тихо, словно готовился отойти ко сну, — дайте морфия.

Белый халат исчез. Вскоре Аня села около Миши, но не так близко, как позавчера. Все она делала робко, даже иголка не шла под кожу.

Сверху с тайной улыбкой глядел на них небритый солдат.

— Может, и тебе? — спросила Аня.

— Как-нибудь заснем и без твоего морфия.

— Может, вам что-нибудь надо? — спросила она.

Миша молча закрыл глаза. Когда открыл, Аня сидела все так же, около его ног.

— Вот что, сестра, влейте мне настоящего морфия. От этой водички я не засну сегодня.

Аня оглянулась нечаянно на верхнюю полку. Солдат затряс головой. Нет, он ничего не говорил Мише. Тогда Аня положила руку с перстнем Мише на лоб.

— Я же вам сделала укол. Настоящий. А вы сердитесь на меня — знаю, за что. Надо же мне спать! Я почти не отдыхала — как вас принесли, с тех пор.

— Куда мы едем? — спросил Миша.

— В Сибирь. Вот теперь я выспалась. Можно будет всю ночь прощаться. Значит, слава богу, завтра приедем. Да?

— Да, — сказал Миша.

— И вы очень довольны?

— Всех лошадей в лес, на коновязь, — сказал Миша скороговоркой, глядя на нее тусклыми глазами. Он опять начал бредить.

Аня покачала головой.

— Эх ты, конник! — сказала она вполголоса. — Как же ты похудел! Вот ведь пальцы какие худые, тоньше, чем у меня. И кольцо мое, наверно, не будет держаться. А?

Она надела свой перстень Мише по очереди на все четыре пальца и опять покачала головой.

— Это вы мне даете? — вдруг сказал Миша.

— Если нравится, не возвращайте. С условием — вы поправитесь так, чтобы оно крепко вросло вам в палец. А если вам надо будет меня, поверните его. — Она коротко засмеялась.

Миша посмотрел на кольцо. Потом вдруг глаза его стали пустыми. Он чмокнул и застонал и начал лепетать грустные и уродливые ночные слова.

Когда утром он открыл глаза, Ани в купе не было. Колеса вагона с громом пролетали по стрелкам, выбирая путь. Поезд шел к большой станции. Вагон сильно толкнуло назад, потом он покатился вперед,

и поезд стал. Аня принесла измятое обмундирование Миши и стала надевать на него простреленную и заштопанную ею гимнастерку, приговаривая:

— Правую руку давайте, левую руку. Одеваю вас, как ма-ленького!

Настала тихая минута — все были одеты. Солдат слез с верхней полки и курил в проходе, сплевывая и подмигивая Мише и Ане. Другая рука его висела на перевязи.

В конце вагона затопали, повеяло морозом, и в купе ввалились, громко дыша, санитары в серых халатах поверх шинелей. Они оттеснили Аню, и она, прижав руки к груди, прислонилась к полке и смотрела только на Мишу через широкие их спины.

— Этого клади, — сказал санитар, и они, поставив носилки в проходе, подняли Мишу подмышки и за ноги.

— Заходи, — сказал другой. — Головой вперед заноси.

Миша только повел строгим глазом из глубокой меховой шапки туда, где стояла Аня. Тут же его накрыли с головой одеялом.

— Адрес, адрес! — крикнул Миша.

Он хотел откинуть тяжелое одеяло. Но вот уже слышен скрип снега, и он в автобусе, и поехал неизвестно куда — вперед или назад.

Миша повернул перстень на пальце. В седьмую палату вошла Зина, невысокая девушка, по горло обтянутая халатом, завязанным на спине. Как птица-подорожник, мелкими шажками она добежала до стола, потом к Мише, дала ему выпить стопку горького раствора и тут же поставила в тетрадке крестик.

— Ничего, Ноготов, полежи недельку, — сказала она, отбегая к другому раненому, — а потом я принесу тебе какую-нибудь книжку. Есть книжки, где хорошо описывается, как дружат парень с девушкой. — Она уже несла лекарство третьему больному.

— Какая там дружба! Мне бы пройтись хоть на костылях.

— Не притворяйся. Кольцо чье носишь?

— Это дело личное.

— Ты с нею дружил! Да? Что ж ты ей письмо не напишешь?

— Адреса нет. — Миша повернул кольцо не сколько раз.

Дверь запела, и, щелкая туфлями, в палату вошел солдат в одном белье, тот самый, что ехал с Мишей в вагоне. Он теперь побрился и подбрил брови, и стало видно, что это молодой парень с веселым и грозным взглядом. Он словно держал подмышкой большую подушку, прибинтованную к нему вместе с рукой.

— Наконец-то я тебя нашел, младший лейтенант!— солдат подошел к нему. — Меня в палате почтальоном прозвали, — видишь, какую почту таскаю, — солдат левой рукой хлопнул по своей подушке и сел на кровать. — Я вроде как почтальон к тебе и пришел — вот тебе бумажка от Ани.

— Это от той? — спросила Зина из дальнего конца палаты.

Миша не ответил.

— Только две строчки! — Зина была уже рядом.

— А ему — полевая почта, ничего больше и не нужно.

Миша долго читал эти две строчки.

— Спасибо, — сказал он наконец задумчиво. — Как тебя звать?

— Почтальонов не спрашивают, как звать. Зови Гришкой.

— Надо выздоравливать, — перебил его Миша.

— Надо, надо, — подтвердила Зина, сочувствуя.

— Дайте, Зиночка, бумаги мне и карандаш.

Миша писал лежа, опираясь на локоть, громко дыша открытым ртом, и голова его все время опускалась на грудь.

«Здравствуйте, Аня, — написал он и опустился на подушку и долго отдыхал, глядя под кровать соседу. — Вот я лежу в палате, — написал он через полчаса, — везде стоят цветы — фикусы и много других. Но мне больше всего нравятся анютины глазки.—

14*

Он опять прилег отдохнуть, потом поднялся и зачеркнул «анютины глазки»: слишком похоже на признание. — Ребята у меня хорошие в палате, — написал он. — Придется с ними пять месяцев жить, доктор говорит. — Затем, отдохнув, добавил: — Я часто вспоминаю вас. Кольцо все еще вертится у меня на пальце. Верчу его, но вы не появляетесь».

Зажгли электричество. Перед ужином палату быстро пересекла Зина и подала Мише стопку горького раствора.

— Все еще пишешь? — сказала она.— Пей быстрее.

Миша закончил письмо. «Я решил выздороветь не в пять, а в три месяца, — написал он в конце. — Я вас найду и хочу с вами закончить наш разговор в вагоне». И еще он попросил написать ответ.

Уже пошел месяц март. Миша ждал ответа, и вместе с ним ожидали письма Гриша и Зина.

— Прямо жаль Ноготова, — говорила Зина, — я так написала бы ему немедленно три письма!

А Миша все торопился выздороветь. Он даже взял один раз на спор у соседа костыли, прошел по ковру до стола, а обратно не смог — так и сел, весь белый, на ковер.

Это было в начале марта. А к концу месяца Миша заметил, что перстень плотнее садится на палец. Тут он потребовал себе костыли и каждый день прогуливался от кровати к окну, а там, за окном, — сани, сани без конца ехали между сугробами, среди берез, и небо было голубое, летнее.

Врач разрешил ему принимать ванну. Миша завернулся в халат, повесил на шею полотенце, взял костыли и ушел купаться. Через двадцать минут он вернулся в палату без костылей. Милая улыбка была на безусом лице. Голова его была еще опущена, но черные глаза так и командовали! От койки к койке он добрался к своей постели и лег отдыхать.

— Зиночка, — сказал он, — забери костыли в ванной.

На другой день Миша опять побрел в ванную по коридору без костылей, держась обеими руками за стену, как слепой. Когда он скрылся за дальней дверью, прошел по коридору мальчишка-экспедитор и бросил на столик пачку писем. Зина набросилась на них и одно письмо-треугольник вдруг прижала к груди, а затем сунула его поскорей туда, где халат охватывал ее шею. Она ушла в пустой кабинет, и треугольник сам развернулся в ее дрожащих пальцах.

Вот что было написано на маленьком листке:

«Милый мальчик Миша, я прочла ваше письмо и вспомнила свой восьмой класс. Я ведь умею читать даже зачеркнутые строки. Нет, вы мне не пишите больше, теперь я знаю, что вы выздоровеете. Вы — хороший, у вас будет много друзей. Вы и подругу найдете себе хорошую, лучшую, чем я. А я вам не гожусь. Мне двадцать шесть лет, у меня есть муж и сын, очень, очень похожий на вас. Я его не видела уже два года. Я любила смотреть на вас, когда вы спали. Мне казалось, что передо мной мой маленький сынишка. И потом доктор говорил о вас такие жуткие вещи — я даже боялась с ним разговаривать. Он говорил, что вы слабеете с каждым часом. Я не смогла бы себя иначе вести с вами. Простите меня.

Берегите игрушку, что я вам подарила, поправляйтесь, но не носите ее, чтоб она вам и правда не вросла в палец. Целую вас.

А н я».

Миша уже отдыхал в кровати, розовый и слабый, после ванны. Гриша за столом, закусив губу, тренировал левую руку — учился писать левшой. Зина открыла дверь да так с разбегу и сказала:

— Ноготов получил письмо!

Миша медленно встал, глаза его стали такими, как три месяца назад, в вагоне, и все увидели, что на лице у него выступили красные пятна.

Должно быть, глядя на Мишу, Зина поняла свою ошибку. Но было поздно — Миша ждал письма, про-

тянул руку. Зина пристально смотрела на него: что это с ним делается?

— Никакого письма там нет, — Гриша отложил ручку. — Я сам смотрел всю почту раньше всех.

— Ноготов, Ноготов! — сказала Зина, все еще не придя в себя. — Я хотела тебя с первым апреля поздравить. Только шутку плохую придумала.

И все вспомнили — действительно с этого дня пошел апрель.

— Ну вас совсем, — Миша слабо улыбнулся. Он вдруг почувствовал себя так нехорошо и лег.

Вечером он сел за стол и крупным почерком исписал длинный лист, сложил треугольником и отдал уже не Зине, а Грише, чтобы отнес экспедитору. Гриша посмотрел на сестру и нерешительно сунул письмо под бинт.

В середине апреля Миша уже медленно прогуливался по коридору госпиталя в сером заштопанном халате и за стену не держался. Волосы его отросли и торчали дружно, как подстриженная черная щетка. Руки окрепли, и лицо стало круглее. Он все хотел, чтобы его взяли на прогулку, и добился — Зина принесла ему валенки и шинель и повела вниз.

Выйдя на яркий свет, он налег на костыли и долго так стоял, озираясь, спрятав голову в плечи. Сани, сани без конца скрипели в сугробах. Невидимые синицы перезванивались наверху, где небо, в березовой путанице.

— Зиночка, где она живет? — спросил он вдруг.

Зина ничего не сказала.

— Что это ты стала за последнее время тише воды, ниже травы?

— А ты не обращай внимания. Выздоравливай скорее, может найдешь ее.

В мае Миша выписался из госпиталя и получил направление в санаторий для легочных больных. Гриша, все еще с гипсом на руке, но уже без подушки, проводив до ворот, грубо поцеловал его и похлопал по спине — ничего, брат, всякое бывает! А Зина запахнула пальто, сшитое из зеленой шинели, и под руку отвела Мишу на станцию.

— Зиночка, — сказал Миша, прощаясь с нею в вагоне, — может, придет без меня письмо, пошли его в санаторий. И Гришке скажи.

— Все еще помнишь! Хорошо, пошлю, если придет.

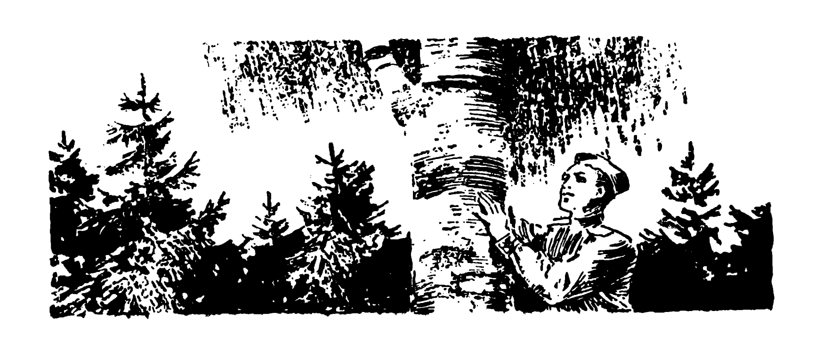
Он лечился в санатории целый месяц и писем не получал. И здесь нашлась сестра, которой понравился Мишин перстень. Уезжая отсюда, Миша доверил ей всю историю и попросил переслать письмо в Новосибирск — до востребования.

В Новосибирске Мише дали отпуск на полгода — левое легкое у него все еще было меньше правого. Уезжая домой, в Москву, Миша зашел на почтамт. Письма не было. Все же он попросил девушку, что сидела за матовым стеклом, переслать одно-единственное письмо в Москву, если придет в этом месяце — в июне. И девушка, быстро взглянув ему в глаза, вздохнула и записала его адрес.

— А если в июле придет, тогда как хотите, — сказал Миша. — У вас, конечно, и без меня дела хватает.

В июне письма он не получил. Зато в июле, в Москве, когда Миша с учебниками поднимался к себе на пятый этаж, почтальон подал ему прямо на лестнице толстое синее письмо из Новосибирска, и знакомое волнение охватило Мишу. Друзья не подвели. Он разорвал синий конверт и вытащил оттуда белый — поменьше — из санатория. И белый разорвал — опять конверт, рука Зины! А в этом конверте лежало его треугольное письмо с надписью от угла к углу: «Адресат выбыл». Не надпись, а каракули, словно писала Гришкина левая рука. И без штемпеля. Но Миша так и не заметил этого.

Вот он и выздоровел от ран и от любви. Глядя большими глазами на перстень, он повернул его на пальце несколько раз и улыбнулся — чудес на свете не бывает.



ВСТРЕЧА С БЕРЕЗОЙ

Шесть лет, проведенных в армии, и из них два года на фронте, не прошли для меня бесследно.

И не то что бы я стал нетерпимым в беседе или потерял приветливый облик москвича. Другое во мне совершилось.

Я ушел в армию восемнадцатилетним мальчишкой, и было это в тридцать девятом году; я был беспечным и некурящим, видел в жизни только яркие пятна, а проходивших мимо пожилых, сосредоточенных людей с потертыми портфелями не замечал. О своем месте в жизни я тогда еще не задумывался всерьез, должно быть потому, что был молод, самоуверен и не видел границ отпущенного нам времени.

Мне нравилась военная форма. Я с радостью надел ее, с восторгом замер в строю призывников. Полковая школа сделала меня немногословным и строгим сержантом. Я знал, что война будет и что враг готовит где-то оружие, и был готов к встрече.

Тут, кстати, можно вспомнить, как я в июне сорок первого при первом налете «Юнкерсов» выскочил со своими товарищами из эшелона — в трусах и каске — и побежал спасаться по ровному полю, покрытому ромашками.

Но после этого, при лимонном свете угасающих ра-

кет, я застрелил и штыком заколол в зигзагах окопа нескольких гитлеровцев. Потом я еще и еще попадал в такие положения. Иногда рядом со мною, раненные осколками, падали мои товарищи.

Я слишком долго — два года — смотрел на мертвецов, лежал рядом с ними, хоронил их, и теперь вид мирных похорон и звуки траурного марша не вызывают во мне тоски и паники. Я уже не стараюсь думать о чем-нибудь постороннем, чтобы забыть о смерти, как это раньше бывало.

Но это тоже не все. Что-то случилось со мною на войне. В тридцать девятом году я не верил в мужские слезы, гордился собою, потому что ни одна слезинка не падала из моих возмужалых глаз.

На войне однажды зимой командир батальона капитан Фирсов вызвал меня в блиндаж и, выслав всех, бросил мне упрек, обвинил в трусости. Четыре ночи я со своим отделением где-то пропадал и не смог добыть ему живого фашиста, из тех, чьи тонкие голоса поздними вечерами доносились даже сюда, в его блиндаж.

Я оправдывался. Осторожны гитлеровцы стали, четверых мы у них уже взяли на прошлой неделе, больше не даются живыми тащить.

— Бояться начинаешь, сержант? — сказал комбат. — Дожить хочешь до конца войны? — Он нарочно не упоминал о моих заслугах. — Дожить, значит, решил. Нет, нет, мы не доживем с тобой, если будем так воевать. Вот как надо воевать, — он посмотрел на выход, — как старшина Бадьин.

— Я, товарищ капитан! — Бадьин спустился в блиндаж.

— Тебя не звали. Иди.

И Бадьин скрылся.

— Разрешите сходить завтра, — сказал я, стоя навытяжку.

Тут комбат повернул ко мне фонарь и стал на меня внимательно смотреть, словно я только что вошел. Потом повернул фонарь светом к себе и сказал:

— Садись. — Подвинул ко мне карту. — Сегодня до рассвета полезешь на передний край и изучи мне все возможности вот тут, в квадрате.

А я в это время вытирал слезы правым и левым рукавами.

Когда мне в госпитале резали раненое бедро — глубоко и вдоль — и вставляли туда резиновые трубки, глаза у меня были сухими. А через день, когда я расставался со своим другом Мишей Ноготовым, раненным двумя пулями в грудь, когда его уносили на носилках и он, уезжая от меня навсегда в далекий, какой-то специальный госпиталь, повернул ко мне желтое лицо и повел на меня угольным глазом навыкате и еле кивнул, — зажмурился тогда я и вздохнул.

Через год, в другом госпитале, в Польше, медсестра дала мне почитать книжку стихов Есенина. Читал я его впервые, читал всей палате, и заметил я, что мне тяжело читать его. А «Анну Снегину» я дочитать не смог. Я прочитал: «Я помню, у той вон калитки, мне было шестнадцать лет, и девушка в белой накидке сказала мне ласково — нет», — и сколько ребята ни просили, я не стал читать дальше и накрылся одеялом с головой.

Я вспомнил свою историю, которая до сих пор не имеет конца.

Москва!

Еще в вагоне я надел орден Славы и обе медали «За отвагу» и медали за Кенигсберг и за Ленинград и покатил в машине по милой Краснопрудной. Сидя рядом с шофером, я вдруг понял: тесно в моей груди, и не вместить ей никогда всю мою любовь к Москве, к этому незнакомому человеку, к жизни, к миру, ради которого мы пролили так много крови.

Я так улыбался всю дорогу и так щедро угощал шофера папиросами, что наконец и у него, старого москвича, появилась плутоватая и косая улыбка.

Показался и мой пятиэтажный дом вдали, среди зелени Сокольников, и я почувствовал острый укол в груди. «Сюда», — сказал я шоферу и большими глазами стал смотреть вперед — не увижу ли маму на улице, или, может быть, у ворот, или во дворе, или у подъезда? — и боль моя усиливалась.

И эта боль прямо заныла, когда я прижал ее, пла-

чущую, и, после шести одиноких лет, седую, одетую в аккуратно заштопанное платье.

Она взяла со стола кошелек, сшитый из белого холста, стала пальцами шевелить в нем свои трешницы и рубли. Я догадался, что она хочет купить для меня угощение.

Пока она, сияя и вздрагивая одним веком, раскладывала на выскобленной доске стола эти деньги, я распустил ремни на своем чемодане. Я выбросил из чемодана мешочки с мукой, рисом и сахаром — паек демобилизованного — и, кроме того, подарки командования. Я достал для мамы жакет и юбку из черного шевиота и бросил на ее кроватку. Затем достал отрез на пальто, развернул кусок шелка и положил сверху пару туфель.

Через час мама была уже одета почти так же, как в тридцать девятом году, и я торжественно среди лета разжег печку на кухне и бросил в огонь все старье. Кончена война!

За обедом мать меня спросила, что еще лежит у меня на дне чемодана.

— Так, чепуха разная.

Я не сказал ей, что там лежало и для кого привез. Такие вещи вообще не говорят матерям, а я был единственным сыном у нее.

Я пообедал плохо, не так, как хотелось бы ей, и, сразу же встав из-за стола, сказал: «Ухожу на полчаса», — и ушел в парикмахерскую. Я с трудом дождался очереди, но туалет мой затянулся, потому что я хотел явиться к н е й с серьезным предложением, если она осталась верной. И нужно было, чтобы соседи и мать поняли, что пришел жених с фронта, заслуженный и не старый. А если кто-нибудь у нее уже есть, пусть ордена и погоны сержанта, блестящие пуговицы и прическа блестят еще сильнее и скроют от нее то, что ей тогда уже не нужно будет знать.

Из парикмахерской я бросился в метро. Мало мне эскалатора, который плавно меня влек вперед к моему разочарованию, — я побежал по его живым ступеням, и через минуту я впервые за шесть лет в подземном поезде летел по поющему туннелю.

Я позвонил два раза около знакомой двери. Никто не ответил. Я позвонил один раз. Вышел, напевая, полный молодой мужчина в синих галифе и подтяжках поверх белой сорочки, расстегнутой почти до пояса.

Я спросил:

— Мария Федоровна Сорокина здесь живет?

Он отступил вглубь передней и сказал:

— Войдите, пожалуйста.

Я вошел по-военному, чуя подвох. Он спросил:

— Вы кто будете?

— Знакомый ее.

— Так вы говорите — Сорокина? Н-нет здесь такой фамилии, — он сделал ласковое и печальное лицо и даже склонил голову набок и, сунув руку за пояс брюк, стал медленно щупать живот.

Я прошелся по передней, и он следовал за мной в молчании. Я сказал, что не видел ее шесть лет.

— Здесь живут две семьи, — сказал он мне сзади. — Вы говорите, шесть лет? Так мы же въехали в сорок третьем, и квартира была опечатана.

— Вот оно что, — сказал я и, простившись с толстяком, уже не по-военному вышел, и он, проводив меня на лестницу, глядел мне вслед и все держал руку за поясом.

Если бы не было этой войны, то я, может, и разлюбил бы Машу за шесть лет разлуки. Ведь я очень легко был ею увлечен тогда, в восемнадцать лет. Ну, мечтал я о ней, ну, ревновал. С нею мы даже под руку не ходили, а ходили плечом к плечу, и только она держала меня за палец — сожмет его и посмотрит на меня, как заговорщица.

Но на войне, особенно когда нет фотокарточки и девушка не пишет, легкое увлечение переходит в тяжелую тоску, и боишься: вот тебя убьют, и ты ее не увидишь.

У нее были подруги: Тамара — эта побольше, — и Зоя — маленькая; обе похожие на ясноглазых мальчиков-братьев. Если бы ее не было, я любил бы

только их. Мы с нею так их и называли — Том и Заяц.

Сначала их была троица. Но когда у нас с Машей начались многокилометровые прогулки по Сокольническому парку, те две сразу поняли и чуть-чуть отошли в тень.

Они все трое учились на одном курсе в техникуме. «Пойду к девчатам», — решил я.

Когда я позвонил у дверей квартиры, где жила Тамара, меня встретил дедушка в черном пиджаке. С головы его сбегали по щекам белые ручьи волос. Он держал в желтой глянцевой руке знакомую мне латунную жаровню с песком. «Ага, значит здесь Тамара», — подумал я, потому что мать ее держала большого старого кота, и зверь этот меня ненавидел. Ему и принадлежала жаровня.

Не ожидая приглашения, как в старые времена, я вошел в полумрак передней, и сразу с сундука на меня завыл огромный кот песочного цвета, и у него получилось вроде: «А-а, сколько лет, сколько зим!»

— Сколько лет, сколько зим! — сказал я, передразнивая кота.

Он раздулся еще больше за эти шесть лет, стал просто как морское чудо. Он увидел меня, вспомнил старую вражду и с этого момента не упускал меня из виду. Когда я подошел к нему, он воспрянул и жалобно закричал, махнув передо мной дрожащей лапой.

— Вы, э-э, к кому, товарищ? — спросил сзади меня дедушка с жаровней.

— К хозяевам этого кота.

— Я хозяин.

— Нет, хозяйка его — Варвара Ильинична.

— Ах, вы знаете Варвару Ильиничну! Проходите, пожалуйста! Нет ли у вас каких-нибудь вестей о них? Это их кот, но хозяева, как видите, уехали в Сибирь еще в сорок первом году с заводом и, знаете, запропали.

— А Тамара?

— Да, да, запропали. И завод там где-то обосновался, энский завод на энском месте, и они, кажется, не думают там о возвращении. Да.

— А Тамара?

— Тамара Сергеевна и уехала. Куда же мать без нее? Мать за ней.

— А Зоя?

— Зоя с ними уехала. Отец ее на фронте погиб. В сорок первом. Да погиб.

— А Маша?

— Эту девушку я что-то не помню. Лизанька! — он открыл дверь в комнату, держа перед собой жаровню. — Ты не помнишь, кроме Зои, кто приходил к Тамаре Сергеевне?

Он вошел в комнату и повторил вопрос и через минуту вышел, уже без жаровни, с разведенными руками, высоко подняв брови.

— Да, да, — сказал он. — Никто не знает.

Я вышел из метро на станции «Сокольники» и через парк побрел домой. Дело шло к вечеру, в Сокольниках над темными прудами березы тяжело замерли в безветрии; прямая аллея, пересеченная корнями, напоминала мне тридцать девятый год, когда не я, а другой Владимир, восемнадцатилетний и беспечный, догонял здесь свою Федоровну, а она то и дело убегала от него.

Сокольники — такое место, где на каждом шагу зеленая скамейка. Но не легко сесть на скамейку вечером. Не знаю, как сейчас, но в тридцать девятом году Владимир и Маша всегда находили скамьи занятыми — везде пары: спиной к аллее, лицом в парк, голова к голове.

Тогда Владимир оторвал дома в сарае две доски и в самом глухом месте парка сделал в кустах под березой прочную лавочку — на двоих. И в этот же вечер они пришли сюда, и здесь Владимир, шепча ей на ухо, поцеловал ее в холодную щеку, и она вспыхнула, отпрянув, и стала оглядываться по сторонам. Потом он обещал ей помнить о ней вечно, а она только смотрела на него покорно и нежно, иногда качала головой, как старшая, и говорила «ай-ай-ай», хотя и было ей всего только семнадцать лет.

Что потом было, какие это были дни! Какие это были двадцать три дня! А потом он получил повестку и уехал служить в армию. И вместо него вернулся я — через шесть лет.

Опять передо мной стена молодого темнозеленого ельника. Он попрежнему топорщился и загораживал всем путь к нашей лавочке.

Я попробовал найти нашу тайную лазейку — и не нашел, и полез прямо в иглы. Десять, двадцать шагов я боролся с иглами. Пролез наконец, березу увидел, белую, неприкосновенную. Но лавочки под нею не было. Даже и ямок не осталось. Трава росла, бессмертная, на этом месте — осенью пожелтеет, весной оживет, — она и затянула все следы, чтобы никто не помнил. А мою прочную скамейку кто же нашел и выдернул?

Товарищи, разные бывают раны. Я опустился на траву и лег лицом вверх — к вечерней сини, раскинув руки. Моя береза жила надо мной каждым листочком. И по стволу сверху вниз и снизу вверх рыскали муравьи.

И тут же я вскочил.

На березе выше моего роста, на коре, была надпись, вырезанная глубоко:

«Уезжаю с заводом, куда — не знаю. Милый, мы встретимся!»

И я сразу догадался, как она достала так высоко: она вырезала буквы, став на нашу лавочку. А потом выдернула ее, чтобы никто не достал, не заровнял ее букв.

Я обнял березу и зажмурил глаза. Нет, я не в обиде на войну за то, что она научила меня плакать.



ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ

Сегодня опять мой дом — палатка. Стропила из жердей, обтянутые серым от дождей брезентом. Полог у входа откинут, и мне отчетливо видны мои сторожа — сияющий Сказский ледник, который альпинисты называют просто «Сказка», и белый пик Адай-Хох. Сегодня с утра небо синее, Адай освободился от облаков, дождей больше не будет, и я слышу как в соседних палатках, выше и ниже, как раз об этом говорят альпинисты.

Я топаю ногой посильнее, так, чтобы заметил мой сосед Кирила: она у меня здорова. Выхожу из палатки и сажусь на пенек.

Год назад доктор Иванов выгнал меня из лагеря и сказал, чтобы с моей ногой я больше никогда в горы не совался. Весь лагерь стал мне тогда чужим, я был отлучен, не мог вынести этого и поспешил уехать. После этого целый год я лечился электричеством, грязевыми и парафиновыми ваннами, и рана моя закрылась окончательно. Правда, вчера она вдруг начала чесаться и пришлось ее забинтовать, но это другое дело — прошли дожди.

— Кирила, — говорю я, — что бы ты делал, если бы на всю жизнь остался, скажем, хромым?

— Если я когда-нибудь охромею, я разыщу тебя, —

неторопливо гудит Кирила из палатки. Он вырезывает из войлока стельку и любуется своей работой. — Ты ведь друг мне или нет? И один раз в году ты меня будешь таскать на какую-нибудь вершину. А ты что — захромал?

— Нет. Просто я заметил, что ты нынче прихрамываешь на обе ноги.

— Ты о Любке? — он все еще любуется стелькой и даже насвистывает.

— О ком же!

— Н-да, — говорит Кирила и, поглядев на меня через роговые очки, принимается за вторую стельку. Он разложил войлок на загорелых коленях. Почти бесцветные, с яичным оттенком, прямые волосы падают ему на очки. — Ошибаетесь, молодой человек, — говорит он баском. — Мы с такими девчатами разговариваем только на «вы».

Внизу, подо мной, между соснами, — волейбольная площадка, как большая песчаная ступень, врезана в склон. Над нею взлетает мяч.

— Чем любуешься? — спрашивает Кирила из палатки.

— Любуюсь известным вам лицом. Она — на площадке.

— Какое на ней сегодня платье?

— Косы и купальный костюм.

Вырезав стельки, Кирила вкладывает их в огромные ботинки, подбитые железными зубцами. Затем, в молчании, неторопливо надевает свои голубоватые лыжные штаны, заправляет в них клетчатую рубаху со спортивным значком, и я знаю, к чему это клонится. Он выходит из палатки и пристально глядит вниз.

— Я еще не захромал, но могу захромать, — признаюсь я, ощупывая ногу.

Он не отвечает.

— Доктор не подвел бы. А, Кирила?

— А ты сходи, — он задумался над моей бедой, даже посапывает. — Сходи. Я поговорю с ним.

На площадке заметили нас, зовут играть, и Кирила рысцой сбегает по склону, расшвыривая во все стороны сосновые шишки.

И вот он уже внизу, стоит, не глядя на Любку и пропуская мячи. Как и всегда, над ним смеются на волейбольной площадке. Он не умеет играть. В горах — другое дело. Все знают, что совсем недавно он с мастерами спорта взял вершину Сангути, маленькую и неприступную скалу, и последние метры лез вверх босой и без перчаток, припадая к отвесному камню. Любка знает об этом и вместе со всеми смеется над ним.

После обеда я поднялся к себе в палатку и, оберегая ногу, поскорее лег. И опять в палатку вдвигается, как белое видение, как седой патриарх, мой строгий Адай, вызывает на богатырскую встречу. Но я не боюсь, любуюсь моим противником. Вот и пойми альпиниста: только ради него, Адая, я два года лечил ногу — с того самого дня, как вышел из госпиталя. Завтра я стану маленькой черной точкой на белом темени Адая, и доктор Иванов отсюда, из моей палатки, будет отыскивать меня в свою подзорную трубу. А послезавтра, измученный, вернусь и весь день буду ходить по лагерю как в тумане, подвергая себя последнему подвигу: рассказывать о трудностях и победах в лагере нельзя. Здесь все такие, палаточные жители!

Кирила после обеда пришел в дурное настроение. Он, сопя, снимает рубаху, швыряет свои ботинки под койку и бросает на меня недобрые взгляды.

— Не Любка ли виновата? — спрашиваю я, и он отвечает вопросом:

— Ты никогда не был носильщиком? Нет? Так вот, станешь инструктором — узнаешь, что такое носильщик.

Койка тяжело скрипит под ним, и он как залег на койку, так и замер, заснул, не снимая очков, темный, полуголый, желтоволосый великан в лыжных штанах.

И вот я слышу шаги — к нам идут. Сначала я вижу сарафан — белый, с красным горошком. Потом появляется и круглое от счастья и улыбки лицо, серые чистые глаза отыскивают меня в полумраке палатки — и тихо так становится вдруг в мире.

— Боги спят, — говорит Любка.

Вокруг становится еще тише. Как хозяйка, она смело садится у входа на наш треснутый пень.

— Пойдем малину собирать, — предлагает она, перебросив русую косу из-за спины на грудь. — Эй, ты! — и тормошит мою больную ногу.

Я уже не борюсь с ее властью и не боюсь подчиниться ей, как боялся всего лишь неделю назад. Я привык уже к этой нежности ее глаз и тишине. Не хочу, не хочу верить им!

— Видишь, Любка... (Я спокоен и даже потягиваюсь.) Видишь ли, какая штука, я завтра иду на Адай. А сейчас у меня дело — стиркой займусь, пойду на реку.

— Успеешь, — говорит она неуверенно. — Я ведь тоже вот иду завтра с вами...

— Ты? — я даже привстал. — Это же второй категории вершина!

— Ну и что же? Я на единицах уже бывала. Пора и на двойку.

— Кто же тебя возьмет?

— Кирила. Вот этот самый. Я попросила, и он согласился. Он и кошки взялся мне подобрать и штормовой костюм.

«Значит, подберет и кошки. Хо-хо! — думаю я. — Ну, Кирила, ты пропал!»

— Вы все неблагодарный народ, — говорю я Любке, зевнув, — сегодня дарите улыбки, а завтра, когда вас втащат, вам того и надо: до свиданья, носильщик! Любка, у тебя ведь занятия в институте, ты ведь уезжаешь через три дня, — что ж ты так разулыбалась сегодня на площадке? Тебе не жалко его?

Любка краснеет, рассматривает ногти, корявые, изломанные на скалах.

— Да ты не обижайся, — после обеда я настроен миролюбиво. — Давай поговорим. Только условимся: говорим правду. Тебе хочется взойти на настоящую вершину. На опа-а-ас-ную... (Я подчеркиваю это, выставив палец.) И сфотографироваться там. Ты в этом не виновата. Просто хочется тебе — и все! Приедешь в Москву — ребятам снимки покажешь. Правда? И кто виноват, что у тебя сил не хватает на это? Разве

тебя можно сравнивать с нами? И вот приходится брать носильщика. Никуда не денешься.

— Я тебе сейчас покажу, я не так уж слаба! — Любка еще больше краснеет, ей неловко, она тянет меня за ногу, хочет стащить с койки.

Тогда я быстро приподнимаюсь и, поймав ее запястье, сильно сжимаю, и она никнет, вот-вот станет на колени.

— Теперь тебе все понятно? — говорю я, наблюдая ее. — держись крепче за Кирилу. Ты не ошиблась.

И тогда, молча встав и уже не заботясь о косе, она уходит.

Доктор Иванов тоже альпинист. Это он еще пять лет назад назвал горной болезнью мое пожизненное увлечение снежными вершинами, что тесно обступают Цейское ущелье. Он и сам болен тем же, но сердце и полнота не позволяют ему подниматься выше трех тысяч метров. Поэтому он и завел себе подзорную трубу и наблюдает все восхождения снизу.

Он живет под каменной кручей, высокой и заплесневелой, в маленьком домике, окруженном соснами. Нога моя здорова, я легко взбегаю по склону и вхожу в домик. Доктор встречает меня, одетый, как и все в лагере, в черные трусики.

— Что ж ты приехал? — начинает он докторский разговор, надевая халат. — Ведь я сказал тебе в прошлом году: езжай и не показывайся больше.

Он ведет меня поближе к свету и начинает осмотр. Сильная боль тяжело ударяет меня — это доктор сжал пальцами мою ногу. Но я даже не дрогнул.

— Что это у тебя, остеомиэлит? Залечил? — доктор не спускает с меня глаз и терзает пальцами мою икру.

— Чепуха, — смеюсь я, потея от боли.

— Можешь ехать домой, — доктор решительно садится к столу и смотрит через окно на вершину Адая.

Вот так он сказал мне и в прошлом году. И тогда мне пришлось уехать.

Я не ухожу из домика, стою, даже устал.

— Кто с тобой идет? — спрашивает доктор строго.— Знаю, знаю, Кирила. Он мне говорил. Кто третий? Сильный парень?

В это время за окном, среди палаток, я вижу Кирилу и Любку. Они идут к ее палатке, рослый Кирила, покачиваясь, несет в охапке целый ворох снаряжения — для нее.

— Не знаю, — говорю я неопределенно.

— Эх, альпинист! «Не знаю»! Ну, Кириле я тебя доверю. Дойдешь. — И он пишет что-то на четвертушке бумаги.

Рано утром мы выходим из лагеря. Нас трое. Мы с Любкой в лыжных штанах и клетчатых рубашках, а у Кирилы его рубаха заправлена в коротенькие трусы. Мы идем медленно в гору, след в след, мерно покачиваем нашу кладь — рюкзаки. Еще с вечера Кирила методично распределил груз: консервы, хлеб, яблоки и дрова. Мне и себе поровну, а Любке поменьше. Он сам поднял за лямки и взвесил в руках каждый рюкзак, и я, предвидя, что ему с Любкой придется туго, забрал себе еще палатку и связку веревки.

Мы идем все время вверх, держа ледорубы на весу, по пояс среди высокогорных кирпичнокрасных маков. Тихая жизнь в последний раз неуверенно говорит мне: «Останься!» — и слишком щедро наделяет меня своими отцветающими радостями. И на прощание мы втыкаем по маку себе в шляпы.

Затем, без колебаний, вступаем в страну камня, идем по огромному желобу, заваленному обкатанными валунами. В полдень мы уже видим язык Сказского ледника — то место, где из-под ледяного каравая вылетает, пенясь, новорожденная горная река. С камня на камень, в молчании, мы переходим реку, и нога моя начинает ныть (надо же было пройти этим дождям!). Я украдкой уже опираюсь на ледоруб.

Любка идет впереди меня и покашливает — у нее еще не установилось дыхание. Часа через два около самого ледника специально для нее устраиваем привал. Садимся на камни и молчим. Кирила садится отдельно от нас, на самом большом камне, весь светится загаром и желтизной, бросает на Любку недобрые тихие взгляды, а я из-за ее спины таращу на него глаза и выпячиваю губу. «Так-то! Назвался груздем!..»

— Дайте-ка, Люба, ваш рюкзак, — говорит он,

развязывает ее рюкзак и, подбросив в воздухе две буханки хлеба, перекладывает одну к себе, другую бросает мне.

Любка краснеет и не смотрит на меня.

— А где ваш «фэд»? — спрашивает между тем Кирила, роясь в рюкзаке. — Вы должны нас сфотографировать.

Любка молчит. Я жду ответа.

— Забыла в лагере, — сухо говорит она.

Впереди солнечно-яркий снежный склон. Мы надеваем штаны и куртки из тонкого брезента, черные очки-консервы. Разматываем тридцатиметровую веревку и связываемся. Любка идет посредине.

Мы уже высоко на снегу, и наши костюмы начинает сечь и рвать жесткий ветер. Кирила методично пробивает ботинками ступени, временами останавливается, поджидая Любку. Моя поклажа становится все тяжелее, она вдавливает меня в снег по колено.

Через час мы опять садимся — на каменном гребешке. Хочется кислого, и Кирила выдает нам по большому зеленому яблоку. Свое яблоко он прячет в карман. Он будет жевать его по кусочку там, наверху.

Я вижу — Любке трудно. Она даже похудела. Но и мне не легче. Нога моя нагрелась, и в ней глубоко пульсирует боль. А впереди — новый склон, почти отвесный, закругляясь, уходит в синюю небесную твердь. И снег здесь другой — как лежалый сахар, покрыт твердой, исполосованной ветром корой.

— Н-да-а... — мычит Кирила, подбоченясь, задрав голову вверх и оглядывая через черные очки сверкающий склон.

Он смотрит на меня черными очками: «Здесь можно покатиться».

Ощупав ногу, я поднимаюсь. Я ударяю в снежную кору ботинками, но ботинок скользит, кора не поддается.

— Наденем кошки, — говорю я.

И все мы молча начинаем возиться с ботинками. Кирила привязывает кошки Любке, хотя это она, пожалуй, сумела бы сделать и сама. Но Кирила знает, что делает, — так будет вернее.

И вот начинается новая работа. Когда-то я ее любил. Мне всегда нравился трудный снег. Но сейчас — каждый удар ногой отнимает у меня силу.

Мы уходим далеко вверх, и там я останавливаюсь. Путь назад отрезан. Сзади нас огромная яма с наклонной снежной стеной, по которой, курясь на ветру, далеко вниз уходят наши следы. Под склоном — скалистые черные, как чугун, зубцы, а под ними новый склон, еще круче, сверкает, словно облитый белой эмалью. Ниже — опять зубцы, а за ними — ничего, туманная пустота, и сквозь нее, как сквозь запотелое стекло, улыбается далекая солнечная зелень долины, красным огоньком мерцает флаг над нашим лагерем. Оттуда за нами наверняка следит доктор Иванов.

— Как у тебя нога? — говорит Кирила, закрываясь рукой от ветра. Брови и очки его покрыты инеем.

— Ничего.

— То-то, «ничего»!

Я принимаюсь за работу. Нога моя уже весит несколько пудов. Пока мы стояли, она стала еще тяжелее. Но я иду. Вверху уже видны черные зубцы. Скорее бы добраться к ним, — ведь это чепуха, осталось не больше сотни метров! Я действую только одной ногой — здоровой, больную подтягиваю. Рюкзак мой от этого сбивается в сторону. Я теряю дыхание, частые удары крови в голову говорят мне об этом. Скорее к черным зубцам! Я решительно ударяю ледорубом в снег, ставлю твердо больную ногу, но она, чужая, вдруг едет — поехала...

— Держи, Кирила! — кричу я и ухаю вниз.

Лететь легко. Никто меня не держит, рюкзак играет мною, лечу кувырком, со мной летят жесткие куски снега, летят Любка и Кирила — я и их сорвал веревкой. «Нельзя! Смерть!» — холодно говорит мне кто-то в уши. Отвердев, я шире раздвигаю ноги, отчаянно торможу ледорубом, вихрь жесткого снега поднимается вокруг меня.

И вдруг тишина. Я повисаю на ледорубе и сразу же всаживаю его глубже под снежную кору, держусь за него. Веревка натянута, внизу на ней висят Любка и Кирила.

— Н-да-а, — слышу я снизу. — Метров пятьдесят потеряли. Что ж, трогай дальше, корабли.

За черными зубцами — скальная площадка. Наконец мы на ней. Стараясь не хромать, я ухожу за камни и здесь прежде всего, засучив штанину до колена, сдвигаю бинт и рассматриваю больную, горячую ногу. Она слегка припухла, прорезана вдоль икры розовым рубцом. Тайком, как вор, я делаю себе небольшую операцию — то, что делают в перевязочной,— и прячу под камень мокрый бинт. Больше ничего — дело испытанное. Кое-как я смогу шагать.

Потом я поднимаю голову и вижу Любку. Она стоит на камне, упершись руками в бока, и оцепенела: она видела мой рубец.

— Любка, — говорю я медленно и как будто бы безразлично, — ты все видела. Ни слова.

— Ты был на фронте?

— Да. Вот если ты сумеешь помолчать хоть один день, я никогда больше не буду говорить тебе неприятности. Договорились? А теперь иди.

Покончив с ногой, выхожу из-за камней и слышу такой разговор:

— Что бы ни было, а надо здесь заночевать,— говорит Любка упрямо. — Может, корабли будут возражать, а я все равно сегодня дальше не двинусь.

Она смотрит на меня черными очками, — и только я один ее понимаю.

«Вот они, девчата. Уже выдохлась!» — словно говорят мне черные очки Кирилы.

Прекрасна ночь в горах, наверху. Голубеют от тихого лунного света снега, а в пропасти под нами искрится мороз. Усталые, мы все трое лежим в спальных мешках, высунув головы из палатки. Над нами, совсем близкая, молочно белеет голова Адая.

— Кораблик, ты спишь?— тихо спрашивает Любка и толкает меня кулаком через мешок.

— Сплю, — отвечает Кирила. Он лежит по другую сторону от Любки.

— Дойдешь? — шепчет мне Любка в самое ухо.

Утром мы быстро свертываем палатку. Любка на маленьком костре в котелке греет снег. Хочет здесь.

наверху, мыть посуду! Кирила широко улыбается мне, незаметно кивая в сторону Любки.

Быстро и плотно наедаемся. В горах весело — восходит солнце. Голова Адая уже стала яркорозовой, а под нами внизу — ночь, накрытая белым облаком. Нога моя в порядке, почти не болит, я прыгаю на плоском камне и даже пытаюсь отбивать чечетку под недоверчивыми взглядами Любки, а затем, на всякий случай, ухожу за камни и там опять осматриваю ногу.

Когда я возвращаюсь, уже все уложено. Кто-то уложил и мой рюкзак. Кирила подходит к Любке, хочет взять что-нибудь из ее груза, но она спокойно садится на свой рюкзак. Она умеет разговаривать с Кирилой. Кирила больше не настаивает.

Мы связываемся веревкой, как вчера, я надеваю рюкзак... Надеваю и снимаю: вот так новости! Мой рюкзак стал легче в пять раз. Не рюкзак стал, а легкая подушка. Меня обобрали!

— Свинство! — громко говорю я и гляжу на ребят.

Но они не хотят признаваться. Мой растерянный гнев не замечают. «Скандал!» — думаю я.

— Ты отбивал чечетку, вот и иди вперед, — добродушно командует Кирила.

И я, пристыженный, тихо и покорно иду впереди всех. Мы шагаем след в след через белое мертвое поле ледника, лавируя между зелеными трещинами-пропастями. Груз мой слишком легок, я стараюсь не вырываться вперед, но Кирила все же шутливо замечает мне:

— Эй ты, убавь паруса!

Мне стыдно. Теперь, пожалуй, я имею право предложить Любке помощь. Когда, наконец, мы присаживаемся отдохнуть, я набираюсь смелости и, сделав шаг, останавливаюсь в самой решительной и неловкой позе. Любка угадала мои намерения, спокойно кладет руку на свой рюкзак, поворачивает ко мне исхудалое лицо. Она жует снег. Щеки ее запали.

Последняя остановка. Сбросив кладь, считаем и делим куски сахара, карманный запас. Мы торопимся, знаем, что вершину штурмовать надо, пока Адай спит и его снега еще не оттаяли.

И налегке, без рюкзаков, мы бросаемся на последний снеговой склон, взбираемся на острый его гребень и, балансируя, почти как канатоходцы, между двумя пропастями, проходим к скалам, лезем по камням вверх, вверх и вверх, — и, наконец, вот он, обдутый ветрами, обледенелый снежный купол — голова Адая.

Отсюда виден весь Кавказ, он под нами, все его дальние и близкие горы и снега, белые и лиловые тучи между хребтами. Я приподнимаю очки и через полминуты, почти ослепнув, опускаю, — я всегда так делаю на вершинах и уношу после этого вниз, на землю, воспоминание о дорогой мне, самой чистой и потому суровой белизне, которая недоступна нашим слабым глазам. Любка, Любка, без тебя я, пожалуй, не добрался бы до головы Адая. Я хочу поблагодарить ее, хочу держать речь:

«Кирила, Любка! Я ведь поднимаюсь в первый раз после войны!..»

Но Кирила командует:

— Вниз!

Он уже успел «оформить» наше восхождение — вложил записку в пирамидку, сложенную из камней около темени Адая.

Мы съезжаем к скалам на подошвах, как на лыжах; почти бегом минуем скалы. Затем сматываем веревку, и Кирила первый, правя ледорубом, как лыжник, летит вниз на подошвах, поднимает снежный вихрь, — прямо к нашим рюкзакам.

Когда я спускаюсь, Кирила уже ждет меня, подняв очки на лоб, и у ног его — развязанный рюкзак Любки и моя палатка.

— Н-да-а... — говорит он. — Ну-ка спляши еще раз чечетку, — и смотрит на меня близорукими бледноголубыми глазами. На меня и на мою ногу.

«Вот спустимся, я тебе задам», — говорят его глаза.

Осторожно, шаг за шагом, к нам спускается Любка, и все трое мы не глядим друг на друга.

— Яблок у вас не осталось, кораблики? — спрашивает Любка устало.

— На, дай ей, — Кирила тайком сует мне свое уцелевшее яблоко.

— Люба, — говорю я, — бери. Вот так. Этого восхождения мы с Кирилой никогда не забудем.

Через день, уже в лагере, мы несем вещи нашей москвички к мосту через горную реку. Прощание наше тихое. Пропустив несколько грузовиков, я останавливаю, наконец, машину: не вечно же прощаться! Кирила подсаживает Любку в кузов. Грузовик трогается, уезжает к станции Алагир. А мы, постояв на дороге, уходим на склоны за малиной. Сегодня мы одни.



В НОЧНОЙ СМЕНЕ

В цехе появился новый человек — белокурый большеголовый плавильщик в новом комбинезоне из белого брезента. Все сразу заметили его, потому что он всем мешал: как стал посреди цеха, так и стоял целый час у всех на пути, провожая странным взглядом каждого рабочего, словно выбирал себе противника по плечу.

О том, как он попал на завод, знал только бригадир первой печи Степан Абакумович. Случилось это две ночи назад, в его смену.

В ту ночь, как всегда, завалив печь шихтой, он отдал лопату подручному — старость не позволяла ему подолгу стоять в жаре. Он поднял синие очки на лоб и побрел прочь — сухонький, сутулый, вытянув голову вперед, спустился по железной лесенке и вышел из цеха через арку в толстой стене. Вышел, и окружили его тишина, полночный покой. Над темными крышами играли и переговаривались крупные живые звезды. Капали, наплывали отовсюду далекие и близкие звуки весны.

Набирая трубкой табак из жестянки, мастер вдруг замер: перед ним на низком палисаднике, под голыми кустами сирени, сидел человек.

— Кто это сидит?

— Приехал тут один. Родню дожидает, — отозвался издалека старческий голос вахтера.

Темная фигура между тем поднялась, подвинулась, и мастер увидел прямо перед собой высокого парня в полупальто нараспашку, в светлой рубахе. Степан Абакумович посмотрел на его красивую, белую, курчавую, как барашек, голову и, нарочно ни слова не говоря, стал ждать.

— Из Бердянска приехал, — наконец сказал парень. Опустил большую голову. Махнул по коленям фуражкой и признался: — Знакомая у меня здесь. В ночную работает.

— Ну, ну... Что у вас слыхать там, на море?

— Обыкновенно. На косе живем, рыбу ловим — шемаю, тюльку.

— Ты что же там — бригадир?

— Мотористом. В артели.

— А знакомая, значит, у нас... — Степан Абакумович, склонив голову набок, любовался им. — Не забыл, значит.

— Вот приехал за нею. Домой звать.

И Степана Абакумовича вдруг покорила детская откровенность этого тихого, верного друга.

— Кто же это? Может, знаю?

— Яресько. Полина.

— Поля! Так это ты? Случайно, не Василий?

— А вы откуда знаете? — почти шопотом спросил моторист.

— Как же! Это же твои письма я ей передаю каждую неделю. Кто, мол, беспокоится? «Брат». Ох, синица, знаю я, какой брат! Знаю, какой брат!

Они замолчали. Степан Абакумович зажег спичку, она ярко вспыхнула, осветив его строгое, со втянутыми щеками лицо, черные очки на лбу и трубку.

— Не поедет. — Он положил большой палец прямо на огонек трубки и затянулся.

— Почему это?

— Зачем ей возвращаться? — рассуди. Первое дело, она специальность имеет. Второе... — Мастер вынул трубку изо рта и строго повернулся к Василию. — Второе она тебе сама скажет. Она тебе еще не писала?

Рыбак не ответил. Провел рукой по плотным кудрям, оглянулся направо, налево и попросил закурить. Протянув жестянку, Степан Абакумович заметил, что растопыренные пальцы Василия, загребая табак, трясутся.

— Так что же, позовем?

Василий сел на деревянную ограду.

— Позовите, — сказал он, глядя в сторону.

Степан Абакумович быстро вошел в цех через арку, поднялся по лесенке, надвинул синие очки. Из ближайшей плавильной ванны в глаза ему ударил яркий голубой свет. В синей прозрачной тьме у печи стоял высокий человек в твердом брезентовом костюме и, жестко сжав губы, глядел сквозь очки в огонь.

— Бригадир! — сиплым баском крикнул Степан Абакумович. — Илько!

Звеня прутом по полу, плавильщик подошел, краем твердой рукавицы поднял на лоб очки, и молодые глаза его весело засияли в глубокой черной тени.

— Пультовщицу сватают от тебя, — сказал старик.

Илько вынул из рукавицы дешевенькую папиросу-гвоздик и ушел к печи. Сунул прут в металл, вытянул, прикурил от прута и опять подошел к мастеру.

— Куда ее хотят поставить?

— Жених домой хочет увезти. Приехал за нею.

— Не поедет. — Илько оглянулся на открытую дверь пультовой. — Мы жениха угомоним как-нибудь! — И засмеялся, вытирая твердыми рукавами тонкую шею, задевая оттопыренные уши. — Правда ведь, дядя Степан? Жениться — так женись здесь, нам кадры нужны! — Он еще веселее засмеялся и, бросив звонкий прут на пол, побежал к печи и лопатой стал бросать известь в огонь.

В открытую дверь пультовой из-за щита с лампочками и циферблатами за ним исподлобья следила красивая девушка с узким и смуглым невеселым лицом. Широкие, уходящие к вискам золотисто-коричневые брови ее сердито шевелились. Поля смотрела на Илью, не замечая Степана Абакумовича, который стоял в тени, наблюдая за нею, и качал головой.

— Ты что же дверь не закроешь? — спросил он,

входя в пультовую. — Закрой! Небось он сюда и не посмотрит...

Поля покраснела, стала словно ниже ростом. А Степан Абакумович почесал мундштуком небритую щеку и сделал вид, что хочет уйти.

— Да, вот что, Поля, — он опять повернулся к ней. — Поди прогуляйся, а я здесь постою. Тебя гость ждет на улице. Брат приехал.

— Брат? У меня брата нет,— глаза у Поли вдруг стали большими.

— Не ветер же тебе письма писал! Тот самый брат и приехал. Дожидается внизу.

И Поля отвернулась и медленно пошла — в своем черном халатике с засученными рукавами — мимо печи, мимо Ильи...

Через полчаса она вернулась. Поглядывая на стрелки приборов, закусив губу, она сердито двигала большими, тающими у висков бровями. Она и здесь продолжала разговор с Василием — отказывала ему наотрез, раз навсегда.

Посмотрев на нее сбоку, Степан Абакумович потихоньку вышел и спустился вниз, к арке, к палисаднику.

Василий еще стоял возле голых неподвижных кустов. Они оба долго молчали, не зная, что же делать дальше. Наконец мастер достал платок, громко высморкался и сказал между прочим:

— Лучше сразу узнать все: видишь, и земля не покачнулась, и деревья стоят на месте, — он взглянул в лицо мотористу.

— Не покачнулась, — рассеянно повторил Василий.

— Что ж, теперь домой?

— А? — переспросил Василий.

Глаза его блестели. Он глядел в арку, туда, где вспыхивали и угасали дрожащие красные отсветы. Потом тихо спросил:

— Кто у нее?

— Не могу знать, милок. Значит, сама-то не сказала?

Не сводя глаз с арки, моторист проговорил:

— Спрашиваете, куда поеду? А никуда!

Степан Абакумович нахмурился, опустил голову.

— К вам поступлю, — сказал вдруг моторист. Странное выражение — радость, не радость — застыло на его лице.

Они надолго замолчали. Старик неуверенно шагнул к арке. Остановился, развел руками.

— Разве что шихту кидать...

— Шихту? А возьмут?

В арке заполыхали, забегали красные отсветы.

— Слышишь, Васька? Я тебя вижу насквозь. Не выйдет у тебя ничего.

— Примут, так выйдет.

И вот в цех, в бригаду Степана Абакумовича, прислали новичка. Взойдя на площадку, Василий прежде всего увидел ослепительные живые переливы металла в ближайшей к нему ванне. Потом он заметил и плавильщика, высокого, очень молодого, одетого в брезентовый костюм, слишком просторный и тяжелый для его худых, острых плеч. Плавильщик медленно жевал кусок хлеба, глядя в ванну через темные очки. «Нет, не этот, — подумал Василий. — У этого уши торчат и шея тонкая».

Он прошел по цеху и остановился. Мимо один за другим, задевая его, шли рабочие, несли в ящиках с ручками черную и белую землю. Может быть, из них кто-нибудь?

Вдруг он увидел Полю через открытую дверь пультовой. Девушка словно не заметила его, только, опустив ресницы, вышла из-за пульта и захлопнула фанерную дверь. А Василий поскорее передвинул очки со лба на глаза. И все вокруг него потемнело. Только два яркоголубых костра — две печи — сияли теперь перед ним в синей бездне.

— Бери лопату! — услышал он сердитый басок Степана Абакумовича.

Старик стоял у полыхающей ванны между двумя холмами шихты — синий, сухонький и сутулый. Силясь перекричать трубный звон электродов, опущенных в жидкий металл, он тыкал голой, без рукавицы, рукой прямо в огонь. Двое рабочих с лопатами бросали в ванну шихту. Василий сразу понял — дело у мастера не ладилось.

— Кидай! — крикнул ему старик. — Да не туда-а, слепая! — запел он со злой болью и даже отошел в сторону, чтобы успокоиться. — Вот сюда и сюда кидай!

Они целый час заваливали ванну известью и коксиком. Василий видел, что и у соседей, у второй печи, идет такая же работа, видел их худощавого бригадира, который в очках был похож на длинного летчика. Так же, как Степан Абакумович, он, не боясь огня, указывал рукой в ванну.

Яркоголубая каша металла уже заполняла всю ванну, когда Степан Абакумович крикнул:

— Хватит, черти! Раскидались! — И, достав табак, словно удивляясь, с одобрением посмотрел на свою бригаду, приговаривая: — Вот черти! Ну и черти!

«Черти», улыбаясь, отошли к перилам площадки, закурили, вытирая мокрые, темные лица. Их было четверо.

— Вот у нас старик! — во все горло крикнул Василию коротыш-подручный в просторной брезентовой робе до колен. — Попал к нему — значит мастером будешь!

Этого горластого парня звали Тимофеем. Он закурил и, широко расставив ноги, весело закричал, что печь дело простое, что он сам месяц как из колхоза приехал.

Мимо них быстро и легко прошел молоденький бригадир соседней печи, держа рукавицы подмышкой.

— Это Илько. Его наш старик учил! — шопот Тимофея, неожиданно тихий, у самого уха, отозвался в груди Василия тупым долгожданным толчком.

Он удивился и побледнел раньше, чем понял, в чем дело. «Чепуха, чепуха!» — сказал он себе, ведя взглядом вслед Илье.

А Тимофей все шептал, доказывал:

— Я тебе говорю! Когда он работает, даже из транспортного цеха приходят смотреть. Счетоводы приходят! Ничего не понимают, а приходят.

Илья даже и не знал, что вот стоят здесь Василий и Тимофей и смотрят на него во все глаза. Даже и не взглянув на них, подошел прямо к Степану Абакумо-

вичу. Рабочие обступили двух мастеров. Илько что-то сказал, нагнулся к Степану Абакумовичу, улыбнулся худощавым, в грязных подтеках лицом. Сзади него сдержанно засмеялись. А Степан Абакумович солидно налег спиной на перила, сощурил глаза и не спеша заговорил о *козле*, о том, что печь его старая, теряет много тепла и металл у стенок густеет, *козлится*.

— В воздух все гоните, дядя! — закричал Илько сквозь звон печей. — Только поэтому! На первой печи можно еще работать!

Тогда Степан Абакумович ткнул его в грудь трубкой и резонно заметил:

— Ты не кричи,— и даже закрыл глаза, ожидая, пока все успокоятся. — Ты не пробовал на старой печи температуру держать? То-то и оно. Попробуй — тогда узнаешь.

— Я возьму вашу печь и дам тонну! — закричал Илько и посмотрел на своих ребят. — Дадим тонну? Думаете, не дадим? Где инженер? Товарищ Селезнева! — он выбежал из круга. — Идите к нам скорей!

Подошла маленькая полная женщина в оттопыренном комбинезоне, узко перехваченном в поясе. Она смело протолкалась в круг рабочих и сразу успокоила всех ясной, домашней улыбкой.

— Позвали женщину спорщиков мирить? Кто же тут спорит? — Селезнева весело оглянулась, задев каждого спокойным, милым взглядом. — Опять Илько со Степаном Абакумовичем?

— Да, да, товарищ Селезнева. Спорим! — сказал Илько, наклоняясь к ней. — Можно с первой печи тонну снять?

— Идеально — тонна двести. Но первая печь это же старушка!

— Меняемся? — предложил Илько.

— «Меняемся»! — Степан Абакумович усмехнулся и стал едко смотреть в сторону, постукивая носком сапога. — «Меняемся»! Это тебе не зажигалка! — он рассердился и, вытянув голову вперед, пошел к своей печи.

Илько в два шага нагнал его.

— Честное слово! Дам тонну! Степан Абакумович!

— Ну что, ну что, ну что прилип? — старик остановился. — Тебе же сказали — старая. Бери! Забирай ее совсем! Был на первом месте — съедешь на последнее. И бригаду всю утянешь за собой. Бери!

Через две недели Степан Абакумович принял вторую печь — Илько настоял на своем!

В первую же ночь старик дал на новой печи рекордную плавку — девятьсот двадцать килограммов. Он сам завалил печь шихтой и все три часа ходил вокруг ванны, не выпуская лопаты из рук. Степан Абакумович был сердит, охрип, колючим басом он покрикивал через плечо на рабочих.

Выпустив первую плавку, он сам взвесил слиток и, оставив у печи маленького Тимофея, приседая на слабых ногах, побежал вниз смотреть плавку Ильи.

Он немного опоздал. Илья уже выпустил металл и теперь стоял перед сияющей изложницей, словно у изголовья больного, неподвижный и прямой: очки на лбу, темные глаза, околдованные умирающим в изложнице огнем, остановились. Старик определил на глаз: «Не больше семисот».

Вот когда остыл весь мстительный задор Степана Абакумовича. Он несколько раз взглянул на Илью снизу вверх, но так ничего и не сказал, не решился.

В этот момент на лесенке показался Василий. В последние дни он словно влюбился в Илью — бледный ходил за ним и присматривался. Было похоже, что он догадался кое о чем, хотя Поля ничего не сказала ему тогда, при встрече, и Степан Абакумович честно хранил ее тайну.

Василий остановился, повел глазами на Илью.

— Все по местам! — резко крикнул ему старик.

Но и этот тревожный, горький окрик Илью не пробудил. Он не заметил и рабочих, которые подошли, чтобы укатить изложницу. Не взглянув на Степана Абакумовича, он повернулся, стал подниматься по лесенке. И старик, разводя руками, пошел за ним. «Чорт! — подумал он. — Вот так всегда у мужиков. Ни понять, ни утешить. Ни понять, ни слова доброго сказать не умеем!»

Илько остановился у своей печи, присел на корточки и замер, не сводя глаз с электродов.

— Что смотрите? Заваливайте шихту! — крикнул Степан Абакумович его бригаде.

Из пультовой вышла к ним маленькая женщина — инженер Селезнева. И с нею Поля в своем черном халатике с подвернутыми до локтей рукавами. Поля, став к Илье боком, быстро и сердито взглянула на него такими любящими глазами, что Степан Абакумович даже оглянулся — не стоит ли здесь этот несчастный жених? А тот, как назло, стоял у него за спиной, и знакомая странная улыбка не улыбка блуждала на его красивом бледном лице.

— Упрямец! — сказала Селезнева, наводя на Илью круглое синее стеклышко. — На него, как на огонь, смотреть надо!

И всем сразу стало легче от ее спокойного, домашнего голоса.

— Ничего, Илюша, мы ее отремонтируем, твою старушку. — Селезнева опять навела на него стеклышко. — Вот кого я буду ставить в пример своим сыновьям! Я знаю, что он сейчас думает.— Она загудела басом: — «Хватит! Поеду на Магнитку!» — и засмеялась. — Ну, ты, мастер, проснись! Как, по-вашему, Степан Абакумович, бросит он когда-нибудь хлопцев своих, нас с вами? Пусть это даже Магнитка!

— Меня? — Степан Абакумович вздохнул.— Меня, пожалуй, бросит. — Он посмотрел Илье прямо в глаза. — Бросишь меня, стервец? — И пошел на него с кулаками.

Получив от старика удар в грудь, Илько наконец очнулся. Он широко расставил руки и, обняв Степана Абакумовича, встал, поднял его в воздух, и все рабочие в цехе загремели, зазвенели железом и закричали «ура», подбрасывая вверх рукавицы.

С этого вечера Степан Абакумович стал чувствовать у себя за спиной неприятно-пристальный взгляд Василия. Моторист был странно послушен, проворные движения его выдавали твердую решимость. И старик, глядя на него, скреб щеку. Ему не хотелось, прямо руки не поднимались нанести новый удар Илье.

Именно удар — Илько не мог ни о чем даже догадаться.

Но белокурый контролер стоял у мастера за спиной и, отобрав лопату у Тимофея, молча командовал, всем на удивление подбрасывая шихту, сортировал известь не хуже Степана Абакумовича. У печи о нем уже говорили «наш ударник». Он нравился рабочим, непонятное мастеру веселье напало на них, на его «чертей». Ни на минуту не останавливаясь, они бегали от весов к печи, от печи к весам, подтаскивая шихту.

— «Тонну сниму»! Брось загодя хвалиться! — вызывающе, на весь цех, орал из темноты Тимофей. — Как будто мы не могли на той печи, на старушке, что-нибудь сделать!

— Слышь, Илько! Ты на этой, на новой тонну сними попробуй! — кричали рабочие, с ходу высыпая перед Василием шихту, переворачивая ящик.

— Хо-хо-хо! — гулко отозвался Тимофей, потирая руки, проходя мимо, поглядывая то на Василия, то на соседнюю печь. — У нас тоже работать умеют!

— Прекращай базар! «Хо-хо-хо»! Петухи! — резкий басок Степана Абакумовича обрывал страсти, и у печи наступало вполне приличное молчание.

Но дела это не меняло — старик видел: будет, будет новый удар Илье.

Пришел месяц май. Ночи стали еще светлее. Как по команде, зацвела сирень по всему чисто подметенному заводскому двору. У ворот вывесили доску с фотографиями лучших людей завода, и там, где всегда был портрет Ильи, теперь была приклеена фотография всем известного осанистого старичка с пробором посредине — Степана Абакумовича.

Однажды, когда Степан Абакумович пришел в цех принимать смену, на лестнице, в тёмном месте, его встретил Василий. Он остановил мастера, и старик сразу опустил глаза, — странно, но он все еще не мог смотреть в лицо этому рыболову.

— Под наш, дядя, рекорд заложена мина,— сказал Василий.

— Это что же такое, какая мина? — старик, не глядя на него, попробовал пройти наверх, но и рыбак сделал шаг наверх и опять загородил дорогу.

— А такая. Это хлопцы говорят. Он будет прогревать печь. Утоплять будет огонь до дна.

— Как же это он будет утоплять? — Степан Абакумович упрямо глядел вниз, постукивая носком сапога.

— А так, — Василий заторопился.— Известь плохо проводит ток. Понятно? Он электроды теперь известью закрывает — огонь-то и уходит вниз. Вот что. Весь огонь внутри, калории все...

— Ну и что же? — отчетливо спросил Степан Абакумович.

— Он еще одно дело придумал, дядя. Они сейчас обсуждали. Селезнева говорила — правильно.

— Еще раз: ну и что же?

— Так нам же надо сразу это... У меня тут записано, как и что. По часам. Что же — знамя ему отдадим?

— Значит, записано? Хм. Ну-ка покажи. — Степан Абакумович заинтересовался. — Дай сюда! — вдруг гаркнул он, багровея. — А мы вот сейчас спросим ребят, бригаду спросим! Мол, Василий предлагает... Сам не может, так подслушал. Предлагает готовым попользоваться.

Василий порозовел, и так, в молчании, они стояли на лестнице целую минуту.

— Ты бы рад ему финик поднести! — сказал наконец Степан Абакумович, разрывая записку Василия. — У нас социалистическое соревнование. Люди красоту показывают. А у тебя с ним что? Вот за это я и не могу смотреть в твою физиономию. Закури, Васька, не обижайся, правду говорю.

И Василий послушно запустил пальцы в жестянку Степана Абакумовича. Опустив глаза и часто моргая, он долго клеил языком свою цыгарку, а когда поднял, наконец, голову, оказалось, что Степан Абакумович ушел. А по лесенке, оглядываясь, перехватывая руками перила, осторожно спускалась к нему Селезнева.

— Ты на нашего Степана Абакумовича не оби-

жайся, — зашушукала она, закивала, ободряя добрыми, веселыми глазами. — Подбери, подбери бумажки. Молодец!

— Он говорит... — Василий опустил глаза.

— А ты не слушай! Что же Илько — монополию здесь откроет? Он свою, а вы со Степаном Абакумовичем свою? — Селезнева нажала своим стеклышком ему в грудь, приговаривая: — Не слушай, не слушай старика. Записывай. Мастером станешь. Илько и сам отдаст вам все секреты. Все, все секреты! Даже и не знала, что он так уважает секреты мастера, дедушка наш! — она засмеялась.

Ни о чем, ни о чем она не догадывалась! Даже погладила его по кудрям, погладила и чуть-чуть толкнула по-домашнему: работай, Вася! И Василий покраснел перед нею, как вор, до слез.

В этот вечер Степан Абакумович завалил печь шихтой, молча вручил лопату Василию и перебежал к Илье. Здесь, у самой ванны, уже стояла Селезнева. Одной рукой она держала у глаз синее стеклышко, другую прятала за спину.

— Илюша, сюда! — закричала она, перехватывая стеклышко левой рукой и пряча за спину правую.

Илько выбежал из-за печи с лопатой извести. Он бросил известь прямо к электроду, туда, где наметился яркий очаг огня. Лунноголубая жижа металла тяжело дышала и пучилась у ног Степана Абакумовича. Поверхность ее словно испарялась, по ней скользили голубые прозрачные вихри пламени, обвиваясь вокруг угольных электродов. Железный пол дрожал. Тяжелый подземный гул доносился из ванны.

— Слышите, Степан Абакумович? — крикнула Селезнева. — Огонь внизу гудит! Сегодня инженер — Илько, а я ему помогаю.

А Илько все ходил вокруг печи, не замечая никого, и пристально смотрел через очки в огонь, как пилот смотрит на далекую землю.

Степан Абакумович, не оглядываясь, вдруг протянул руку назад.

— Дай сюда!

Ему подали лопату.

— Ты иди, с той стороны наблюдай! — крикнул он Илье и, набрав лопатой побольше извести, пошел вокруг ванны.

К двенадцати часам у первой печи начали собираться зрители — новая смена: электрики, грузчики, даже вахтеры. Они стояли плотной толпой за пять шагов от ванны, не ближе и не дальше. В полночь Илько повернулся спиной к огню, и оказалось, что нужен ему новый железный прут и прута нет. Илько нетерпеливо оглядывался, ловя губами капельки пота.

— Прут! Прут давай! — закричали по цеху, и сразу же из толпы протянулись к нему несколько прутьев. Бригадир всадил новый прут в сияющее молоко металла. Выдернул, замер на секунду, разглядывая пробу, бросил звонкий прут на пол и, вытирая обеими руками лицо, пошел в темноту.

Его опередили. Тяжелые сапоги загремели по лесенке вниз. Степан Абакумович сбежал на площадку и стал проталкиваться к желто мигающей летке печи.

— Подкатывай, подкатывай изложницу! — закричал он вглубь цеха хриплым, колючим басом.

Подошел Илько, надвинул очки. Ему подали ломик. Расступились.

И вдруг наступил яркий день. Вместе с веселыми, танцующими искрами ударила в изложницу белая напряженная струя. Ударила, ослабела — и полился, полился металл.

Степан Абакумович стал считать на глаз: девятьсот, тонна, тонна сто...

Сзади него, вдали, на лесенке, стояла Поля, невеселая, с кистью сирени в хитро переплетенных золотисто-коричневых волосах, и смотрела только на Илью. Мимо Степана Абакумовича протискивались рабочие из его бригады, — взглянуть на Илью, пожать его руку. Протиснулись все четверо «чертей»: вместе работали, вместе и поздравлять пришли — крепыши, как на подбор.

А Василий стоял в стороне, и никто на него не смотрел. И только когда Тимофей вдруг громко спросил: «А где же наш Васька?» — тогда только Степан Абакумович стрельнул в эту сторону сердитым черным

глазом. И все — плавильщики, монтажники, вахтеры — все повернулись, узнали Василия, заулыбались: это же он! Это он стоял два месяца назад посреди цеха, мешал всем, регулировал движение! Вот и глаза Ильи, темные, веселые, остановились на нем. И перед Василием начала расти пропасть — все шире, все страшнее, с каждой секундой отдаляя его от цеха. Не глядя на Полю, он шагнул поскорее вперед. Прошел длинный-предлинный путь — пять шагов! — и уверенно протянул руку. Тонкие, твердые, черные пальцы оплели его ладонь, честно и коротко сжали.

— Тот самый? Рыбак? — услышал он около себя молодой, веселый басок. — Ну, как ему наша погода?

— Плывем! — закричал Тимофей. — Не тонем!

Степан Абакумович долго смотрел на Василия, на его руку, все еще сжатую темными пальцами Ильи. Смотрел, разводя руками, словно не веря глазам.

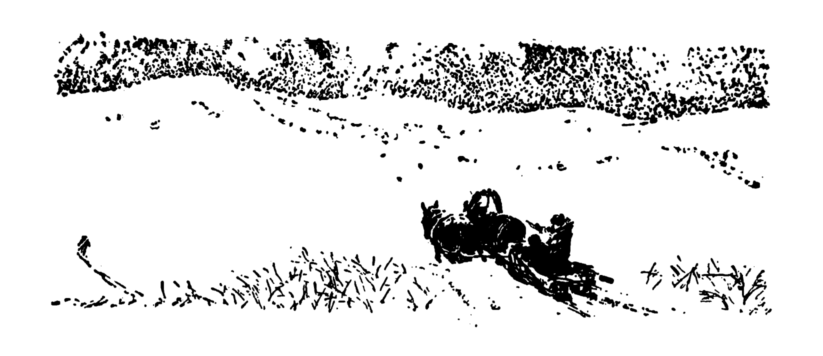
— Н-ничего... Как, ребята? Ничего?

И, чтобы никто не подумал плохого, чтобы оправдать опасную паузу, нашелся, схитрил старикан: он неожиданно закатил туманную речь.

— Как я посмотрю, — сказал он между прочим, — трудненько иногда бывает признать, что у тебя в душе чернота завелась. Ну, а если ты нашел смелость и признал — тут ей и конец. Погляди-ка, а ее уже и нет!

Все с почтением выслушали мастера, хотя так и не догадались, к чему он гнет. Только Василий все отдувался, словно сбросил тяжелый мешок: он-то теперь все понял.

— А Ваську я, можно сказать, только сейчас разглядел. — Степан Абакумович повернулся к нему. — У печи, в очках, не видно. А теперь вижу. — Он перевел взгляд на Тимофея, на всю свою бригаду и опять на Василия. — Теперь вижу во весь рост. Картины не портит!



ЛЫЖНЫЙ СЛЕД

Буран вздыхал и царапался вокруг избы почти неделю. Мы уже не говорили об отъезде. Хозяйка даже предлагала нам остаться навсегда. Работа найдется, шутила она, в деревне есть новая МТС, туда набирают людей, так что можно и остаться!

На шестую ночь — под воскресенье — в избе вдруг стало жарко. Я попробовал выйти на крыльцо. Дверь открылась только на одну треть — ее завалило снегом. За дверью стояла непривычная тишина. В черной пустоте низко надо мной дрожали звезды, крупные и чистые, как роса. Морозные неуловимые блестки мерцали в неподвижном воздухе. Буран улегся!

Утром Степан Дюков, молодой райисполкомовский кучер, поднял с пола свою доху, на которой мы спали, громадную доху, сшитую из шкур семи или восьми горных козлов. Я помог ему надеть эту пепельно-серебристую тяжесть. Степан попрощался с хозяйкой и ушел к лошадям.

Часа через два мы выехали. Сидя уютно и глубоко в ворохе соломы, я не чувствовал дна саней. Две толстоногие лошадки, уже покрытые инеем, мелко трусили впереди, то и дело бросаясь в галоп. Степан сдерживал их.

— Куда торопитесь, землемеры? Все километры ваши! Все шестьдесят!

Дорога за деревней была расчищена. Слева от нас горбилась белая степь. Справа за валом снега, отброшенного с дороги, далеко внизу была видна вся ширь Енисея. Как великий белый путь, он уходил от нас в молчаливые сказочные просторы Сибири. Дюков, глядя вдаль, на холодную равнину реки, призадумался. «Это было давно, лет шестнадцать назад», — запел было он. Потом поставил торчком воротник дохи, повалился на бок и словно исчез — рядом со мной топорщился лишь неподвижный ворох седого грубого меха.

Полозья уже час пели одно и то же. В тулупе было тепло. Мне все казалось, что я не сплю, но вот мягкий толчок заставил меня глубже вздохнуть, я открыл глаза и увидел, что мы стоим. Впереди, вплотную обступив лошадей, толпились колхозники с лопатами — человек двадцать. Лошади были запряжены по-новому — «гусем» — и стояли одна в хвост другой.

— Вот так-то вернее будет по нашему снегу, — услышал я незнакомый старческий голос.

— Вам бы к вечеру ехать, когда машины пойдут, — нерешительно вставил другой колхозник, помоложе.

— Проле-е-езем! — добродушно гаркнул Степан.

— Не бойсь, поезжай, — сказала женщина. — Тут лыжник полчаса как прошел. Вот тебе и трасса.

Степан махнул полой дохи и опустился около меня в солому. Сани тронулись. Народ бросился в стороны, и впереди открылось белое поле со слабо заметным снежным гребнем, там, где была дорога. Мы поплыли в мягком, скрипучем снегу. Я оглянулся в последний раз. Колхозники, опираясь на лопаты, серьезно смотрели нам вслед.

Мы ехали рядом с глубокой бороздой, пропаханной лыжником в рыхлом снегу.

— Должно, по колено шел, — сказал Дюков. — Охотник. Правду говорят: охота пуще неволи.

Он засмеялся и глубоко ушел в доху. Мы долго ехали в тишине, в тепле, слушая мирную песню полозьев.

— Не сворачивает, — заметил Степан, с интересом следя за лыжной бороздой. — У него, видать, капканы поставлены. Напрямую идет.

— Не завел бы куда, — осторожно сказал я.

— А шут его знает. Куда-нибудь приедем!

Я опять закрыл глаза, — мне показалось, на минуту, — и тут же почувствовал странное беспокойство, оглянулся и увидел, что сижу один в неподвижных санях. Было отчетливо слышно, как постукивают в зубах лошадей железные удила. Дюков стоял далеко впереди и озирался, самому себе показывая кнутом то в одну сторону, то в другую.

Он вернулся, молча шагнул в сани и стоя тронул лошадей. Мы поплыли неизвестно куда. Лыжного следа уже не было. Невольно повторяя движения Степана, я приподнялся, стал озираться по сторонам, но не видел ничего, кроме снега и серого неба.

— Так-так-так! — вдруг пропел Степан. — Вон, видишь следок? Лоцман-то наш! Сделал круг и обратно. Дорога-то, видно, под нами!

Опять побежала рядом с санями снежная борозда. Степан повеселел.

— Ну-ка, посмотри на часы. Часа два едем? Положи еще три, и будем в чайной.

Борозда привела нас к высокому снежному валу. Сани влезли на него, нырнули и легко покатились по твердой, недавно расчищенной дороге. Лошади пошли вскачь, и резкий ветер в первый раз словно горячим утюгом тронул мое лицо.

— Наверх выходим! — крикнул Степан.

Я поднял воротник повыше. Через полчаса край овчины перед моими глазами оброс ледяной коркой. Я не двигался и опустил воротник только тогда, когда сани остановились в большой деревне против чайной.

После обеда Степан запряг лошадей «по-простому», и мы выехали дальше по укатанной, чуть-чуть заметенной дороге. Обмотав шарфом высокий воротник и оставив впереди маленькое окошко, я стал смотреть сквозь заиндевелые кудряшки на скачущую навстречу ковыльную пустыню, теперь уже ровную, желтоватую, почти без снега. Ветер захлопал вокруг нас своими колючими полотнищами. Валенки мои быстро отвердели, я задвигал ногами и тут же почувствовал ответные толчки — Дюков под своей дохой делал то же самое.

Потом он выпрямился, придержал лошадей и предложил:

— Сделаем физзарядку?

Мы побежали вслед за санями. Вскоре я почувствовал в ногах горячую кровь. И как раз, когда Дюков, сделав несколько последних прыжков, на ходу повалился в сани, я схватил вожжи и остановил лошадей.

— Смотри! — крикнул я, показывая в сторону. — Дюков! Ведь это лыжи!

По самому краю шли две отпрессованные в снегу блестящие полосы.

— Да-а, — протянул Степан. — Ну скажи, что делается! Ведь это он побольше пятидесяти километров отмахал!

— Похоже, что нам с ним по пути, — заметил я. — Мы сейчас его догоним.

— Смотри, какой скороход! — удивлялся Степан. — И на охотника не похоже. Прямо интересно становится!

Начался долгий спуск под уклон. Перед нами вся степь была глубоко прогнута, а дальше, по ту сторону огромной снежной впадины, поднималась белая, словно фарфоровая гора. Степан поднялся во весь рост, оглянулся на меня и молча указал кнутовищем между лошадьми. Привстав, я увидел на далеком ровном дне впадины одинокую пылинку. Это был наш лыжник.

Дюков засвистал, дернул несколько раз вожжами. Комья снега полетели из-под копыт к нам на солому. Это было похоже на погоню. Мы смотрели вперед и оба подгоняли лошадей. Фигура лыжника медленно вырастала перед нами.

Наконец сани вылетели на ровное дно впадины и поплыли в глубоком снегу. Лыжник шел впереди, шагах в ста от нас. На нем была кожаная ушанка, ватник, перехваченный ремнем, и стеганые штаны, заправленные в черные валенки. За спиной вниз стволом висело ружье, сбоку, под рукой, болталась убитая лиса — красная с белой грудью. Шел он очень красиво — прямо, без палок, широко отмахивая одной рукой, словно рассевал по снегу зерно.

Мы поровнялись, и я увидел, что лицо нашего попутчика до самых глаз обвязано вафельным полотенцем.

Спереди на полотенце намерзла круглая ледяная бляха. Не обращая на нас внимания, парень скользил на желтых лыжах все вперед и вперед, оставляя за собой в рыхлом снегу широкую борозду. Степан, склонив голову на плечо, с улыбкой наблюдал за ним. Он долго готовился к беседе и наконец спросил:

— Чем лыжи смазываешь, охотник?

Парень сдернул полотенце ниже подбородка, открыл худощавое, усталое, красное от мороза, лицо с маленькими губами, вздрагивающими от сильных вздохов. Он был очень молод. Свежая, чистая улыбка тронула его губы, и сильный вздох тут же ее согнал.

— Эта мазь, — он выдохнул облако пара, — эта мазь на край света довезет! Ни у кого, — он опять вздохнул, — нет такой мази!

— Где уж достать! — Степан осторожно стал подбираться к главному вопросу. — Мы вот на паре шесть часов за тобой гнались. Думаем: что за скороход объявился? Какую такую важную эстафету несет?

Лыжник ничего не сказал.

— Лису, что ли догонял?

— Лису, — подтвердил парень и зорко посмотрел на Дюкова.

— Хороша, чорт! Эх и лиса! Похоже, огневка... Ишь ты, ведь забежала!

«Эх и лиса!» — подумал я, взглянув на Степана.

— Такую лису взял! Ты шкурку осторожно сымай. Первым сортом пройдет.

Парень отлично все понимал. Он засмеялся, опустив голову.

— А то, может, еще кому назначается? — невинно спросил Степан.

Лыжник не ответил.

— Куда едешь-то?

— В Дугино.

— Дела, что ли, какие есть?

— В МТС. За подшипником.

— Что ж так-то? Денек погодил бы — машины пойдут.

— Срочное дело.

— Стой! У вас ведь теперь своя МТС! Что это ты

в даль такую за подшипником снарядился? — Степан мигнул в мою сторону, лицо его изобразило мучительное недоумение, он округлил глаза и замер.

— Положение такое. Надо ехать, — лыжник спокойно посмотрел на него.

— Что за МТС такая? — недоумевал Дюков. — Подшипника нет! Ты видал, товарищ, когда-нибудь такую МТС? — он решил и меня привлечь к делу.

Я сразу понял его, развел руками и сказал лыжнику:

— Если срочное дело, садись к нам! Мы тебя доставим прямо на двор в МТС.

— Доеду сам. Уже близко, — парень натянул полотенце на лицо, и карие глаза его зорко посмотрели на нас из этого укрытия.

— Всё. Закрыто на обед, — сказал Дюков.

Он поднял кнут. Лошади прижали уши и потащили нас вперед к белой горе.

— А врешь, дело у тебя есть, — заговорил Степан, когда сани начали подниматься в гору. — Подшипник! — он оглянулся назад. — За подшипником тебя не пошлют шестьдесят километров дорогу мерить. Скажет ведь такое... Но-о, шевелись!

Сделав вместе с дорогой несколько змеиных поворотов, мы очутились на гладком белом темени горы и увидели внизу по ту сторону далекие дымки, протянутые, как пучок белесых нитей, между небом и тихой снежной вечереющей равниной.

— Дугино, — сказал Дюков.

Он натянул вожжи, лошади присели на задние ноги и осторожно стали спускаться. На половине горы Дюков пустил их галопом. Мы пронеслись через мост, ударились крылом саней о столб и влетели на улицу большого села.

Я не раз приезжал в Дугино. У меня здесь был знакомый — механик из МТС Панкратий Савельевич. Степан направил лошадей к его избе, что стояла против кирпичной церкви, переделанной в гараж. Еще издали я увидел старого механика. Панкратий Савельевич держался за ручку калитки, словно торопился домой. Около него стояли двое — высокий полный

парень в телогрейке и девушка, обвязанная белым вязаным платком с длинными кистями. Стоя к ним боком, механик говорил парню последние, должно быть очень убедительные слова.

Увидев нас, Панкратий Савельевич вышел на середину улицы — тонконогий, в накинутом на плечи черном полушубке, затертом до блеска. Он замахнулся кулаком на лошадей, и сани резко остановились.

— Не обижайся, дорогой, — объявил он, глядя на меня злыми, веселыми черными глазами. — Не обижайся, дальше ходу нет. Застава! — и повел лошадей к своим воротам. — Сам виноват, милый человек, — на ходу продолжал он прерванный горячий разговор.— У тебя мотор и то не выдержал. А механик, думаешь, железный? Три ночи подряд работать не могу. Как хочешь. Спать теперь буду.

— Сам разберу! Товарищ механик! — просил круглолицый парень в телогрейке. Он просил руками и бровями, поднятыми вверх.

Я выпрыгнул из саней, топнул несколько раз и нечаянно взглянул на девушку. Не удержался и еще раз посмотрел. И сразу понял — это была первая красавица села. В платке ей было трудно двигать головой, и она вся повернулась к нам. По-детски чистые, серые с синевой глаза смотрели на механика, который стучал воротами у меня за спиной.

Панкратий Савельевич провел лошадей во двор. Он долго ворчал за забором. Потом вернулся к нам.

— Тарелку щей съесть не дадут! Позавчера вечером прибегают — движок стал на маслозаводе. Всю ночь с ним возился. Вчера ночью на пилораму вызвали. Пустил ее, к утру — и опять не все! Вот она, Катерина Матвеевна наша. Особый заказ. Сделай нам для школы турбинку водяную, чтобы вертелась. Ну, думаю, воскресенье. Сделаю тебе турбинку и отосплюсь за всю неделю. Сажусь обедать, а тут полуторка ползет по улице. Из совхоза. «Пронеси, господи», — думаю. Куда тут! Мой бог молитвы не слышит!

Девушка чуть заметно улыбнулась. Нас со Степаном она не замечала.

— Опять Катерина Матвеевна! — механик остано-

вился против нее. — Гляжу — ведет ко мне этого шофера. Водителя, — он произнес это слово, по-особенному приподняв губу. — Я так и думал сначала — с женихом идете.

Дюков налег на забор и склонил голову на плечо, рассматривая Панкратия Савельевича.

— Дядя Панкрат, а, дядя Панкрат...

— Думаю: идет благословляться, — продолжал механик. — А тут вона — подшипник расплавил!

— Дядя Панкрат! — Степан стрельнул глазом в мою сторону. — Слышь, что говорю, — везет тебе на подшипники. Сюда ведь еще один клиент едет.

— Какой такой клиент?

— Срочный. На лыжах. Мы от самой Большой Речки за ним гнались. «За подшипником, говорит, еду. В Дугинскую МТС».

— За подшипником? Что у них там, запчастей нет? Какой хоть из себя человек?

— Такой вот, с тебя ростом, парнишка. На лыжах.

— На лыжах? К нам? А-а-а! — протянул Панкратий Савельевич. И вдруг резко ткнул пальцем в серую доху Степана. — Шапка кожаная?

— Хромовая. Черная.

Катерина Матвеевна повернулась два раза кругом, словно от нечего делать, и отошла на несколько шагов. Отошла, а потом побежала к соседней избе. Обитая рогожей дверь хлопнула за нею.

— Зна-а-аю теперь, — все хитрее и тоньше заулыбался механик. — Он уже не в первый раз за этим подшипником к нам едет. Никак увезти не может.

Тут Панкратий Савельевич выразительно покосился на соседнюю избу.

— Эх, ребята! Подшипник-то больно хорош!

Мы вышли на середину улицы и стали смотреть на далекую белую гору, что поднималась над снежными, уже сиреневыми крышами села. Хрустя снегом, к нам подошли двое парней в драповых черных пальто и в одинаковых кубанках из серой мраморной мерлушки. У того, что постарше, под рукой висела на ремне гармонь. Он был высок и тонок. Я почувствовал, как

притягивают меня, вызывая на бой, его жгучие, насмешливые глаза.

— Дядя Панкрат на улицу вышел, — гармонист перехватил папироску в угол рта и протянул руку механику. — Хорош будет вечерок?

— Для вашего брата когда он плох? — ответил Панкратий Савельевич.

— А то пойдем погуляем! А, дядя Панкрат? Уважь разок. Твои ученики просят!

— Ученики, только не по этим делам.

— А то пойдем? Вот и Катерина Матвеевна вышла. Вечерок почуяла. Катерина Матвеевна, картину пойдем смотреть?

Я опять увидел эту девушку. На ней были уже не валенки, а фетровые боты. Девушка стояла на крыльце, не решаясь сойти вниз.

— Уговор дороже денег, Катерина Матвеевна! Билеты куплены!

Девушка взглянула на него и что-то тихо сказала.

— А? — переспросил гармонист.

— Не пойду! — громко и отчетливо произнесла она.

Сошла вниз, взялась за рубленый угол избы и потянулась вперед, стала смотреть на белую гору.

— Что это вы все смотрите? — удивился гармонист. — Пожар или что?

— Леша едет, — коротко ответил Панкратий Савельевич.

И в этот момент на вершине горы появилась черная пылинка. Она задержалась на несколько секунд и затем поплыла вниз по белому склону. Вот точка стала крупнее. Лыжник исчез за бугром, потом вынырнул значительно ниже и понесся поперек склона, снижаясь, как самолет.

— Что делает, что̀ делает! — проговорил дядя Панкрат, следя за лыжником восхищенными глазами. — Смотри ведь — и не упадет!

Лыжник круто развернулся и камнем скользнул вниз, за далекие крыши. Мы бросились вперед по улице. Сделали несколько шагов и увидели Лешу. Он шел нам навстречу, так же красиво и прямо отмахи-

вая рукой. Панкратий Савельевич шагнул к нему. Леша узнал его и заторопился, словно хотел соскочить вперед с медленно скользящих лыж. Полотенца уже не было на его разгоряченном, исхудалом лице.

Он подъехал к нам, сдерживая сильное дыхание, на ходу снимая варежку. Минуя протянутую руку, Панкратий Савельевич принял его в объятия, покачнул и звонко расцеловал в обе щеки.

— Ну и парень! Ну, ходок! Это что же — лисичку добыл? А я думаю — зима, теперь совсем нас забудет.

Леша взял механика за руку, посмотрел вдоль улицы, и вдруг радость его стала угасать. Все еще пожимая руку дяди Панкрата, он опустил глаза. Оглянулся по сторонам, словно не узнавая села. Потом так же внезапно развеселился.

— Привет братьям Власовым! — раздался его громкий, напряженный басок.

Оба парня в черных пальто шагнули вперед и пожали ему руку. Старший не донес папироску до рта, поднял бровь и повел глазами — сперва в сторону, потом на Лешу.

Наконец-то я понял, в чем дело: прихрамывая в новых ботах, к нам медленно приближалась Катерина Матвеевна. Опустив глаза, она тихонько обошла Лешу и братьев Власовых и стала за спиной у Панкратия Савельевича.

— Здравствуйте, Леша, — почти шепнула она.

— Здравствуйте, Катерина Матвеевна, — еще тише сказал Алексей.

И весь разговор! Леша сам поспешил прервать его.

— Дядя Панкрат, я к вам по делу, — громко сказал он, взглянул на Степана и побагровел.

— Знаю, знаю, — заторопился, замахал руками механик, быстро, как-то снизу оглядываясь на всех. — Знаю. Товарищ мне сказал. Сейчас сам подберу тебе все детали. Это сделаем. Для тебя — чего уж говорить!

— Я сегодня же обратно. Завтра после обеда мне надо на работу.

— Сделаем, сделаем, — Панкратий Савельевич опустил голову. — Чего уж говорить! Ты поди родню

проведай и ко мне заходи. Не бойся, машины скоро пойдут. Посадим. А я живо все соображу.

И дядя Панкрат, не взглянув на нас, побежал к своей избе, как будто и впрямь Леше было нужно что-нибудь.

— Ну как вы на новом месте? — несмело спросила Катерина Матвеевна.

— Ничего, работаем, — ответил Леша и, подняв ногу, посмотрел под лыжу. — Станки новые получили. А как у вас в школе?

— Все так же. Ездила в район. Учебники привезла...

И они медленно пошли по улице, не глядя друг на друга, как будто между ними шел третий.

Старший Власов, все так же держа папироску у рта, проводил их одними глазами. Потом повернулся, и оба брата пошли в другую сторону. Резкие, насмешливые звуки гармони встряхнули тяжелую тишину. Круглолицый шофер остался один посреди улицы, вздохнул и побежал вразвалку через площадь — к гаражу.

В избе механика уже горело электричество. Панкратий Савельевич сидел за столом перед миской со щами. Тонкие губы его были сжаты. От носа через впалые щеки легли энергичные складки. Широко открыв глаза, он смотрел на синее от сумерек окно.

— Понимаешь, приехал... — проговорил он, шевеля ложкой в миске. — Ты понял что-нибудь, там на улице?

— Кое-что понял, — сказал я.

— Приехал, голова садовая. Не смог! А увидят друг дружку — рот не могут открыть. Видишь, на нашу Катерину Матвеевну Власов виды имеет. Тот, что с гармонью. Комбайнер. Гроза — на Героя все тянет. Думается, не вытянет — учиться не хочет.

Панкратий Савельевич хлебнул щей и отодвинул миску.

— Ничего не скажешь, малый он из себя видный. Власов, Власов — только и слыхать. Кто в деревне на виду? Власов. Нашего брата, обыкновенного слесаря, — нас не видать. А я тебе скажу: сядь Лешка

на комбайн — завтра же Власова забудут. Это мастер. Механик-универсал.

За окнами проплыли переливчатые, веселые переборы гармони. Дядя Панкрат прислушался.

— Разгулялся Власов. Бушует! Прошлой осенью я говорю Алексею: «Что ты смотришь, Леша? Послушай меня, сядь на комбайн. Спесь кое с кого посбей». Нет! — механик ударил ладонью по колену. — Не сел! Ничего не говорит, только бледнеет. Гордый! — Панкратий Савельевич вздохнул. — Этот нашему делу не изменит, почему и взяли его отсюда в Большую Речку. Он там вроде меня, за старшого.

Дядя Панкрат положил на стол темную, жилистую руку с кривыми, перебитыми ногтями. Посмотрел на нее, повернул вверх мозолистой ладонью.

— Механик — это то же, что врач. День ли, ночь ли — будь в готовности, лечи больных. Личные дела — завтра. — Тут он толкнул меня и приблизил черный чуб к моему лицу. — А завтра-то оно у нас только в календаре!

— Отец, — спросил из другой комнаты низкий женский голос, — стелить, или пойдешь куда?

— Стели. Нынче слово дал. Вот Лешку только посажу в машину, и будем спать все.

Он посмотрел на окно и опять задумался.

— Приехал и уедет. Не судьба! Тут еще учительница промашку дала — сидела с Власовым в кино. Валамут, сам подсаживается. Уверен. Девчата непременно Лешке передадут. И это будет все.

Жена механика принесла нам со Степаном щей. Мы пообедали. Дюков попросил сала и намазал вздутое обмороженное ухо. Затем он ушел к лошадям. Панкратий Савельевич поднялся и снял с гвоздя свой полушубок.

— Айда на улицу, пройдемся. Что-то не идет наш лыжник.

Мы вышли на свежую, как весна, улицу, освещенную двойной цепочкой огней. Высоко над селом стояла луна, между избами громко скрипел снег, был слышен топот, девичьи смешки. Мы зашагали к сельсовету. У большой избы в полосе света, отброшенной

из окна на снег, стоял грузовик. Мы обошли машину. В кузове на горе мешков, пряча руки в рукава, сидели женщины в платках.

— Куда идет машина? — властно осведомился Панкратий Савельевич.

— В Большую Речку, — ответили сверху несколько голосов.

— Где шофер?

И тут мы увидели Лешу. Он стоял позади грузовика, опираясь на длинные лыжи.

— Машина перегружена, еще раз тебе объясняю,— раздраженно говорил ему приземистый человек в светлом полушубке. — Сгони вот баб, попробуй, — тогда можешь располагаться.

— А прощаться? Забыл? — Панкратий Савельевич подошел к Алексею. — Душа из тебя вон!

— Не прощайся. Он завтра уедет, — весело сказал шофер.

— А мы еще посмотрим!

— Это кто — дядя Панкрат? Тогда другой разговор.

— Кто бы ни был!

Панкратий Савельевич оглядывался во все стороны. Он кого-то искал. Вдруг он быстро шагнул за спину Алексея. Даже побежал по снегу, догоняя кого-то в белом платке с кистями. Через несколько минут он вернулся.

— Вот что, — резко сказал он шоферу. — Ты, дорогой мой, можешь ехать. Раз такой разговор — заводи и до свиданья.

— Дядя Панкрат! — растерянно заговорил шофер. — Я же не знал. Дядя Панкрат!..

— Раз такое дело — поезжай. Просить, молить — это не наше дело.

— Так я посажу! Пускай садится!

— Леша, ты уедешь утром! — еще громче сказал механик. — Раз такое дело, я сейчас иду в гараж к совхозной полуторке. Хоть я и не спал, конечно, три ночи. Но валяться в ногах — это не наше с тобой дело.

Панкратий Савельевич закончил свою речь, повер-

нулся спиной к удивленному шоферу, взял Алексея под руку и отвел в сторону.

О чем они говорили, я не слышал. Механик отобрал у Леши лыжи. Было слышно, как дядя Панкрат приказал ему: «Ступай!» После этого Панкратий Савельевич подошел ко мне.

— Катюша-то плачет, — тихо сказал он. — Похоже, что я во-время здесь оказался. Ну что ж, пошли к гаражу?

Шофер, которого я видел у избы механика, спал, завернутый в тулуп, в кабине своей полуторки — около гаража. Панкратий Савельевич открыл дверцу и нажал кнопку гудка. Тулуп зашевелился, круглая голова приподнялась над овчиной.

— Делом, делом надо заниматься, а не спать, — резко сказал механик. — Ну, что смотришь? Вылезай, говорю, мотор разбирать будем. Устраивает это тебя?

Он отпер ворота гаража, распахнул их, зажег электричество. Втроем мы налегли на кузов, раскачали машину и вкатили на деревянный пол под церковные своды.

— Что стал? Спускай масло, полезай под картер! — крикнул дядя Панкрат шоферу.

Тот наконец понял все, засмеялся и побежал вокруг машины. Его длинные ноги вылезли из-под грузовика, изгибаясь, упираясь в пол: он начал отвинчивать болты.

Через полтора часа чугунное днище картера уже стояло на полу около грузовика, рядом с головкой блока. Панкратий Савельевич держал в коричневых от масла руках поршень с шатуном и качал головой.

— Бить тебя надо, дурья голова. Кто же так ездит? Ты ерша со дна моря достань — сразу вся внутренность наружу выскочит. Давление не то. А мотор? Две тысячи оборотов дал — вот он и пошел вразнос. Водитель! Бери вон паяльную лампу...

Дядя Панкрат неожиданно умолк и поднял голову, прислушиваясь.

— Вроде шел кто-то. А, ребята?

В час ночи мы все стояли вокруг стола, на кото-

ром возвышалась печурка, сложенная из кирпичей. Фиолетовое пламя паяльной лампы ревело и рвалось, омывая черный тигель. Панкратий Савельевич — я впервые увидел его в очках — собирал головку шатуна. Он положил шатун на стальную плиту. Затем зачерпнул большой ложкой из тигля и стал лить блестящий, как ртуть, металл — туда, где был подшипник. Худая щека его дергалась, он был увлечен работой. «Механик — то же, что врач», — вспомнил я.

Когда баббит застыл, Панкратий Савельевич погасил лампу, взял шатун и вышел из гаража. Далеко, за несколькими стенами, запел электромотор. Потом мотор умолк, и механик вернулся, на ходу рассматривая серебристую внутренность подшипника.

— Никто не приходил? — спросил он.

— Нет, товарищ механик, — ответил удивленный шофер. — А что?

— Ничего. Радуйся, водитель! Шабрить будем!

И вдруг сзади него раздался знакомый басок:

— Можно?

На пороге стоял Леша.

— Ты что ж, не спал? — механик посмотрел на него поверх очков.

— Не спится, дядя Панкрат. Давай что-нибудь поделаю.

Леша взял у механика шатун. Проворными пальцами развинтил головку, полез под грузовик, подвигал, покачал шатуном, потом вылез и молча пошел вглубь гаража, за грузовик — к тискам.

— Все помнит. Как будто вчера здесь работал, — заметил дядя Панкрат, садясь на стол. — Так и знал, что придет, — тихо добавил он. — На что хошь мог бы поспорить.

Он достал кисет, и мы закурили.

— Дрянь табак, — сказал механик, прислушиваясь к скрипу снега за воротами. — Вот мне сейчас принесут — то будет табак.

Я уловил особенные нотки в его голосе. Я понял его. Мы умолкли и минут двадцать сидели, прислушиваясь, и все эти двадцать минут снег пел на улице на разные лады.

— Вот, — сказал вдруг механик, светлея, — табачок бежит.

Сначала я не мог ничего разобрать в тихом хоре снежных ночных голосов. Потом мне показалось, что где-то на краю села тоненькая пилка быстро распиливает снег. Это были торопливые шаги. Они быстро приближались.

Вот снег захрустел около гаража. Ворота приоткрылись. Вошла Катерина Матвеевна, румяная от быстрой ходьбы. В руке у нее был мешочек из пестрого ситца.

— Отец нарезал или сама? — весело спросил дядя Панкрат.

— Сама. Отец спит, — девушка быстро взглянула по сторонам. Нет, никого она не увидела, кроме нас троих.

— Посиди, Катерина Матвеевна, — глядя на нее, Панкратий Савельевич все время улыбался. — Турбинка-то готова. Какой краской красить?

Девушка села около него на стол. Она прислушалась и медленная краска залила ее лоб и виски.

— Кто это там скребется? — спросила она немного погодя.

— Домовой, — добродушно сказал механик. — Мы сидим, а он нам машину чинит. Леша! — он спрыгнул со стола.

Алексей вышел из-за грузовика. Шапка его была сбита на затылок.

— Поди-ка проводи Катерину Матвеевну,— строго сказал дядя Панкрат. — Дело позднее. Лыжи твои будут у меня в сенцах. Не забудь, меня разбуди, когда поедешь. Подшипники возьмешь.

Катерина Матвеевна быстро взглянула на Лешу и опустила глаза.

— Поди сюда, — приказал ей механик.

Она подошла. Панкратий Савельевич распахнул ворота, и я увидел голубую блестящую дорогу и две тропки, убегающие от гаража врозь, в темноту.

— Ты учительница, а ты механик, — сказал дядя Панкрат, — а оба вы еще дети малые. Сейчас же выходите отсюда за порог. Видите — три дороги. Если

да — идите прямо. Ежели нет, — значит бегите сразу врозь и не попадайте больше друг дружке на глаза. А мы закроем ворота и не будем глядеть. Ступайте. Марш!

Не сказав ни слова, они медленно вышли наружу. Панкратий Савельевич действительно закрыл ворота на задвижку и даже закрутил ее проволокой.

Вскоре механик отослал спать и меня. Я пошел по пустой, холодной площади к избе дяди Панкрата. Жена его открыла дверь и, увидев, что Панкратия Савельевича со мной нет, вздохнула. В избе на полу была разостлана широкая постель. На ней уже спал Дюков, захватив и мое место. Красное ухо его еще больше вздулось — память о степном ветре.

На заре Степан вывел на улицу лошадей, запряженных в сани. До райцентра оставалось тридцать километров. Мы напились чаю перед дорогой. Панкратий Савельевич, накинув полушубок, вышел на крыльцо нас провожать. Он был бледен. Синеватая щетина выступала на его впалых щеках.

Прекрасное зимнее утро ожидало нас на тихой улице. Все село лежало еще в глубокой фиолетовой тени. Белесые дымы ласково тянулись вверх и, порозовев, таяли в глубокой синеве. А вдали ярко светилась, сияла белорозовая гора.

— Ты понимаешь, уехал и не попрощался! — уже в который раз огорченно сказал мне Панкратий Савельевич. — Даже лыжи не взял!

В это время в соседней избе запела дверь. На крыльцо, нагнув голову, вышел пожилой высокий колхозник в жилете из овчины. Он держал в руке лисью шкурку, распяленную на рогульке. Я сразу узнал пушистый красный хвост с белым кончиком.

— Матвей! — крикнул механик, глядя на этот хвост и оживая. — Где лисичку добыл?

— А что?

— Я тебя дело спрашиваю, а ты «а что». Охотником заделался?

— У меня дочь подросла, слава богу. Вон какую принесла патрикевну! — Матвей поднял шкурку над головой и потряс.

Они оба замолчали и долго смотрели друг другу в глаза.

— Чего смотришь, петух? Завидно? — Матвей скрыл улыбку и пошел во двор, к сараю.

— Погоди! — закричал Панкратий Савельевич.— Чорт шальной!

— Ты чего ругаешься? — Матвей остановился и ласково посмотрел на него через плечо.

— Охотника-то видал?

— Ты чего ругаешься?

— Тьфу! Видел, спрашиваю, кто лису добыл?

— Как не видать! Видел. Он у меня в избе чай пьет.

Сказав это, Матвей спокойно ушел в сарай. Панкратий Савельевич махнул мимо меня полушубком и побежал к соседней избе. Обитая рогожей дверь сильно хлопнула и долго после этого не открывалась. Наконец механик вернулся и взял в сенях лыжи.

— Сидят! — Он вынес лыжи и поставил к забору.— Прогуляли машину! Я его спрашиваю: «На чем поедешь, голова?» А он: «На чем приехал, на том и уеду! Ты, говорит, сам виноват — дорогу такую указал». Дорога-то, видишь, длинная была. Только утром домой пришли!

Дверь соседней избы снова хлопнула. Вышел Алексей с ружьем за спиной. Панкратий Савельевич подошел к нему прощаться. Леша стал на лыжи, затянул пяточные ремни. Дверь опять запела, и на крыльце появилась Катерина Матвеевна в большом белом вязаном платке. Ей было трудно поворачивать голову, и она двигала счастливыми серыми глазами, улыбаясь каждому и никого не замечая.

— Пошли, Леша! — сказала она. — Провожу тебя.

Алексей махнул нам варежкой. Панкратий Савельевич догнал его, обнял, торопливо поцеловал и остался стоять посреди улицы без шапки, в косо накинутом полушубке.

А те двое не спеша удалялись от нас по широкой, все еще фиолетовой улице. Вскоре они исчезли за дальними избами. Потекли долгие минуты...

— Во-о-он они! — сказал вдруг Степан.

По бело-розовому сахарному склону горы чуть заметно передвигались две точки. Они восходили все выше и выше, приближаясь к далекой границе между снегом и чистой синевой. Вот они остановились на самом верху. Вот одна точка исчезла...

— Далеконько ему шагать, — сказал сзади меня Матвей. — Ладно хоть мороз отпустил.

— Дойдет! — Панкратий Савельевич все еще не двигался с места. — Дойдет! Теперь он полетит, как на крыльях!

СОДЕРЖАНИЕ

Редактор В. Солнцева

•

Художник П. Карачинцев
Худож. редактор Е. Балашева
Технич. редактор Н. Греймер
Корректор А. Мискарьянц

•

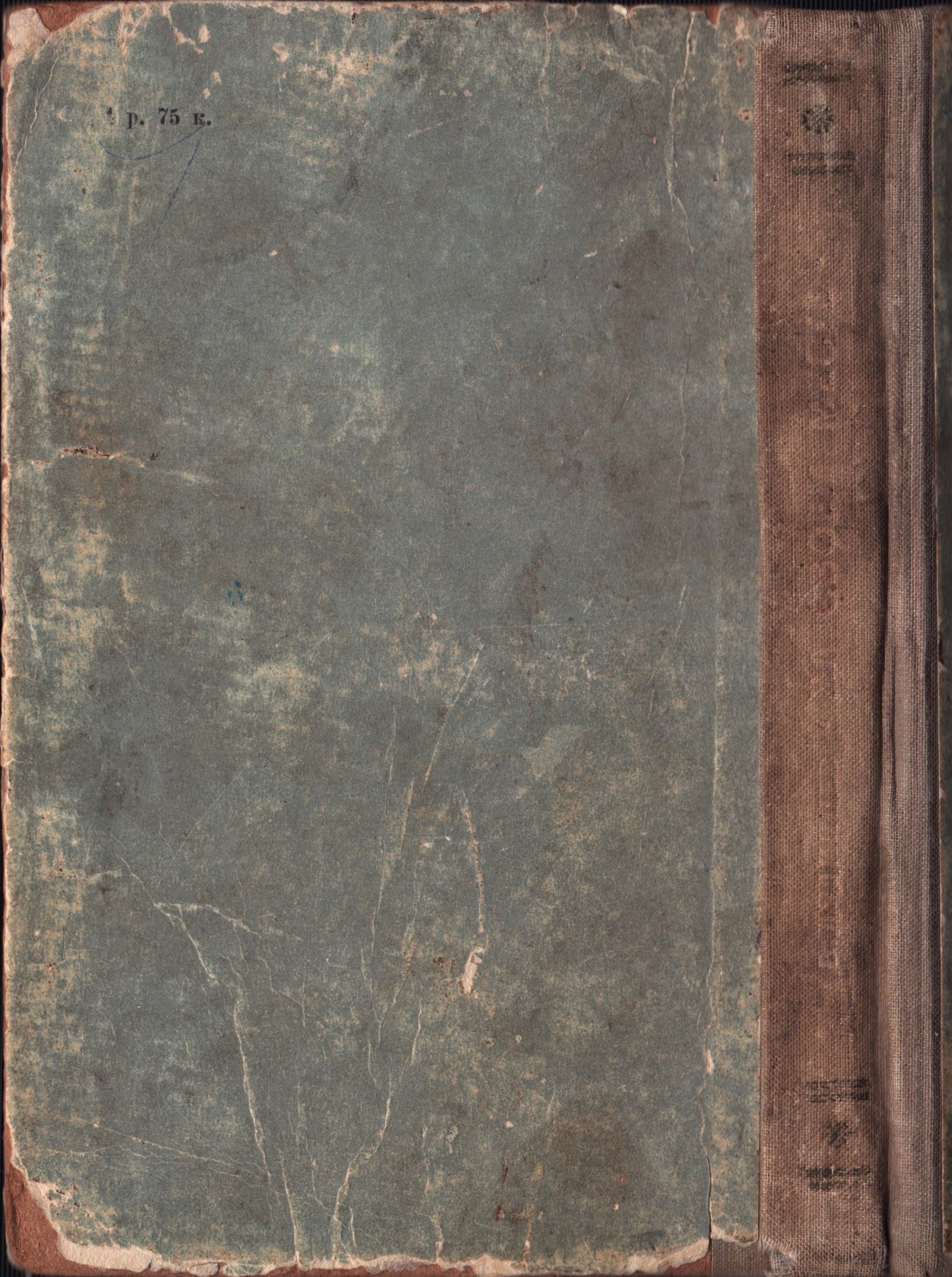
А01347. Сдано в набор 5/I 1954 г.
Подписано в печать 19/III 1954 г.
Бум. л. 4,25. Печ. л. 13,94. Авт. л.
12,24. Уч.-издат. лист. 12,46. Формат
бумаги 84×108 см. Тираж 30 000 экз.
Заказ 16. Цена 4 р. 75 к.

Тип. Москва, ул. Фр. Энгельса, 46.

Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.

Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.

Все материалы направлять по адресу: Москва, Б. Гнездниковский пер., 10, издательство «Советский писатель».


1 р. 75 к.